

Вениамин Колыхалов

ГОРИСЛАВА

Повести

Томск
2008

ББК 84(29)6
К61

Литературно-художественное издание

- Колыхалов В.А.**
К61 Горислава: повести. – Томск: ОАО «Издательство «Красное знамя», 2008. – 320 с.

Об авторе

Родился 8 апреля 1938 года в селе Кандин Бор Парабельского района Томской области.

Воспитанник Усть-Чижанского детского дома.

В 1956 г. окончил Томское горнопромышленное училище № 1.

1958–1961 гг. – армейская служба в г. Владивостоке.

С 1962 г. – член Союза журналистов СССР.

В 1968 г. окончил Литературный институт им. Горького.

С 1976 г. – член Союза писателей СССР, России.

Автор 28 книг прозы и стихов, семь из них выпущены центральными издательствами.

Работал грузчиком, монтажником-верхолазом на строительстве Томской ГРЭС-2, слесарем по ремонту промышленного оборудования, ассистентом кинооператора, воспитателем в детском доме, корреспондентом различных газет.

Повести, рассказы, стихи, очерки публиковались в журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Дружба», «Новый мир», «Сибирские огни», «Знамя», «Октябрь», «Дальний Восток», «Смена» и др.

Вениамин Колыхалов – лауреат премий имени Николая Островского и журнала «Молодая гвардия».

Колыхалов пишет и о тех последствиях войны, о которых до недавнего времени говорить было не принято. Зловещее психическое заболевание – результат военной контузии, обрушилось на авдотьевца Савву. Болезнь неизлечима, как сказал в Томске «большой спец по психам». Но не бросает Савву, самоотверженно заботится о нем жена Ньюша. Показывая Савву и Ньюшу, любясь ладом в семье стариков Найденовых, прошедших рука об руку до восьмого десятка, автор славит прочность семьи.

Верная, ждущая семья помогла авдотьевцам-фронтовикам выстоять в военное лихолетье. Не умолчал автор и о том, какой чудовищно тяжелый груз свалился на плечи авдотьевских колхозниц в то нелегкое время и с каким мужеством несли они этот груз забот, помогая фронту.

В повести царят две стиливых стихии. Сцены, где речь идет от лица бабушки Гориславы, узорчато-затейливый, сочный крестьянский рассказ, чередуются с авторским повествованием, философски насыщенным изложением. Вениамин Колыхалов – не только прозаик, но и поэт, Читая колыхаловскую прозу, чувствуешь это.

Речь Колыхалова музыкальна. Особенно ощутимо это в пейзаже. Подробному развернутому пейзажу уделено большое место в произведении. Природа представляется влюбленным в нее авдотьевцам живой. И в этих интонациях повествования – благотворное влияние великого томича Вячеслава Шишкова.

Горислава – язычница, солнцепоклонница. По существу, это стихийная форма атеизма. В определенной мере солнцепоклонником является и сам автор. В финале голоса автора и его главной героини сливаются.

Почему атрибутом сибирской земли в повести стало солнце? Другое дело, если бы речь шла, к примеру, о Грузии, для которой эпитет «солнечная» стал как бы постоянным,

навалилась крупная озноба: трясью затрясло. После жаром обнесло, лоб даже взмокрел. Шепчу: простите, родители мои... отстали вы от меня, я от жизни такой отстану.

Сачок взяла, льдинки из проруби вычерпывать стала. Сон, думаю, не сон на меня навалился? Принялась осенять себя последним смертным крестом. Солнушко еще не взошло, не отговорило от глупой затеи... Крадусь к проруби на цыпочках, глаза жмурю. Кто-то сзади хват за плечо: я обмерла. Обернулась – Нюшку увидела, другую нашу сиротку. С криком, руганью на меня напустилась: «Ах ты, песья голова! Да чего ты, дуреха, надумала?!». По щекам меня шелк-шелк. Я реву, и она подревывает: «Гориславушка милая, ты же видишь – я тоже бедую, но живу. За тобой с берега следила: неспроста, думаю, без ведер и коромысла к реке топает...».

Нюша хроменькой была. Накрыли ее маленькую сеном на покосе, чтобы гнус не зажирал, да по забывчивости граблями конными наехали. Протащили с валком. Правая ножка сохнуть стала. По семнадцатому годку ее остяк-охотник унасиловал. Работница была в колхозе – трех не надо. Безотказница в трудах. Пошлют на лен – снопы солдатами ставит. Траву поспелую валит – литовка молнией сверкает. Известно: кто везет, того и погоняют. Мы везли колхоз во всю бабью силу. Хлеб – горох со жмыхом. Такой ели, но везли.

Ведет меня Нюша-хромоножка с реки, уговаривает, успокаивает. Стыдь на меня напала жуткая. Думаю: как я теперь своей деревне на глаза покажусь? Душеньку осрамила. Крест предсмертный наложила на себя. Сорвется с неба звезда, и то за ее упокой помолиться хочется. Помолится бы кто за меня, когда прорубь тайну скрыла? Нюша помолилась бы, всплакнула. Горемычила в жизни много.

Перед войной деревушка наша в окрестности пошла. Избы ладные, из смолевых бревен. Земля навозом удобрена: любая овощ росла и радовалась. Льны-долгунцы крепкие родились.

пролома торчала желтая кость. Пovyше нас правый васюганский берег яристый, оползневой. За семью излучинами заброшенное кладбище на берегу. Вот и шевелят обрывы мертвецов. Проедь выше – и там кладбища. Значит, везде приреченцы жили, а в избах зыбки качались, в хлевах скотина мычала-блеяла. Живности-то, живности сколько было! Пройдут по деревне три дойных стада, смотреть любо-дорого. Бычины упитанные, с кольцами в ноздрах. Идут-гудут, слюну под копыта роняют. Тогда гонения на скот не было: держи, продавай лишку мяса, молока, шерсти. Вдруг клич по деревне: сдавай лишнюю скотину! Да какая она лишняя? Своя ноша не тянет. Сенов запасали, сколько силушки хватало поставить. Луга наши, сам видел – под горизонт. Сроду всю траву не выкашивали. Сейчас в Авдотьевке одна корова-дойнушка осталась да горстка овец. Нынче говорят: держите скотину, сколько рукам хочется. Да где руки-то? Кто держать будет? Стариков и стариц земля помаленьку до себя кличет, воедино под кресты собирает. Отроки по городам, по стройкам разъехались. По нынешним временам черта так крестом не напугаешь, как молодых скотным двором.

Вот и погибает погибом наша деревушка. Молодым что с нами тут сидеть, плесенью покрываться? Внук наш на нефть подался, трубу куда-то ведет. Такая, говорит, труба, что в ней бычка на веревочке провести можно.

Мы сидим с бабушкой в светлой прохладной горнице. Упрямые ходики ровненько забивают в чисто выбеленную стену золотые гвоздочки секунд. Часы хочется остановить: мешают слушать житие бабушки Гориславы.

Она начинает помаленьку изнывать от старости: новая зима будет для нее семидесятой. Годы начистили до блеска серебро волос. Плавными полукруглыми разбегами морщины на щеках и подбородке. На лбу они крестиками, косыми линиями. Глазные впадины неглубоки, на их донышке

васильково-веселые подвижные глаза. Соль слез не обесцветила их, не притушила блеска и привлекательности. Горислава ведет рассказ голосом неприглушенным, без старушечьей хрипотцы. Давно ищу по нарымским деревням таких удивительных бабушек-разговорниц. Глубокие колодцы их жизни хранят родниковую влагу воспоминок.

Ее муж Терентий Кузьмич уехал проверять сети. Перед уходом выложил на стол стопку орденских книжек, сказал баском:

– Наши награды вместе – за войну и за тыл. Там и послепобедные.

Тереша и Славущка – так нежно называют друг друга супруги, справившие недавно золотую свадьбу. Их закатное солнце жизни садится не в тучи. Мир, лад, согласие, покой, взаимная забота, ласка – такие теплые лучи согревают их на крутом склоне последних лет.

Чихнет Терентий Кузьмич, Горислава проворкует нежно:

– Будь здоров, Терешенька. Я тебе перед сном горчичку разведу в тазике. Прогреешь ноги – чих-пых пройдет.

– И ладненько, – быстро соглашается старичок. – Ты ведь моя главная лекарица.

Четвертый день живу в Авдотьевке, забытой богом и селпо. Сплю на сеновале. Здесь сохранились пласты плотного, слежалого сена. От него исходит тяжелый плесенный дух. Корову старички не держат второй год. Уныло глядят вниз острыми носами подвешенные на стойке косы. Не первую пробежку по металлу делает въедливая ржавчина. Взял литовку, наточил, навалил травы за огородом. Она быстро подсохла под июльским палящим солнцем. Сенная перина источает медовый запах.

Ходики, ходики. Давненько зашли вы в крестьянские избы. Из многих не выходите до сих пор. Привозили дети ро-

изготовиться должны. Нежданная беда – вдвойне страшна. Жданная – полбеда».

На смолокурне никакой колдунихи не оказалось. Не дуры – посередь зимы отсиживаться в ямах. Хитрый мужичишка Селиверст глазами зырк-зырк, смотрит, как дедова яма хитро устроена. Смолокур получал добрые смолы. На томском базаре нарасхват шли его деготь и скипидар. Зависть точила знахаря. Перенял Селиверст опыт: в то же летечко взялся за смолокурство и погорел. Вот тебе и ведьма в яме. Не всякой твари норови по харе. Иная и на добро способна. У ведьм ум не покупной. Одно знаю: ведьмарки умирают мучительно. Души загубленные, злодейства покою не дают. Ноги, руки судорога сводит. Тело от души трудно отделяется, его костолом охватывает. Вот так умирала у нас Секлетьинья. До круглого века ей три денька оставалось. Умирала – деревня стоном стонала. Печи топились скверно: дым не в трубы – в избы выпирало. Углы в домах трещали. Собаки были поволчьи. Сверчки запечные приумолкли.

Пришли ко мне бабоньки, спрашивают: «Что делать, Горислава? Каким этапом скорее ведьму на тот свет отправить?». Говорю: «Пусть мужик покрепче, посмелее хватает лом да две-три доски над кроватью колдунихи выломает. Верный способ помочь Секлетьинье в иной мир отойти». Выломали несколько потолочин. Ведьма сразу потихла-потихла и кому-то душу вверила. Не богу только. Вместо пятаков положили умершей на глаза по гнилой картофелине. Вскоре и дым пошел в трубы. Собачий вой прекратился, сверчки ожили.

Внук наш с нефтей приедет, упрекает:

– Бабушка, тебе ли чепуху молоть про леших и ведьм? Ракеты небеса ощупали: бога тю-тю, ведьм тю-тю. В ступе не налетаешь.

Отвечаю внуку:

– Не перечь старому человеку. В нечистую силу и я не

трудные глубины. Васюган являлся для стариков светлым закатным солнцем жизни. Каждая его струя звенела теперь по-иному. Тереша и Славушка любили Васюган как добро-го, спокойного родственника. С открытием месторождений нефти любовь к реке возросла.

У солдата последней войны Тереша Найденова память долгая, стойкая, как и у васюганской воды, неторопливо бе-гущей к Оби. Стократно обновилась вода. Не вспомнит она колхозную лодку с малосильным, шумливым мотором, перво-бранцев, кликнувших отчизной. Призывный клич донесся до самых глубинных деревень. Умолкла в ушах песня пастушье-го рожка. Зазвенела боевая тревожная песня полковой тру-бы. Во свидетели воду не призовешь...

Недолго продержалась над деревушкой и рекой воцарен-ная тишина. Из-за урмана накатился громовой вертолетный гул. Зеленая небесная машина летела неизменным северным курсом. Терентий Кузьмич проводил ее недолгим взглядом, крикнул:

– Хоть бы возле Авдотьевки нефть нашли. Деревня ожи-вет. Школу, больницу откроют. Поля наши заросли березня-ком, дудочником. Стянуло их, как смирительной рубашкой, крепкой дерниной. Уходили на войну, думали: без нас, мужи-ков, погибнет земляца, отвоеванная у тайги корчевками. Ведь на женскую да лошадиную силу гектары оставляли. Ничего, сдюжили бабоньки. Полям ладный обиход делали. Фашисты проклятые просчет великий допустили. Хотели наш народ на дыбу вздернуть, а мы все на дыбы поднялись.

Обронила прибрежная ива сухой отмерший лист. Несет его васюганская вода мимо нас, мимо перевернутых на бе-регу обласков. Вот продолговатый, до срока погибший лист угодил в речную воронку. Закрутило его в заверти, утопило силой напористого течения. Он вынырнул в метре от крутя-щихся струй, пронесся прежней дороженькой. Тереша тоже

Вот в таком роде наставлял, подбадривал, журил Ганю. Сказать честно – сам побаивался первого боя. Ведь не кулачный – смертный бой. Не раз дрожь плечи передергивала. Сразу шагнуть из мира в войну – веская нагрузка для ума и сердца. Всякие думки в башку лезли. По Гане Бивину видел: страх его, словно сетью опутал. Приходилось разрывать эту сетевину, выпутывать из нее парня. Ведь сразу трудно разобраться, кто в роте из робкого десятка, кто не из робкого. Первые бои все показали.

Солдатские думы потяжелее шинельной скатки. Присматривался к одноклассникам, к фронтовой обстановке. Непотлучные мысли постоянно убегали к дому, колхозу васюганскому. О Славушке думал. Вспоминал ее рассказ. Под Новый год она с девками на гадание ходила. Авдотьевка перед войной сильно строилась. Много новых срубов стояло. Забегали девушки в недостроенную избу, метили в темноте угольком бревна. Прибегали по свету смотреть. Кому сучкастое бревно попадало, значит, по поверью, жизнь впереди ожидалась трудная, несчастливая. Верили – попадется некрасивый, скверный муж. Будет на расправу легкий. Без сучка венец – выпадет доля завидная, жизнь тихая, счастьем одаренная. В то зимнее гадание пометила Славушка бревно с трещиной. Товарищи ахнули: к несчастью. Оно случилось: в первое же лето война на нашу землю пала. Расколола эта огромная трещина жизнь, порушила семьи.

В ту предновогоднюю ночь брали девки воду из проруби. Славушка тоже ставила перед собой стакан со студеной водичей. За стаканом зеркальце. Долго в него смотрела. И пригрезилась ей в стекле фуражка военная. Солдаткой вскоре стала. На мне была пилотка со звездой – не фуражка. Но они ведь сестры родные, из одной фронтовой семьи.

Заступники родной земли стекались отовсюду: с гор, до-

Терентий Кузьмич смачно зевнул, потер икры занемевших ног.

– Пойдем, гостенек, до избы. Славушка нас заждалась.

3

Изба встретила нас приятной прохладой. Горислава успела приготовить окрошку. Сидела на кровати, шустрыми спицами вязала серый толстый носок.

– А-а, гулеваны явились. Поспали бы после обеда, чем макушки жарить. Я вот соснула часок, силы на волосок прибавила. Знаю: не надо много спать, каждую минуточку для жизни остатней приберечь бы. Поделать ничего не могу – постель силком тащит. Ох-хохошеньки. Смерть всех сроднит, на одну глубину опустит. Где такая хворостина, чтобы отпугнула ее, проклятушую?

– Славушка, чего грусть на себя нагоняешь? – Тереша нежно погладил старушку по плечу.

– Не грущу. Мы в честном труде жизнь прожили, теперь и смерть не в муку. Вот вспоминка на ум набрела. Пришла к старушке смерть, спрашивает: «Ко гробу все приготовила? Ничего не забыла? Смотри – все, по-моему обряду положенное, приготовь в срок». – «Я бы рада приготовить, – виноватым голосом попеняла старуха, – да в сельпе белых тапочек нет. Без тапочек ведь не примешь». – «Не приму. Они чтоб непременно были». – «Может, ты, смерть, деда попервости возьмешь?» – «А он готов меня принять?» – «Готов. Со вчерашнего дня лыка не вяжет... хватай, ногой не дрыгнет». – «Но в списке под номером у меня ты». – «Раз так, – вздохнула старуха, – дай лук к зиме приберу. Потом – твоя...».

Рассказывая, Горислава не замедляла бега отполированных пальцами спиц. Слово за словом. Петля за петлей. Каза-

От автора

Повесть «Горислава» была опубликована двадцать лет назад в одном из лучших журналов страны. Вскоре после выхода этого произведения в свет я получил от главного редактора журнала «Наш современник» Сергея Викулова письмо.

«Уважаемый Вениамин Анисимович! Поздравляем Вас с публикацией в третьем номере журнала за нынешний год Вашей повести «Горислава». Исполненная светлой грусти, но и заботы о судьбе русской деревни, что «примрёт скоро», повесть в то же время пронизана оптимизмом и надеждой, что, вопреки всяческим опустошениям, наша малая родина будет жить – будет жить, пока жива будет на земле такая вот Горислава – воплощение самой земли-матери, самой веры в доброе начало в человеке.

Хочется верить, что и в душе читателя «из цепких объятий туч» вырвется «омытое солнце» и он вслед за Гориславой скажет: «Да не придут больше на землю во веки веков войны мерзкие!..».

Всегда будем рады продолжению наших творческих контактов.

Желаем Вам всего самого доброго в жизни!».

Опубликованная тиражом 220 тысяч экземпляров, повесть «Горислава» прожилала до сих пор в «журнальной коммуналке».

Теперь она обрела свою крышу.

жены. Твои годы сложены. Вот и живи – не майся, молись – не кайся.

– Живее-е-ем, скрипим со стариком. Он у меня – пила продольная, я – поперечная. Зима подступит – территорию на русской печке делить начнем.

– Не наговаривай на деда, – заступилась Горислава. – Работящий, тверезый, тихой.

– Старый норко-ман.

– Не бреш.

– Точно. Нарвет багульнику, этой пьянь-травы, надышится, надышится, ноздри-норки ходуном ходят. От багульника клопам лихо делается, старик говорит – от бессонницы помогает.

– Пусть нюхает, сон к себе зовет. Радуйся – за кадык не льет. Помнишь, у нас в колхозе Марьюшка была?

– Как не помнить. Драчунница. Не всвалку с бабами дралась, по-мужски – врасходку. Вечно синяками запятнана была.

– Говорят: бабы умы разоряют дома. Не всегда. У Марьюшки были в избе углы не красны и пироги не вкусны. Все оттого, что в первых ее приятельницах водочка числилась. С этой кумой не подерешься – без кулака свалит. Пела Марька хорошо, пила еще лучше. С ней бы и в аду сладу не нашли. Начальство деревенское на собраниях чихвостила здорово. Правду дороже хлеба ценила. Счетовод у нас был, по кличке Червонец. Она его при всех юбочником звала. Любил возле подолов повертеться. Ветеринар ягнят колхозных при своей стае определил. Марьюшка остановилась возле толстомордого мужика, проблеяла жалобно: «Товарищ бе-бе-те-ринар, с нового окота взять ягнят неохота?». Хмельная баба – чужая, доступная. Не только мужнин товар. За это ремесло вожжи об Марьку махрились. Муж примется бить, баба на всю деревню выть. Так и звали Волчицей. Зато работать примется –

кричали. Мужики на фронте немца гнут, бабы пашут и жнут. За общего мужика Васюган оставался. На все колхозы подмога. Зима его полгода в капкане держит. В мае выломится из-под льда, вновь тягловиком делается.

– Нюша, ты про ягнят-сирот расскажи, – Горислава не выпускала из рук мелькающие спицы.

– Окот овец – хлопотливое времечко. Забавно наблюдать за овцематкой, готовой вскоре обьягниться. Ведет себя беспокойно, подстилку под собой копытцами ворошит. Часто на свой живот смотрит. Оглядывается боязливо. Кружится на одном месте, голову нагибает, будто боднуть собирается.

Сироты у овец почему получают? Матка принесет двух-трех ягнят и одного не примет. Такую стыдить начинаю: ты чё это, голубушка, от дитя своего отрекаешься? И не стыдно, шалава ты этакая? Знаю, что не возьмет третьего, обычно слабенького ягненка, но внушение все равно овце заблудшей сделаю. Начинаю подсаживать неприемыша к другой овце, у которой всего один ягненок родился. Тут хитрость нужна. Обманом надо взять овцу. Сдаиваю у нее молоко, смачиваю ягненка домокра. Особенно пуповину и заднюю часть. В кармане фуфайки у меня мелкая соль приготовлена. Осыпаю ею сиротинушку и подпускаю к чужой овечке. Она начинает облизывать, ласкать чужака и принимает вскоре за своего ягненка. Председатель прознал про это, предложил поехать в район на совещание животноводов. Ездил, опытом делилась. Зал долго хлопал, и газета речь мою пропечатала.

Мы с Гориславой стахановками были. Премировали нас отрезами на платье, гребенками и керосином. Перед пенсией стали будильники подносить. Да мы любому петуху нос утрем, зарю не проспим. Будильник ни разу на звон не накрутила.

Тяжело было видеть кончину нашего колхоза. Иных работников ни гром, ни будильник не добудят. Придут к конторе, орешки кедровые шелкают, семечками плюются.

Работу ждут. Солнце успеет на высоту скворечника подняться – мужики зевают, курят, анекдотничают. В бороне каждый зуб свою борозду режет, за другой зуб не прячется. В нашем колхозе напоследок его жизни привыкли за спинами друг у друга стоять. В бороне зуб расшатается, гайку подтянешь, укрепишь и все. Наши колхозники так расшатались, что последний председатель подтянуть их не смог. Как на грех зряшный клич прошел: личную скотину сокращайте. И пошли гулять сквозняки по хлевам и стайкам. Где коровка мычала и хозяйка подойником брэнчала – тишь пришла. В нежилом хлеве даже ласточка редко гнездо совет. При линьке животных птички шерсть в гнезда таскают. Где мякенькую подстилку найдешь для птенцов, если скотинка почти совсем с л и н я л а.

На пенсию ушла, но еще долго к овечкам была приставлена. Каждое пастбище свой номер имело. Выедят овцы траву на одном пастбище, перегоняю на другое, на свеженький корм. После сенокоса и уборки урожая пасла на отаве и жнивье. В сильные росы рано не выгоняла на пастьбу. На росных травах овцы жоркие, переедают. Может вздутие живота случиться. Да и ноги от росы заболевают, ревматизм вселяется. При вздутии овец не паниковала. Положу болезную так, чтобы голова выше туловища была. Открываю у овцы рот, язык на себя тяну и выпускаю лишний воздух через пищевод.

Раньше в деревне пятидворки были. Хозяйки пятидворницами назывались. Мы с Гориславой по соседству живем. К нам еще три двора подключено было. Наша пятидворка всегда первой была: по займам государству, по сдаче денег и вещей в фонд обороны. В труде и в застольях не плошали. Председатель говорил: тебе, Нюша, и тебе, Горислава, за песни и частушки по лишнему трудодню начислю. Отвечали: песня крылата – не нужна плата. Полетит, сама себя прокормит.

Кто-то меня в деревне назвал Двухмоторной. Да, трудодни мы зарабатывали крупные. На наши рученьки пали сплошные работы. Без моторов крутились. Говорят: на миру и смерть красна. Оно так. На миру и труд красен. Бывало, выйдем всем бабьим миром снопы вязать, турнепс дергать – земля под ногами качается. Часами внаклонку пластались на полях. Голова чугунела, искры из глаз выметывались. Не раз кровавые бусины сыпались из носа. Сделаешь запрокид головы, отлежишься чуток на хлебной кошенине. Баба – самовар непотухаемый. В работе должна кипеть и не расплавляться. Понимали: война. Мы – тыл. Тереша – фронт. Всполошила гадина фашистская народы. Мы крепкими матюками Гитлера били. Крутили нам немое кино. Мелькнет его рожа усатая – весь зал в крик. Кулаки над головами мелькают. Мальчишки с первых рядов в башку гитлеровскую из рогаток палят. Будь он трижды проклят и вся его рода до сотого колена!

– Так его, Ньюша, так! – подбодрил Тереша. – Заварил гад густую кашу и подавился... Не сыграть ли нам в лото?

– Доставай, солдат ветеранный!

Из полотняного мешочка высыпались на стол гулкие потертые бочоночки, картонные фишки. Горислава отложила упругий, почти довязанный носок, достала с полки продолговатые лотошные карты. На некоторых листах цифры были едва заметны. Старички любили играть в лото, в дурачка, в домино. Лак с пузатеньких бочонков лото облез, игральные карты измахрились. Из некоторых костяшек домино выкрошились белые глазки. Играя в дурачка, картежники часто подносили к глазам одну из карт. Вертели так и этак, определяя: червовый ли это валет, пиковая ли дама.

Хозяин запускал в мешочек проворную руку, извлекал гладкую лотошку. Если попадались бочонки с цифрами 44, 11, Тереша залиvisto провозглашал: стулья, барабанные палочки.

стоят козлы. К ним прислонена лучковая пила. Вваливаю на козлы воротный столб, беру пилу. С детских лет не держал лучок. Потрогал пальцами зубчики полотна – тупые.

Пилю, вернее, рву дряблую древесную плоть. Из-под полотна летят не опилки – гнилые крошки. Подбежала грязная, куцехвостая собачка, обнюхала носок полуботинка. Чихнула и залилась визгливым лаем.

На низком крылечке показалась Мавра. Волосы растрепаны. Кофта скособочилась. Платье мягкое, калоши в навозе. Бабка сделала пальцы окуляром бинокля, навела на меня.

– Не узнаешь, Мавра?

– Не-а.

Назвался.

– А-а-а... Бороды в тот раз не было?

– Не было.

– Ну вот. Так бы признала. Борода тебе личит. На нашу родню староверскую похож.

– Вот помочь тебе немного хочу.

– Подмоги. Все об нас забыли. Один боженька попечительствует. – Бабка перекрестилась прогонным староверческим крестом. Когда два пальца летели в стороны, они коснулись самых концов худых плеч.

– Дров почему сын не наготовил? Ведь у тебя сын есть?

– Есть, да не про материну честь. – Мавра что-то забормотала, стала считать по пальцам. – Четвертый год сынка шти тюремные хлебят.

– Как же ты в холода с такими дровами?

– Зима подскажет, что делать. К Нюше на кроватный постой уйду. Чего две избы зря топить? У них просторно. Мне местечко отведено в теплом углу. Сюда прибегу, со скотиной управлюсь и к ним. Втроем в подкидного дурачка весельше играть. Горислава с солдатом своим нагрянет. Шибко весело... Брось лучок. Сама перепилю. У меня кровь с остано-

ками ходит, так я шевелюсь, разгон ей даю... У Нюши старик ополоумленный. Говорит: должен же я чем-нибудь заняться на том свете. Струмент готовит, натачивает. Забываю свой лучок отнести ему. Плохо ведь тянет?

– Скверно.

– Вот и оставь. Сама управляюсь. Привышная. Дровенки расклюю топором... Не знаешь, кто поговорку придумал: богатый человек с оружием, бедный со слезами?

– Не знаю.

– Вот и я не ведаю. Правая половинка поговорки про меня. Много победничала. Много слез из души выкатила. Всю мою жизнь рассказать – больша-а-а-ая Библия будет. Я испужена медведем была. В Васюгане тонула. Змеи кусали. Под эту субботу запомирала. Вышла под небо, шепчу: Богородица, не дай помереть. Я еще Святое Писание почитать хочу. Лечилась прутиками красными. Срезала, варила. Отвар помог... Тятя родненький мне говорил: «Поживи по людям, попытай судьбу. Потом другим скажи – каково солнышко греет и человек зло сеет». Жила по людям. Где с ребятенками повожусь, где попряду, где полы вымою... Этим кормилась. И скажу я тебе: путальница в жизни великая. На путь истинный архангел Михаил наставлять должен. Но и он не всегда подсоба. Бесей много. Сатана возгордился. Все от многобожия идет. Грамоте я через муку училась. Хотелось своими глазами Святое Писание прочесть, книги старопечатные. В людях качаю зыбку, соптики малышу утираю, сама букварик зубрю. Смотрю, какими крендельками буквы лежат. До десяти номеров считать научилась. Тятенька терпелив был. Смолчит, дурой меня не обзовет, пальцем не тронет.

В деревне меня нарекли монашкой, отшельницей. Но я от людей не откольница. Молюсь за них, помогаю. Раньше брюху у больных правила. Ячмени, бородавки сводила. Если ячмень на левый глаз сядет – перевязываю ниткой пальцы

СОЛНЦЕ СИБИРИ

На первый взгляд, в повести томского писателя Вениамина Колыхалова речь идет лишь о событиях драматических: об оскудении томской деревни Авдотьевки, факт, за которым проглядывается отмирание многих современных деревень. Да и главные герои повести показаны не в лучшую пору своей жизни, в огорчительной старости изображены они. Однако – удивительное дело! – общее впечатление от произведения остается светлым, а завершается повесть страстной, звенящей, ликующей нотой. Одна из причин тому – сквозной образ солнца, идущий через всю повесть, о чем подробнее мы скажем ниже.

Не дают вылиться пессимистическому вздоху после чтения колыхаловского произведения и образы тружеников-стариков, живущих в Авдотьевке. Веришь, что эти люди сумеют одолеть любые напасти. Тема труда знакома писателю не понаслышке. Был будущий литератор и слесарем, и литсотрудником молодежной газеты, и сучкорубом, и рабочим геологической партии. Работе верны авдотьевцы до последнего вздоха. Умирая, колхозник Федул берет в слабеющие руки лукошко с зерном и засеивает пол: так вечному труженику легче встретить небытие. Пронзительная сцена.

Старательностью, небрезгливостью отмечены авдотьевцы, нет для них «грязной» работы. «И свиньям подход людской нужен», – учит семидесятилетняя Горислава, вспоминая

правой руки: средний и безымянный. Ячменю не грех фигу показать. Поднеси ее близко, пошепчи: новосел, не на ту землю сел. Кому соринка в глаз попадет – пушу под веко семя льняное. Любую соринку выгонит. Иной всю жизнь проживет и не знает, что кол в землю надо с водой забивать. Дуриком лезет. Строители в деревне коровник строили и всухую забивали. Школы большие закончили, а такую премудрость не знают.

Не откольница я. Постуюсь. Молюсь двуперстно. Книги древние до дыр зачитала. Пужливая только: боюсь бесей, не растерзали бы. На мне грехи есть: не всегда постовалась, ребеночка с глухим парнем нажила. По нашему обету строго спрашивается: неженатые не женитесь, женатые разженитесь. Всю жизнь каюсь, согрешение замаливаю. Молодой была, глупенькой. Пойду в лес – за птичками, за бабочками подсматриваю. Они друг на дружку прыгают, топчаться, любятся. Стыдно, но смотрю. Помолюсь и снова смотрю... и так нутро распялет – моченьки нет. Почешу под подолом и в деревню. О ту пору глухой, молоденький конюх стал приставать. Его мне бес поднес. Барахтались с ним на сене. Добрахтались. Убедил меня, что с застойной плотью с ума сходят... ну и ввел в согрешение. У трехперстников-щепотников книги иные. Они учат: для детоплодия брак дается. Во брак с глухим вера моя не пушала. А по своему ребеночку сердце ныло. Не выстругаешь же его из осинки. Живого хотелось. Жизненное свое берет. Плоть молитвами не усыпишь.

Сынка мой родился перед Благовещением. На восьмой день имя ему дали – Витенька... Выродила, значит, сынку, реву слезами, шепчу: Богородица, Дева, радуйся... Как думаешь, не растерзают меня беси за давний грех?

– Не посмеют.

– Вот и я так думаю. Но тюрьму сынке они подстроили. Говорила ему: «Оставь в покое вино, брось карты, живи по-

мама, как картошка: если осенью не съедят, весной посадят...». Накаркал себе беду.

Мавра побрела к козлам. Медленно нагибалась за калошей, придерживая поясицу рукой.

– Отымается спина. Второй день с прострелами хожу.

Погода скоро на дождик повалится.

– Выезжала куда-нибудь из деревни?

– В Пермю выезжала, ко сестре старшей. На вокзале у меня кошелек стяпали. Не заркие деньги были – двести два рубля прежними. Поголосила у рельсов, беда растуманилась. Сестра последние рубли собрала, на путь обратный дала. Нашла я на кофте, платье кармашков тайных, распихала трешки. Поехала. Дорога гремит, мне страшно. Вдруг колеса сбегут с железа? Водой долго ехала. Добралась до избы, упала на койку, занемогла. Чужая земля – патока, своя – сливки. Всем говорю: я – не расейская, я – васюганская и столица моя – Нарым. Тут каждый пенек мой кум. Всех певчих птичек в лицо знаю.

Крыса выбежала из-под древесного хлама, смело и нахально понеслась вприпрыжку к крыльцу. Мавра с той же проворностью сорвала с ноги заляпанную навозом калошу, швырнула в нахальную грызунишу. На сей раз черная резина обрушилась на нее всей массой. Крыса перевернулась на спину, ощерила длинные зубы, злобно пискнула. Оглушенная, несколько секунд оставалась на месте. Отшельница победно поднялась, схватила со стены коромысло, зашпешила к добыче. Но добыча успела оклематься. Крыса бесенком понеслась на старуху, прошмыгнула между ног, едва не укусив охотницу за щиколотку.

– Ну я тебя изловлю! Ну распотешусь!.. И ведь умные шельмы, – неожиданно нежным тоном проговорила Мавра. – Нашли обрезок кожи от чирка, закатали на лоскут яйцо и волоком потащили. Курей волнуют, они нестись плохо стали.

В многоводные весны Васюган делал пойму своим дном. В привычное ложе возвращался неторопливо, образовывая по берегам ступенчатые приплески. Не раз придется реке обивать эти песчаные и глинистые пороги – сыпучие, трещиноватые, с петлястыми следами чаек, куликов, со строчками кротовых перебежек.

Густая крепкостебельная осока, живучий стойкий пырей окаймляли бесчисленные озера поймы, высокими зелеными валами подкатывались к тальниковым, черемуховым и смородиновым зарослям. Все, что щедро набросало на луга неудержимое половодье – коряжник, бревна, одонки лугового сена, всякое щепье и корье, – сейчас было скрыто, упрятано под плотной шубой густущих трав. На этих даровых кормах могли бы тучнеть, нагуливать мясо и молоко стада коров, овец, свиней. Но почти всему зеленому богатству предстоит засохнуть на корню, уйти сперва под злые осенние дожди, потом под долгие тяжелые снега нескончаемой нарымской зимы.

Васюган вспаивал пойму, разносил повсюду семена трав. Залитые пространства освобождал неспешно. Там, где недавно плескались темные воды реки, начинали всплескиваться под резкими порывами ветров молодые изумрудные травы. Летом природа подолгу не снимает с неба золотую корону. Вечер бережно положит ее за огненную черту горизонта, но небеса и земля не испытают тоску от короткой разлуки. Постепенно светлый вечер перейдет в белую ночь. Переход свершится благоговейно и тихо. Травы не теряют ни минуты. Удивленные миром от рождения, они тянут точеные шейки выше и выше, весело шелестят и ждут часа острой косы. Но он не придет. Давно на больших площадях не выкашиваются зареченские луга. Их перестали линовать колхозные сенокосилки, бригады ручных косарей. Станы покосников заросли шиповником, таволожником, упругим дудочником. Дягиль, одурев от июльского солнцепека, чуть покачивает тяжелыми

вертких горностаев, бесчисленных пернатых птиц, упрятавших гнезда с птенцами. Отпрянул от земных пределов степенный коршун. Воспаряется к небу, к прохладе высот. Вдоволь насытился хищник, не грех покинуть на время кормовые угодья.

Беспризорные авдотьевские луга теснит от озер кочкарник. От речной стороны настырно наползает ветельник. Его успел перегнать дудочник. Не желает уступать дорогу опрятный дягиль. В нем вызревает масса крупных семян. На будущий год они породят еще тьму этих головастых стойких растений. Каждая затравенелая кочка смотрится земным нарывом, огромной бородавкой. Упругое племя лезет со стороны сыроватых низин, маскируясь под ломкими травами былых лет. Кочки пробивают цепкое наслоение соломенного цвета, спешат увидеть солнце, опушаются новой травой.

Колхоз и то не выкашивал полностью открытую земную благодать. Река властно распоряжалась огромным пойменным хозяйством. Годами вода придавливала луга до середины июля. Травы не успевали налиться соком и силой. Поджимало время: сенокосники начинали валить низкорослую – покоренную травушку.

Ни перед одной страдой Терентий Найденов не испытывал такого внутреннего волнения и беспокойства, как перед сенокосом. Бригадой по заготовке кормов командовал давно, но всякий раз перед луговым наступлением охватывала оторопь. Будущее сено было накрепко впаяно корнями в вязкий грунт. Выводил звенья косарей-ручников. От холодной утренней росы до вечерних туманов пластались на длинных загонках. Вжикали косы, шуршали по их жалам точильные бруски. Солнце сгоняло росу с трав, но нагоняло соленые росы на лица и спины.

Терентий отводил большую литовку на весь отмах вправо, гнал широкий бригадирский прокос. Сено лишним не

– Будет, будет! Дадим! Обеспечим! Скоро уши контузят от обещаний. Ты мне говоришь про будет. Я тебе говорю про есть. Сейчас в моей избе сливки, молоко, масло, мясо. Я же брюхо по ноздри не набью жратвой. По горло хватает. Лишки не в Америку шурую. В районе, в области оседают. Нефтяники на нефть верхом сели. Бурят, качают. Кормить-то их надо. Понемногу с каждого двора, и то гора продуктов. Не всякую спущенную установку на попа станови. Ты выходец из крестьян, особой грамотешкой не сверкаешь. Давай мы тебе поможем написать коллективное заявление в область, в Москву. Скажем: прополоть личные хозяйства – значит дать сорнякам власть.

– Каким сорнякам?

– Лентяйству. Оно и так корни крепкие пустило. Города для молодежи – сыпь повальная. Из нашего колхоза дерут, ни за какие деньги назад не выторговать. Пусть люди за личные дворы держатся: отличная форма заземлить мужика. Лень одним трудом излечивается.

– Вот и пусть мужики на колхозном дворе пупы рвут. Больше сделают – слаще поедят. Не иди, Найденов, вразлад со временем. Ты солдат бывалый, знаешь: в ногу легче шагать, воинским миром дорогу давить. Передовик. На юру колхоза стоишь. Сознаюсь по секрету – на тебя представление в область отправлено: орден будет. Не ударь в грязь лицом. Сделай начин – избавься от коровенки. Деньги за килограмм живого веса неплохие дают. Жалко, конечно, буренки лишаться. Личная корова – член семьи.

В тягостном раздумье выходил из конторы колхозный бригадир. Горислава налила в обед тарелку жирных запашистых шей. Терентий Кузьмич сделал хлебок и положил ложку на стол вверх горбиком.

– Сдадим Красотку, – занскивающим, виноватым голо-

хлебывались из-за допущенной скарденности. Кузнец попытался набросить на рога собранный в кольца белый аркан и промахнулся. Шалун широким копытом остервенело рыл под собой землю. Разминка ничего путного не предвещала. Внезапно Яшка крутанулся на месте, подлетел к стене кузницы, где стояли отремонтированные бороны. С размаху всадил рога в первую: они вошли между ленточной сталью бороны почти по самый лоб. Упрямец попытался вытащить рога – они заклинились намертво. Бык рванулся назад, вскинул голову – борона взметнулась над ней. Орудие крестьянского труда, поднятое зубьями вверх, превратилось в грозное небывалое орудие на бычьей башке. Теперь Яшка напоминал свирепого сохатого с многочисленными отвилками раскидистых рогов. Даже лось-десятилеток не смотрелся бы так устрашающе, как этот бычина, порвавший путы, вооружившийся стальными штырями бороных зубьев. Шалун затряс башкой, пытаясь скинуть весомый груз: борона еще плотнее легла на крутой широкий лоб в завитушках черных волос.

Мужики подняли хохот. Хозяин стоял хмурый. Савва опасался, как бы Шалун не повредил череп, не выломал под корень грозные рога.

На борону легче было набросить веревку. Кузнец не промахнулся. Запоздало подумал: что это даст? Перед ним была свирепая туша с существенной прибавкой острозубого металла. Попробуй подтяни такую массу к себе или подойди к ней сам. Одно круговое движение головы Шалуна, и бороны зубья пропорют живот любому, вопьются в грудь, в шею. Бык по воле случая превратился в лося. Он стремительно понесся на кузнеца. Тот швырнул конец капроновой веревки на землю, забежал за угол кузницы, заблажил оттуда:

– Гад! С тобой до пенсии не доживешь!

До позднего вечера таскал Шалун на рогах колхозный инвентарь. Обронил борону на берегу Васюгана. Капроно-

Хозяйка даже не расслышала стука калитки. Терентий Кузьмич насупленный, недовольный свалившейся непогодью, шел по тротуару, держа над головой черный обрывок рубероидного листа.

– Вот наваждение! – крикнул жене Найденов, подходя к крыльцу. – Даже на войне такой пулевой атаки не было. Ка-тер пришел, базлает вздох.

– Пусть. Не сейчас же Красотку вести.

– Да-аа, выпала погодка на коровье прощание. Парторг, как угорелый, по берегу носится. Клубист по его приказу лозунг написал. На барже, на шкиперской будке прибил: принимай, Родина, авдотьевский лишний скот! На белом материале аршинные красные буквы. Чудак-человек – наш поводыр партийный. Говорит, слова вразброску сыплет. Этот град и то кучнее летит.

Терентий Кузьмич подошел к стайке, заглянул в дверную щель. Успокоенная Красотка перетирала на зубах мякоть траву.

– Жуй, жуй! Пока на личном домашнем довольствии стоишь. Какую общественную кормежку получишь – не знаю. Заморят, поди, дерьмом зарастешь. Может, и кормить не будут, голодная под ток угодишь. На мясокомбинатах с вашенским коровьим отродьем не чичкаются. Провод к телу, и ты уже не Красотка, а первая категория мяса. Подсчитают, сколько накопила мяска, сколько требухи. Мясо по ресторанам, по магазинам развезут. Филейную часть торгаши непременно по себе растащат. Продадут по знакомым. Не без этого. Тут хоть град обруш на продавецкие головы, все равно себе порадеют.

Бригадир, увлеченный тихим монологом, не заметил подошедшую к двери Красотку. Смотрела в щель, слушала хозяина, нацелив на него влажный отполированный глаз.

– ...Сегодня под лозунгом поплывешь. Палуба скольз-

стые ласточки издавна обжили песчаную родину берега. С весенним прилетом неугомонные птички-пескоройки начинали подновлять старые гнезда, протачивать новые. Разрыхляли песок клювиками и лапками, выбрасывали береговую породу упругими крылышками. После весенней линьки животных на пряслах, воротных и электрических столбах оставалось много дарового материала на гнезда. Великой находкой для скворцов, синиц и стрижей была любая пушинка, клочок оброчной шерсти, перья, оставленные после петушиных баталий.

На берег вели первых сдаточных коров, бычков, успевших побывать на колхозных весах. Авдотьевский скот метили легким надрезом левого уха. Понурые животные были уже взвешенными, мечеными и внесенными в список приемщика. Оставалось завести на баржу, получить квитанцию. После по ней будет выплачена за живой вес причитающаяся сумма.

Шкипер вперевалячку ходил по измаранной палубе, дымил дешевой папироской: за одну затяжку она уменьшалась почти на сантиметр. Нос на шкиперском лице сидел красным нашлапом, был усыпан мелкими вдавленками, похожими на те, что хранит боек наперстка. Мужик ловко перегонял языком папиросину по всей ширине губастого рта. Углы губ были далеко, но курящему ничего не стоило в полсекунды переселить обмусоленную «прибоину» из конца в конец.

Пустая тихая палуба нравилась этому молчаливнику больше, чем наполненная ором скота, стуком копыт. Сейчас заведут новую мычащую ораву. Шкиперский спокой расколется кедровым орехом на крепких зубах. От первых ветров-вешняков до последних – предснежных жизнь на воде да на воде. Только успеет майское половодье растолкать льдины по берегам, пошлепает баржонка по разгонистым большеводным плесам. Повезет кирпич, шифер, трактора, дизельное масло, брус. Поташит все, что взвалят на речную подневольницу. Не привыкать ей перевозить и скоти-

ми, кузовами-набирками вытаскивали с болот и раскорчевок бруснику, клюкву, морошку, голубицу, чернику. В сжатый осенний период успевали сборщики напластать калины, рябины, засушить шиповника, черемухи, боярки. В пойменном побережье плодилась красная и черная смородина.

Нахлынут сентябрьские ветры – оповестительные гонцы зимы – вся деревня торопится в кедровник на сбор шишки-паданицы. Шуршат, перетираются в бункерах самодельных терочных машин плоды кормежных деревьев. Успевают, жируют в тайге звери и птицы. Каргочут на вершинах пронырливые кедровки. Белки, бурундуки набивают орехом зашечные мешки, надежно прячут сытый корм на зиму.

Еще не везде пройдет сгон майского снега в лесу, авдотьевцы с корзинами, мешками спешат за витаминистой колбой. Сначала жорко набрасываются на стрельчатые, мягкие листья, сочно хрустящие стебли. Наедаются до отрыжки. По губам течет сладковато-терпкий, разбавленный слюной колбиный сок, в зубах застревает пахучая мякоть.

Поднимая перегнутым листом, как спиной, сопрелую подстилку тайги, колба вскоре встает в рост, простреливает заостренным верхом легкую крышу. Рвут и режут дикий чеснок пучками. Начнешь придавливать колбу в мешке рукой – пружинит, скрипит, неохотно оседает.

Бочкотара нужна и под соленую колбу. Да куда только не нужна была вездесущая тара – бочка?! Даже кривосидящий на воде пароходик, снующий по Васюгану, назывался «Тарой». Он принимал пассажиров, а заготовители спешно принимали в трюм затаренный груз. Далеко «Тара», за многими плесами. Пока не слышен шлепоток колес. Но черная грива дыма выдает местонахождение колесника.

Редко кто интересовался, по какой причине скособочилась васюганская посудина. Сошла ли с верфи такой или подсидела, накренила старость. «Тара» отвозила к Оби, к

многолюдному поселку рыбу, орехи, кожу, клепку, ружейную болванку. Увозила на войну мужиков крепких, без пулевых и осколочных изъянов. Вертала с костылями, безруких, безногих, оконтуженных взрывами, обожженных огнеметными струями. Многих совсем не вертала. Война безостановочно обменивала человеческие жизни на суровые похоронки.

Заготовители, агенты, приемщики, налоговые инспекторы постоянно навещали деревню. Вели учет обмолоченного хлеба, выращенного льна, опоросившихся свиней, настриженной шерсти, содранных шкур. Менялись названия контор и пунктов, но первая часть слова загот оставалась неизменной: «Заготживсырье», «Заготпушнина», «Заготскот», «Заготконтора»...

– Дай, деревня! – требовательно заявляла война, и Авдотьевка давала все, что имела.

– Дай, деревня! – просили оборонные заводы Томска, и Авдотьевка просыпалась с первыми петухами, засыпала в ночь.

– Дай, деревня! – просили стройки области, и Авдотьевка корчевала тайгу под новую пашню. Сплавляла по Васюгану корабельные сосны, кедрач для карандашной фабрики, тонкомер, идущий на крепеж кузбасских угольных пластов.

– Дай, деревня! – просит нынче нефтяная целина.

Впервые Авдотьевка отмолчалась на этот важный призыв. Что она может дать, когда осталась в ней горстка домов и пенсионеров. Нефтяники строят дорогостоящие теплицы, размещают по северной земле подсобные хозяйства. Подсобил ли кто в свое время погибающей деревне? Та же нефтяная целина без натуги взяла у Авдотьевки механизаторов. Сейсморазведчики, нефтепроводовцы, мелиораторы, лэповцы вовлекали в свой строительный водоворот, в эту огромную крутящуюся воронку шоферов, электриков, трактористов, даже

скученности, о Красотке. Расширит в темноте глаза, уставится на близкие яркие звезды и стоит, как вкопанный.

Горбыли упруго пружинили, отбадывали бугая. Они злили быка не меньше, чем злил и досаждал гнус. Он отпихнул задом рядом стоящих коров, попятился. С небольшого разгона саданул горбылину рогами и лбом. Она переломилась посередине у вспученных сучков. Расправиться со второй, нижней, доской было легче. Шалун подвел под нее рога, уперся, набычился. Поперечина лопнула, словно карандаш в руках ученика. Довольный Яшка просунул башку за борт, устоялся в еле различимый береговой срез. Отвоеванная на длину головы свобода на время успокоила производителя. К проломленным доскам протиснулась Красотка. Яшка охотно и почтительно уступил место рядом. Бугай дышал часто, запальчиво. Корова тоже просунула голову в пролом. Внизу между бортом и песчано-илистым плавным береговым спуском лопотала полусонная вода. Шалун оперся на задние сильные ноги, а передние и почти все грузное тело вверил Красотке. Она теперь не отшатнулась, только подалась от веса быка вперед и сорвалась с палубы. Яшка обрушился за ней, даже на лету не расцепляя передней пары скрюченных ног.

В шкиперской будке заворочался приемщик, громко спросил в полусонном состоянии:

– Дерево, что ли, подмытое упало?

– Есть! – буркнул шкипер.

И снова храп, комариная звень над гуртом.

Красотка и Яшка приводнились, не поломав ног. Васюган подложил под них донную перину из песка и ила. Они выбрали на сухое, недоуменно уставились друг на друга. От падения горячий пыл у Яшки не пропал и он довершил начатое на скотовознице дело.

Потом, забыв о барже, катерных огоньках, гурте, растревоженном комарами, парочка побрела вдоль берега в сторону

– Знамо дело: бездорожицей шли – не поскотиной. Утонуть могли в трясиннике.

– Считала Красотку отрезанным ломтем, она вновь к караваю прилипла. Как ее теперь сдашь?

– Не укараулили на барже – с нас взятки гладки. Я заметила: шкипер ходил сонной курицей. Курил да за борт плевался. Видно, гнет имел в голове от непохмелья. Зря только животным уши надрезали. Вот тебе и мета: в списки попали, да дорогой пропали. То-то я сон вчерась видела: бредет Шалунишка по лугу, на рогах у него венчик из ромашек. И говорит Яшенька человеческим языком: «Тетка Нюша, зачем ты меня на бойню определила? Что я тебе плохого сделал?» Отвечаю ему: «Не на бойню тебя, дурачок, везут – в чужой совхоз. Будешь дело племенное лучшить». Бык усмехнулся криво и попросил: «Раз так – дай хлеба и... прощай». Хотела тебе сразу сон рассказать, да все в себе носила, пужалась чего-то. Не знаешь, Славушка, к чему он?

– Хлебец он как милостыню попросил?

– Нет, напористо, громко.

– И ты дала?

– Не успела.

Горислава подавила вздох, махнула рукой:

– Бог с ним – со сном. Мне вот недавно ковчег приснился. На нем Мавра с патефоном в руках. Стоит, два перста к солнушку подняла. Рядом поросята в ноги тычутся и какой-то незнакомый мужик с колотушкой стоит. И не отгадаешь, к чему сон.

– Ишь ты! Маврушка даже в спасительный ковчег хахалю прихватила. Мудра! Ее мама угнала в поле по теленка. Она маме принесла в подоле ребенка. И льнут же к этой растрепе мужики. То речника пригреет, то шабашника залетного. По ее вере блудить вообще нельзя.

– Блуд никакой верой не поощрен.

теперь растет одолень-трава, помогающая в годину всеобщей беды? Где она та травушка – пособница бабьей стойкости? Испытания выпали немалые, и нарымчанки одолели долгое лихо заснеженного тыла. Война проредила васюганские колхозы и рыбартели. Поубавилось силенок мужских, но за счет всемогущего слова надо удвоились, утроились силы женские. Призывный клич фронтов оторвал пахарей от нарымской земли, рыбаков от воды, охотников от тайги.

Перед отправкой на войну отцы с сыновьями спешно производили хозяйские недоделки. Латали крыши. Чистили колодцы. Поправляли заплоты. Готовили впрок дрова и сено, если повестка не настигала до сенокоса. Председателя взяли на фронт после полной государственной хлебосдачи. Снарядили несколько неводников в шесть и восемь гребей. На первом подняли флаг, и хлебная флотилия пошла мерить тягучие километры по холодному осеннему Васюгану. Красной памятью об оставленном колхозе был для председателя флаг, взятый с собой на войну. Он стойко хранил запах хлеба и запахи вынужденно оставленной родины детства.

Терентий Кузьмич Найденов попал в число первобранцев. Перед уходом на фронт наставлял сына-старшака:

– Ты, Гриша, не постреленок. Без малого мужик вырос. Чему научил тебя – на деле применяй. Чего не успел перенять – умком да руками доходи. При войнах тыл всегда волком выл. Тяжело будет, с потом кровь брызнет – держись! Мать береги. Я за нее буду на передовой ответчиком. Ты – здесь.

Мужику Грише шел двенадцатый год.

В первый военный шишкой упал с кедра, вывихнул ногу. Нашел силы не закричать, не испугать дочку Нюши-хромоножки – Катеньку. Она оббивала шишки с кедра, стоящего неподалеку. Скотившись по мягким, пружинящим лапам, Гриша, по счастью, угодил ногами в мох. Падая с большой высоты. Под ногой оказалось толстое корневище.

ло резким жаром. Хотелось выпустить из себя боль криком, но рядом стояла Катенька. Парнишка часто-часто заморгал и не удержал в глазах крупные слезины. Но он их так быстро смахнул с лица, что девочка ничего не заметила.

Предвоенной весной долго разгуливал по пойме приобретенный Васюган. Расчесывал струями ломкую прошлогоднюю осоку. Пригибал кустарники. Расселял по лугам по случаю водополья невесть откуда принесенные доски, жерди, коряги, бревна. Расшвыривал, заметал по дальним луговым углам весь накопленный за безмерную зимушку сор.

Схлынула вода – нахлынули травы. В деревне установилась пора оживленного предсенокосья. Ладили сенокосилки, конные грабли. Отбивали, натачивали косы. Мастерили грабли, косовища, трехрожковые стогометные вилы. Евлампий плел новые копновозные веревки. Шорник шил уздечки, починал изрядно подержанную упряжь.

Сеноуборка всегда была для колхоза сражением. В первую военную страду – тем более. Сражение требовалось непременно выиграть. В ход пускалось все: артиллерия конных косилок, гремучих крупноколесных граблей. На сенокос высыпала вся колхозная пехота, начиная от пацанья и кончая коромысловатыми старухами и стариками, иссушенными работой и русской печкой.

В травную атаку шли неизносимые деревенские бабоньки. Долго мелькали разноцветные, остроугольно надетые на головы платки, косынки. Долго чавкала под сапогами, чирками, калошами вонючая густая жижа, взблескивая меж кочек ртутно-фиолетовыми зеркальцами.

В копновозы издавна годилась верткая ребятня, гордо восседающая на густошерстных спинах коней, откормленных на вольной траве. Почти каждый копновоз обзаводился гнойными коростами на заднице. Ходили по земле косолапо,

вперевалочку, отдирая от ложбинки воспаленной ягодицы прилипшие штанишки.

Всю войну бежал подо льдом и под светлыми туманами Васюган; молчаливая ломовая лошадь. Безустально таскал на хребтине груженные неводники, баржонки, связанный на плотбищах строевой лес. Река тоже воевала с врагом, тянула одну жесткую лямку с нарымскими тыловиками.

Гриша не написал отцу о падении с кедра, о вывихнутой ноге. К чему бойцу лишние тревоги? Сгношили с матерью посылку на фронт. Орешков отправили, сушеной черники, чеснока.

Колхоз готовил одежду бойцам. Сшили пять полушубков, семнадцать фуфаяк-стеженок. Горислава кроила выделанные овчины. Шили рукавицы-мохнашки из собачьих шкур. Пусть погреют солдаты руки. Стылыми пальцами трудно в фашистское горло вцепиться. Сибирские шубинки, мохнашки любую пятерню отопгреют. Глоток немецких много, но и теплых рукавиц по всей-то Сибири шьют много. Берегись, враг!

Пролетит над Васюганом ветер-верховик, дунет с низовья холодный низовичок – ни один не приносит весть о скором конце войны. Там солдаты бьются за Москву. З д е с ь, в Авдотьевке, солдатики убиваются на колхозных работах. Некоторые в горьких вдовиц обернулись по воле вложенных в страшные конверты похоронок. Адская настороженность висела над людскими судьбами бритвенно отточенным тяжелым топором. Неминуемая, непредсказуемая явь, творившаяся на далеких полях сражений, вычитанные из газет, услышанные по радио убийственно сжатые сводки, пылкое воображение солдаток рисовали картины одну страшнее другой. Да еще ознобные сны прилетали в каждую избу пугающими татями, холодили душу и кровь.

Душа-вещунья подсказывала Гориславе: размирь с немцем надолго. Эвон, поганец, как прет – на Москву хайло

бачке лень согнать ползающее насекомое. Дрема, тяжелая неотступная дрема лежит на заброшенных огородах. Нависла над остатками развалившихся изб, печей, погребов, колодцев. Куда ни помотришь, куда ни ступишь – отовсюду лезет растущий дикоросом густущий конопляник. Буйно наползает крапива. Отблескивает на солнце лебеда. Крыши ощерились крупными зубами посеревших стропил. Покосившиеся завалинки, гнилые венцы, выбитые рамы, сломанные тесины, битый кирпич, бутылочное стекло. Тропинки наглухо затканы травой-муравой, мокрецом и только ведущая к кладбищу струится живым ручейком по задернованному полю.

Сонная одурь охватила все живое в деревушке. Спят уцелевшие и рухнувшие избы. Спят заплоты, лужайки, поросшие быльем и живыми травами. Была Авдотьевка надежным связующим звеном со всей страной и со всем подлунным миром. Разорвалась цепь. Невозможно теперь войти в контакт с тем, навсегда покинутым миром. Не деревня передо мной – тяжелая июльская греза, навеянная безлюдьем, жарой и запустением.

И так захотелось к человеку, авдотьевской аборигенке, чтобы она подтвердила своими воспоминаниями: здесь текла жизнь, росли хлеба и льны, пасся скот. Здесь была частица тыла страны.

Подошел к избе Найденовых, отворил ворчливую калитку. На завалинке, распластав тельце войлочного цвета, грелась ящерица. Не тротуаром – травой тихонько прошел мимо. Ящерка не юркнула в щель, слегка приподняла аккумулятивную головку.

Хозяева, сморенные жарой, сидели за столом, перебирали фотографии, открытки, почетные грамоты за надои, кубометры, телят, сено.

– Ани-и-и-симыч прише-е-ел, – певучим голосом встретила меня Горислава. – Все ходишь, нашей деревушкой инвалидной любишься? На кладбище веселее, чем тут.

переселился. – Горислава кивнула головой в сторону кладбища. – Там на балалайке не поиграешь.

– Знамо, – подтвердил Тереша.

Кто-то быстро пробежал мимо окна. Стукнула калитка. В избу влетела раскосмаченная Мавра-отшельница. Глаза испуганные. Руки лихорадочно трясутся. Старушка бросилась к Гориславе, оплела руками ее колени, прижалась головой к подолу.

– Беси! Беси за мной пришли! Изыдите, окаянные! Изыдите прочь! Славушка, сними! Ой, как шеюшку пилят, моченьки нет...

– Успокойся, Маврушка... бог с тобой. Всех бесей и бесенят мы с тобой давно дустом да карболкой вывели. Подошли они.

– На шее, на шее сидят... пилят...

Горислава отвела в сторону включенные волосы Мавры: на шее сидел черный усатый жук-древоточец. Откуда свалился он на отшельницу? Хозяйка осторожно двумя пальцами сняла стригуна, посадила себе на ладошку.

– Погляди, Маврушка, на беса.

Отшельница испуганно одним глазом покосилась на ладошку.

– Он притворился... оборотень... большой был, лохматенький. Левый ус оборотня поломался, правый бойко шевелился.

– Мы его сейчас казним., – Горислава пошла в сени и опустила жука в щель. – Все! Пристукнула – мокрого места не осталось. Ишь, напужал. Человека лихоманка трясет. Успокойся, родная, успокойся. Еще ненароком заболеешь. А в бабье летечко – болеть не времечко. За грибами пойдем. В лесу хорошо. Видишь, роса к листочкам налипла. Слышишь – птички распевно поют. К осени у них веселинка из голоса исчезает. Они, горемычные, тоже чувствуют поворот к холодам. По-

хальные, неустрашимые бесенята каким-то чудом попадали в избенку, устраивали гвалт и переполох.

Проклятые беси были для отшельницы самыми отвратительными, презренными существами на земле. Херувимы, серафимы, ангелы и архангелы редким божественным появлением приводили Мавру в умиление и открытый восторг. Они завладевали ее телом, духом, волей. Жить в их приятном подчинении, исполнять каждое желание, каждую прихоть было святым и обязательным делом для старушки. Мавра шепталась с ними ангельским голоском. Не смела дохнуть на них, спугнуть, прогневить. Боялась упустить желанное видение, ниспосланное в однообразное, скучное бытие.

Херувимы и серафимы без труда повергали отшельницу в сладкий гипнотический сон. Усыпив волю, приводили в полное ангельское подчинение. Они приказывали: лезь в чашу. Мавра без раздумья пробиралась сквозь заросли шиповника и боярки, раздирая в кровь лицо и руки. Херувимы и серафимы говорили: брось в печку шерстяную кофту. Отшельница беспрекословно, с радостью исполняла и эту странную прихоть. Беси творили каверзы, делали страшные напуги, лишали рассудка. Серафимы и херувимы возникали светлым видением, сводили на нет бесьи злоключения, подстраивали свои. Мавра охотно сносила их всяческие причуды. Внушение было необоримым, сильным. Во искупление шибких и нешибких грехов отшельница по наущенью ниспосланных любимчиков могла войти в огонь и прыгнуть с обрыва в воду.

Глухой сожитель, от которого староверка родила Витеньку, буйствовал во хмелю. Зачитается Мавра Святым Писанием, не сварит вовремя обед – грузная церковная книга обрушивается на голову. Бил с затаенным злорадством, опускал книгу с размаху, точно колун на толстую чурку. После побоев, зажав рот, бежала за угол. От тошнотворного состояния выворачивало наизнанку брюхо, полоскало зеленой желчью.

Помнишь мое выступление на колхозной сходке? Не понравилось оно кое-кому из района.

– Ты тогда перегнул дугу.

– Чего перегнул?! Резанул правду. Ранешняя деревня знала барина и управляющего. Вот и вся бухгалтерия.

– Ты чё царское время трясешь? Тогда мужика особые думы терзали. Не от хорошей жизни поговорка родилась: один с сошкой, семеро с ложкой.

– Сейчас за ложку не семеро хватаются. Не сочтешь.

– Вот и ты от сохи отпал. А место у ложки не уступил.

– Я не отпал. Пнекорчевателем лесные завалы расчищаю. Ты тоже вождя пролетариата изучал на политзанятиях. Знаешь его железные слова: главной движущей силой всего человечества есть трудящийся человек. Мы – трудящиеся. Мы – мощь. Над нами всякие бумажные мощи висят. Скоро без инструкции, указаний рта не раскроешь.

– Не убегай от главного вопроса. О деревне говорим. За что воевали мужики, революцию делали? За волю. За землю. Получили и то, и другое. Это два кита. Третий кит самый упористый – труд. Вот тут и собака зарыта. Самый шаткий кит оказался. Разленился народец. Ему бы галушки в рот сами скоком валились. От труда, как из тюрьмы, побег совершают. Всякое тунеядное сволочье расплодилось по стране. Свои дворы, дома обороняют от жулья. Колхозный, совхозный двор, заводские склады хоть сегодня по крохам растащи... Эх, Василий, Василий. Как мне на фронте светло мечталось. Думал: забастричим фрица в Берлине, вернусь в деревню с песней победной. Ух и заживем тогда. Дом новый пятистенный срубим, чтобы всем найденовским миром в нем жить: с сыновьями, снохами, внучатами-пострелятами. Срубили. Гришка первый женился и... отделился. За ним ты в райцентр сбежал. Разве мы чем обидели вас? И хлеб и слово ласковое – все по ровну от родителей получали. Ученые атом в раскол пускали,

до ядра добирались, а по деревням семейное ядро давно в раскол шло. Дележ скота, инвентаря, полушубков... Позорище. Ну, ладно – отделились. Сделали от родителей малого кругляя. Но ведь и на большой потянуло: деревню бросили, колхоз на погибель оставили. Давай, Васька, я тебя выкуплю из смех-колонны. Вертайся. Машину подарю – «Волгу».

– Дари. В райцентре пригодится. Здесь куда на ней махнешь? Выруба. Болота. Луга. Скоро с мамой совсем остареете. Все равно вас к себе заберу.

– Забе-е-ру-у-у... не лукошки мы.

– Не придирайся к слову. Там больница. Врачебный пригляд будет.

– Ничё, тут за нами кладбище присмотрит. Днем и ночью кресты на дозоре стоят. Не проспят, позовут в нужный час.

– Ба-тя! Не вешать носа! Гвардеец, сапер бывший.

– Вешай не вешай – переправу через жизнь все равно придется когда-нибудь наводить. На домовину тоже, чай, доски идут. Топор, пила, гвозди – все пригодится.

– Отец, чё вы крестьянским сходом председателя не сковырнете? Гребет себе. Подкормыши из района приезжают. Председатель в каждом смутьяна видит. Не успеешь рот раскрыть, затычки готовы: молчать! Свободы лишу! Размагнитил колхоз – дальше некуда.

– Ге-рой! Перебежал в дальний окоп, кричишь оттуда: сковырните председателя! Он тебе не табачина на губах. Человек. Партеец. И ленивого жеребца не лишай овсеца. Плохо, но тащит воз колхозный. Поставь другого – совсем остановится. Скоро, Василий, и везти нечего будет. К закату хозяйство идет. Всякую мелочевку сливают в один сосуд. Мы с Гориславой из Авдотьевки уезжать не собираемся. Небо от нас никуда не уйдет. Васюган тоже. Огород, тайга, озера рядышком. Сколько сможем, скотину будем держать, вас подкармливать. Пока мы живы – мясоедничайте. Потом не

Мавра-отшельница потирала укушенное короедом место на шее. Горислава редкозубым костяным гребешком расчесывала ее жидкие с сильной проседью волосы.

– Почему ты, Мавруша, сама жука с шеи не сняла, ко мне прибежала?

– Я его, большого, сзади ловила... не ловился.

– Кого большого?

– Да беса. Рукой хватать-хватать... пальцы по воздуху... думала, хоть за шерсть ухвачусь, сдерну поганца, шмякну об пол. Не давался. Оборотень проклятый. Беси – шельмы ловкие. Жуком, таракашкой прикинутся... Витеньки нет. Он бы им навел жару. Скоро отлистает последний тюремный календарь. Как думаешь, Славушка, вернется грешник домой?

– Должен мать попровеждать. Сердце ведь есть.

– Знамо. Шиш-лыки захочет. Сынка любит шиш-лыковать. Карты от него подальше спрячу. А то опять в услужение тузам попадет. Пропашее дело. Вернется, избенку подладит. Будем с ним сено овечкам ставить. Они у меня жратки. Хрумстят и хрумстят. Что нам никто на Васюгане второе лето не пошлет? Дали одно и то бедное. Жара стоит обманная. Скоро заохлодит, заненастит. Славушка, меня сестренница в Пермю зовет жить. Ехать?

– Не рискуй, – вмешался Тереша. – Тут грибы сами к огороду подбегают. Схватишь удочку – чебаков, окуней из реки натягаешь. Малина, черника, клюква, колба... Лампадка в углу горит, книги старозаветные рядом.

– Да-а, кни-и-иги, – благоговейно произнесла отшельница и засобиравалась до своей избы. – Кни-и-иги, кни-и-иги, – словно заклятие, вытверживала Мавра, сразу забыв про сестренницу, про Пермю, про переезд в далекий город.

Горислава проводила ее до сенной двери, вернулась.

– Куда ей, бедненькой, ехать? Место на кладбище для себя присмотрела. Колокольчиками, ромашками да анютиными глазками обсадила. Пришла однажды, ее застала. Гладит землю, цветочки. Нашептывает им что-то. Меня увидала, вздрогнула от неожиданности. Мавруша так за своей избой не следит, как за могилками. Дома тенеты, печка сажная, пол грязный. Там все прибрано. Старые кресты подправила, оградки покрасила. Ей речники краску привозят голубую, зеленую. Красит и красит оградки кладбищенские. Веселое у нас кладбище. Любо на нем стоять, мысли даже мраком не окутываются. Придешь в Пасху, в родительский день или в иной погожий, глядишь на смирные кресты и себя там видишь... руки сами по себе на грудь покойно ложатся. Уйдем туда, оставят наедине с землей, но руки вместе лежать будут. Работали вместе, покойтесь вместе.

У Мавруши от староверства мало что осталось. Забудется иногда, тремя перстами в лоб ткнет. И мы – язычники размытые. На уста Христа зовем. Главное: солнушку – божеству нашему молимся. Нынче мало кто на крепкой, стойкой вере стоит. Поповщина, беспоповщина – все одно бестолковщина кругом. Каждый волк имеет свой толк. Не знаю, земля под богом ходила или нет, но под солнушком вечно ходит. Иисусу непотребных слов каждый навешать может, но кто, когда светило матерным словом обругал? То-то... Мы живем в тайге, с чертом не равной ноге. Ничем нас запужать нельзя. Все налоги пережили, все займы, поставки. Тереша на войне был, мужички-тыловики ко мне подсыпались. В свою религию клонили. Известная религия – лежачая. Вот при Терешеньке говорю: вины моей бабской даже на огарочек нет. Подушку ночами кусала, работами тело трудила. Подолом ни разу не схлопала. Сукиной дочкой никто не называл и не называет. Был у нас в войну учетчиком Небюдкин. Рожу ему господь по ситу выкроил. Красная, круглая. Сам рыхлобрюхий,

мяти, но испытывает словесную пылкость, будто перебранка с колхозным учетчиком произошла совсем недавно.

Назойливые настенные часы бдят за жарким июльским днем. Маленький черный ус на циферблате начинает свешиваться, подползает к цифре 5. Кукушка давненько подбросила своего птенца в гнездо ходиков. Он там окреп. Скоро высунет из теплого лаза головку и пропоет извечную птичью аллилуйю.

И снова громовым раскатом врывается в избу неожиданный вертолетный гул. Неулетная птица севера теперь проносилась низко над деревенскими живыми и мертвыми крышами. Горислава и Тереша невольно осадили головы на плечи, исподлобья посмотрели на потолок. Казалось – и потолок, и матерая листовичная матица, и вбитая в нее самоковочная загогулина для зыбки сейчас задрожали, качнулись над полом на рокочущей звуковой волне.

– Вот жеребец! – выдохнула Горислава.

– Добрый скакун! – подтвердил Тереша и заголил листочек календаря, прихватив его сверху черной резинкой. – День почти прожили со старым числом. Непорядок.

Листки настенного численника Найденовы отрывали редко: всю начинку дней перегоняли снизу вверх. Кончался год, они снимали пузатую книжку, перелистывали вновь. Смотрели дни рождения великих людей. Читали разные советы. Сличали долготу дня. Долги, бесконечны были зимние ночи. Нарымские деньки скоротечно просвистывали с метелями, с ветрами, улетали непойманными. Тягучая темнота накрывала авдотьевский мирок. Морозы умерщвляли белую округу на много верст. С исчезновением последней полыньи на Васюгане кончалась зримая жизнь вихлястой реки.

Вертолетный гул накатился, камнепадно отгрохотал. Долго вибрировал в ушах назойливый, давящий шум.

– Давно к Авдотьевке нашей приглядывается сверху, –

– На дне... гуша...

Нюша ожгла рохлю острым взглядом. Подошла ко мне, схватила за руку, пытаюсь закружить по горнице.

– Не горюй, подружка Феня, нынче новые права. Если парни не подходят – ты тяни за рукава... Перестану я любить своего касатика. Завтра смоюсь на Луну, завлеку лунатика... Славушка, почему солдата ветеранного оставила?

– Сеть вяжет.

– Зимы мало?

– Тереше без иглицы, что курящему без курева. Говорит: нервы успокаиваются. Собирайся, на могилки пойдем, Забыла?

– Ой, и верно. Гуша, убери со стола да мух поколоти.

Из деревни к запольному кладбищу текла узкая тропинка. За долгие годы много смертей проструилось по ней. Обрывались для кого-то петушины поклики, застолья, полевая и луговая страда, рев скотины в хлевах. Из шумной деревенской круговерти тропинка вела к могилам, к немоте крестов, оградок, шатких столиков, увядших венков. Из надземного сосуда с названием жизнь все переливалось в земной сосуд с названием смерть. Горьким осадком выпадало на дно вечного сосуда оборвавшееся время.

Мавра-отшельница не давала затравенеть кладбищенской тропе. Часто навещала переселенцев, подновляла деревянные и металлические оградки. Подметала листву и хвою. Рыхлила лопатой, грабелями землю на могильных холмиках. Пересаживала на них лесные и полевые цветы.

Много видел разных погостов городских и сельских. С дорогами надгробиями, гранитными и мраморными памятниками, с витиеватыми оградками, сделанными из прочной арматурной стали. Ни одно кладбище не могло сравниться с авдотьевским. Оно представляло собой большую клумбу, любовно ухоженную, оберегаемую добрым, заботливым чело-

веком. Погибающая деревня и воскресший голубо-зеленый городок за пустующим, заросшим будылем и березняком полем, были разительным контрастом. Понятно стало желание Гориславы почаще навещать переселенцев.

Знавал одну московскую семейку, которая усердно, многие годы столбила местечко на Ваганьковском кладбище, да еще по соседству с известной личностью. Не только, оказывается, важно при жизни, кто твой сосед по лестничной клетке. Вот ведь какое дело. Надо и по гробу настоящего соседа подобрать. А то пролежишь всю смерть рядом с каким-нибудь прохиндеем. Хорошего мало.

Холмистый участок земли на ветродуйном берегу Ваюгана жители деревни приглядели давно. Умели ранешние поселенцы выбирать места для деревень, церквей, ветряных мельниц и кладбищ. Надеялись на верные, неподводящие глаза. Смотрел на кладбищенский городок, ловил себя на мысли; хорошо бы после отведенных судьбой лет лечь вот в этот песчаный яр, под зеленые купола берез, сосен и лиственниц. Их будут постоянно обновлять, подкрашивать весны. Природа позаботится об этом со всем врожденным усердием, со всей безотказной исполнительностью.

– Вот тут наш любимый председатель лежит – Колотовкин. – Горислава низко поклонилась могилке в обильных цветах. – Царство тебе небесное, Павел Евграфович. Радел ты о колхозниках, как о детках своих.

– Верный был мужик, – подтвердила Нюша, ухватившись за крашенные прутья оградки.

– ...Пахать, хлебушко жать, сено косить – наравне со всеми. Все меня Песней звал. Сам певать любил. По Терешеньке сердце ныло, так я через песню-отдушину тоску выпускала.

– Замуж выскочила – распелась, – напомнила Нюша и улыбисто, хитро погрозила старушке пальцем. – А то, дурочка, топиться удумала. Теребили бы тебя до сих пор речные

ерши да окуни. Вот тут лежать будешь. По-людски, по чести, Верно?

– Тут хорошо, – подтвердила Горислава. – На смерть запрета нет... ляжем... стоямя не закопают.

– Если просеку через нас проведут? У нынешних тайгопутов правила строгие: отшнуруют на карте дорогу и прямым прутом прутся. Воткнут на кладбище опору высоковольтную: нас лихоманка в земле от тока заколотит. Не живые, а ногами дрыгать станем.

– Свят-свят. Чё болтаешь?

– То и говорю: гри-лянда с опоры сорвется да гробы сотрясет. Подбросит нас в домовине – лицом от вселенной отвернемся. Могут бур через нас пропустить. Вышке прикажут: стой здесь, она и расставит копыта на наших могилах. Так лягнет – черепа расколятся. Запросто.

– Ну тебя... выдумщица.

– Мавра у нас – политик. Красит оградки, цветочки рассаживает, чтобы на красоту могильную не покусилась. Ишь, чертолет, разлетался над деревней. Неспроста.

– Дай, Нюша, доскажу о председателе.

– Валяй. Крепкий был мужик. Пальцами ущипнет, но чтобы трудоднем, словом обидеть – ни-ни... С солдатками грешил, но народ не в обиде. Смотрим: то у одной бабоньки живот охапкой, то у другой... как на одну колодку строгал: волосы дегтярные, носы крепкие, тугие, глазенки капсюлями сверкают. Породистые суразята... грех плохое молвить про Колотовкина. Крепкий мужик был. Валяй, подружка, расскажи про него.

– Ты Павла Евграфовича не осуждай. Грешил... суразята... Если война восемь мужиков от деревни нашей отчекршила, восемь горьких вдов оставила – его винить, чё ли?

– Я и говорю: мужик что надо... Спи, спи, Евграфыч, не слушай... Охота, поди, усы покрутить, бабенок за титьки по-жамкать?... Спи, спи, не слушай.

– ...У вдовицы Бурундиной сынок в сорок третьем родился. Горе наполовину забылось. Чернявенький, кучерявенький. Все знают, в кого, да губы на защелочку. Тетёшкает мать голопузого Ванечку – в честь мужа убитого назвала – грудь тугую в губешки сует. Бабе радость – детной стала. Не успели с Иваном до войны своим ребеночком обзавестись. У горя крутой берег, обрывистый. У радости пологий, чистый. В войну через эту жизнь-реченьку почтальоны под круть многих возили. Похоронку веслом не оттолкнешь, не утопишь в омуте. В начальный год войны по зимнему первопутью сразу два засургученных конверта пришли. Лютые бумаги.

Горислава помолчала, пристально посмотрела на могилу-цветник.

– Я о другом Колотовкине сказать хочу. Вернулся осенью сорок первого изрытый осколками. Старики с ним парились в бане, все дивились, каким манером Павел Евграфович выжил. Рана на ране. В фуфайке-стеженке столько рубцов не насчитаешь. В работах колхозных – первый прилежник. На песни меня подбивал. Говорил: «Горислава, заводи «Катюшу». Хорошая, дружная песня, она звено колхозниц заменит».

– И я подпевала, – напомнила Нюша.

– Знамо. Так голоса соведем, так соведем... не рвались.

– ...Про платочек синий.

– И про платочек пели. Про очи черные. Про Ермака. Песня ведь радость к душе прикраивает, горе растворяет.

Сплавная река делает здесь крутой поворот. С ярка просматриваются оба плеса: Васюган раскинул два крыла. Река летит, воспаряется в небо, и не будет ей остановок на долгом трудном пути.

Нюша и Горислава водят меня от креста к кресту, рассказывают о тихих жителях. О председателе Колотовкине: мог хлеб государству сдать и колхозникам кое-что перепало. О доярке Бурундиной: подняла на ноги мальчика, и он весь – в

отца. Плохого о переселенцах не говорили. Добродетельные, честные, работающие лежали тут. Радостью, как хлебной краюшкой, делились. Горе сами сухариком грызли. Звенело над кладбищем улетевшее время. Странными казались произносимые здесь слова: бричка, коновязь, поцелуй, деготь, борона. Все в прошлом. Ни к чему не приладишь оглобли. Только живучая память смутно прорисовывает облик навсегда ушедших авдотьевских пахарей, смолокуров, доярок, шорников, кузнецов – колхозных прилежников в труде и в песнях.

Нюша присела на землю, взгорбленную корнями сосны. Обычно на кладбище находит на человека глубокая задумчивость, погружение в себя и в минувшее время. На лице Нюши не было ни печалинки. Сидела, чертила прутиком возле ног крест.

– Вот ведь штука: не связанные, а лежать будем, – словно великое открытие сообщила она. – Звон синиц не услышим. Бражки не попьем. Страшно аж.

– Страшно, а чё лыбишься? – упрекнула Горислава.

– Чё-чё... Смешинка подкараулила. Помнишь, к Мавре тунеццац прибилс? Обошел по дворам, сосчитал всех дряхлых стариков и старух. Говорит: заплатите хорошо, я вам загодя четырнадцать могил выкопаю. Умрет кто зимой – попробуй-те, подолбите бетонную землю... Евлампий тогда еще живой был... Спи-спи, Евлампий, не слушай... Корзинки, поди, поплести охота? – Спрашивает тогда твой братец Евлампий туника: «Чего еще умеешь делать?» – «Землю копать». – «А еще что?» – «Могу и не копать». Вот и смешно. Две профессии у туника: может копать, может и не копать. Накаркал тогда беду: в первую же зиму две смерти. Бензопилами землю под могилы вырезали, кубиками. Накладно. Цепи тупятся. Сейчас у нас имеется одна запасная могилка. Вон она, цветочками обсажена. Кто ее займет, по теплу другую приготовим. Мой молчун Савва тоже умеет землю копать. На окопах вой-

Нюша до позднего вечера долго искала за поскотиной своего бычка. Яшка-беглец зачастую пропадал черт знает где. И молодым он бугайничал, гонял встречных прохожих. Его били кольями, швыряли в него поленьями, комками застывшей грязи. Отыскала гуляку, пригнала, заперла в стайку. Спать не хотелось. Савва дрыхал под своим пологом с прихрапом, выкрикивая со сна: штыки примкнуть! окружай! хенде-хох! Жена наслушается за ночь команд – сама себя на поле боя видит. Ни разу не упрекнула Савву. В сонном мозгу его часто вскипали давние страшные видения.

Нюша вышла на бережок, присела на вкопанную беседку. Деревенский гармонист Егорка Старков у взвоза рьяно терзал трехрядку. С появлением бородачей-гитаристов Егорка стал ревниво относиться к ним. Приезжие парни увели всю его девичью паству. Ореховая и подсолнечная скорлупа теперь сыпалась не возле гармониста. Не возле него слышался визгливый смех, частушки, любимая песня «Вот кто-то с горочки спустился». Егорка ежевечерне подхватывал издававшую виды гармонь и выходил на свою важную вахту. Он твердо решил не прибиваться к чужой стае и звонкой гармонью посрамить гитары. Магнитофонные завывания испугивали сонных стрижей на яру. Раздосадованный Егорушка чинно садился на чурку возле поленицы дров и поливал с берега разудалыми звуками. Казалось, выносливая трехрядка вот-вот научится произносить слова: «Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю...» Гармонь говорила и говорила. Задорно, смело, разливисто. Заглушала цыганскую удаль гитары.

До Нюши ясно доносилась вся музыка. Вдруг в вызвон инструментов из-под ярка резко вплелись девичьи умоляющие слова:

– Оой, даа отпустиите!

Барахтанье, сопение.

– Оой, даа что вы со мной деелаете!

мехами, застегнул гармонь на обе пуговицы. Встал и отправился домой.

– Егорк... а, Егорк...

Не обернулся. Нарочно стал загребать полуботинками уличную пыль: пускал дымовую завесу.

– Погоди... сказать надо...

Парень разухабисто свистнул. Кивнул луне и запел:

– Й-е-хал я из Берлина, й-е-хал мимо Орла, та-ам, где ррусская сла-ва все тро-опинки прр-ошла...

Пропел куплет, бросил песню. Шел, бормотал вслух:

– Знал, что ваши выкрутасы скоро кончатся... Фу ты, ну ты, ножки гнуты... дезертирки, перебежчицы... гитары захотели... невидаль бородатую глядеть... сейчас пуп надорву от смеха...

– Егорк, а Егорк, – доносилось как со дна глубокого колодца.

– Заладила, курица, раскудахталась...

К концу августа экспедиционный десант внезапно исчез. Приехали вечером из заречья колхозники после сеного страдания, не увидели возле старых осокорей многоместных палаток. Кругом валялись пустые бутылки, консервные банки, сигаретные пачки, кучи всякого хлама. Собаки обнюхивали тряпки, каждый клочок бумаги. Подбирали колбасные шкурки, хлебные куски. Нюшина дворняга отыскала обертку из-под масла и за два жевка сожрала тонкую, хрустящую бумагу.

Над потухшим костром на березовой поперечине, где висел ведерный котел, болталась грязная, пропитанная потом и комариной мазью энцефалитка.

Куда исчез табор бородатых маршрутников, никто не знал.

Гармонист Егорушка с той поры не выходил на васюганский берег с верной мехастой музыкой. В глубине души

случай дождя. Горислава и Мавра предсказывали скорую непогодицу.

Интересно, спит ли сейчас гадюка под крыльцом или мышкует вместо ленивого чернущего кота?

То, что видели за день глаза, сейчас прихлынуло к ним вновь. Вставали кресты, речная излука, бревенчатое старье изб, бузинник с шапками рубиновых ягод. Плясали перед глазами прясла, тропки, ящерка, горюшка ржавого хламья, доска-лозунг и Савва – таинственный и диковатый. Нюша говорила: на старика иногда находит. Оконтуженный на войне, он месяцами мог иметь здравый ум, но наступали, по словам Нюши, прогибы памяти. Тогда нес словесную несурязицу, совершал странные поступки. Раскачивал несуществующий колокол, дергая за бельевую веревку. Закапывал в палисаднике бочоночки лото и ждал, что скоро здесь вымахают огромные дубы. Перекапывая землю, жена находила желуди, промывала в воде. Савва забывал о своих посадках. Сидя на крылечке, старательно натачивал топоры, долота, стамески, ножи для рубанков. Все, предназначенное т у д а, хранил в объемистом берестяном кузове. Литовку в кладовой. Наточенная бруском до бритвенной остроты, смазанная толстым слоем солидола, висела она над ларем, устрашая хозяйку бездействием и долгим молчанием.

Нюша перестала разубеждать старика, что там место не для трудов праведных – там место для великого бесконечного покоя.

Во время прогибов памяти Савва не брился, отказывался от еды. Мог заблудиться на родной улице, войти не в ту калитку, сесть за чужой стол. Несколько раз подхватывал тяжелый кузов с инструментом, брел кладбищенской тропой. Жена ковыляла за ним. Было бесполезно удерживать старика в избе: мог сорваться на буйство. Поэтому Нюша беспрепятственно отпускала старика-молчуна бродяжить по деревне.

мученичества в науке. Лакированный кривой чубук скользил под пальцами, приятно их охлаждал. Бороденка у Мефистофеля клинышком. Сам он по-чертячи словно насмехался над незадачливым профессором.

– Не серди отца, – шепнула Нюша.

– Ладно. Все равно ничего не понимает.

Через год Эдик укатил на стройку зашибать деньгу. Но сильно зашибив сорвавшимся кирпичом шейные позвонки, бросил шабашество. Вернулся в город в свою лабораторию. С женой он уже не спал ни по разным комнатам, ни вместе. Квартира была ее, она вытурила загульного ученого мужа, оставив жилую площадь себе и семилетней дочке.

Вослед продолжал лететь более громкий, чем прежде, шепот: быть тебе, Эдик, вечным лаборантом! И глядел укоризненно вересковый ехидный Мефистофель.

– Нет, я не сойду раньше времени с беговой дорожки жизни! – громко внушал насмешникам лаборант, не взошедший на кафедру-трон. Вы еще узнаете меня!

В его лаборатории под конец рабочего дня разорвался громоздкий стеклянный сосуд. Летели, рассыпались вдребезги колбы, реторты, пробирки. Лаборантка-помощница зажала рассеченную осколком щеку. Эдик, одурев от бедствия, неудачного опыта, с диким лешачьим хохотом опустился на бетонный пол. Он ползал на карачках, щерил зубы и рычал на разливающейся по полу щелочной раствор.

С наукой было покончено разом. Эдуард уехал в глубинный леспромхоз, устроился техноруком. С той поры не появлялся под родительским кровом.

– Сын наш где? – спрашивал жену больной Савва. – Профессором стал?

– О-о-о! Он теперь большой академик.

– Навестил бы когда.

– Некогда ему. Занятой человек.

дителям электронные часы в подарок. По словам Гориславы, походили они в т и х у ю неделю и о б м е р л и. Ходики на стене не обмирают, посрамляя сложный электронный механизм. Кукушечка из дверцы оповестит любой час.

В избе чистота. Дородную русскую печь Горислава называет «моей госпожой»:

– Много годочков служу ей. И все молчком, молчком. За меня горшки, ухваты да сковородники говорят.

Печь часто подбеливается известью с солью, поэтому блестит и не осыпает известковую пудру.

Пол в избе густо выкрашен под яичный желток: щелочку между половиц не увидишь. Ходить по такому полу в носках – благодать, словно по ледяному катку скользишь.

В горнице самодельный шкаф под потолок, широкая деревянная кровать с точеными слоновьими ножками. Стол тоже массивный – не шатнешь.

В простенках, в рамках под стеклом увеличенные с фотографий портреты Терешки и Славушки. Кочующий фотограф прирабатывал и за ретушера. Лица супругов искажены. Усы у Терешки побольше буденновских. Левый зрачок крупнее. На гимнастерке орден от медали не отличишь. У Славушки щеки размалеваны под цвет спелых помидорин. Над одним глазом бровь дугой, над другим – оглоблей.

– Мы-то знаем, что это мы, а других сумление берет, – поясняет бабушка.

«Т у к – т у к» – усердствуют ходики. «К у – к у» – не проспала свой час миниатюрная кукушка.

Горислава продолжает разворачивать бесконечный свиток своих воспоминок.

– Дедушка мой, царство ему небесное, чучельник был отличный. Вырежет, обстрогает уточку, перышки краской напустит – прямо-таки живая птица-подманщица. Такая зазноба любого селезня подманит. Тетеревов дедушка мастерил. По

мов. Зато видела, как глыбины кедров и сосен продавливали своими макушками листовую купол небес. Видела обильные ягодники на болотах, вырубках: будто заря в ветреный день прилегла отдохнуть на мшистую перину, подложив под голову мягкие кочки.

Много раз приходилось мне ходить с бабушкой Гориславой в лес. Всегда желанными были для меня долгие походы по грибным, ягодным местам. Наблюдали за массовым переселением муравьев, за бурундуками на пенках и валежинах.

Мудрое житие природы Горислава знала наизусть. Май взламывал на реке лед: вовремя переворачивал тяжелую страницу вечной земной книги. Каждое, творимое весной, перерождение природы вселяло тихие светлые надежды. Отринутая временем лютая зима уступала путь весне. Весна напористо и страстно расчищала путь лету. Никто не мог нарушить твердого устава природы, посягнуть на ее кропотливый, извечный труд. В нужное время зеленели луга. В нужное время вспыхивали ягодники. Поднимались травы и грибы. Поспевали кедровые шишки. Плодились звери и птицы. В свой срок, в свой черед покрывался пушком живучий вербняк, наливался корневым соком краснопрутник, звенькали возбужденные синицы, трещали дрозды-рябинники. Все видела, все слышала Горислава особым обостренным зрением и слухом.

Лежу на сеновале, думаю о бабушке, понятливой дочери великой матери-природы. Август она величает по старинному: месяц-серпень. Давно прошло время серпа и цепа. Авдотьевские поля видели комбайновое мотовило. Но не потускнело звонкое словцо – серпень. Так и слышится в нем хруст подрезаемых хлебных стеблей.

Семь лет назад май выдался холодным, ветродуйным. Мы с Гориславой стояли на берегу, не отрывали глаз от реки, дальних низин, потопленных лихим половодьем. Бабушка всплеснула руками, хлопнула себя по бедрам:

шелудивым псам для захвата. Нечего устраивать новые свары. История еще не опомнилась от старых...

Дышу запахом свежего сена, запахом глубокой авдотьевской тишины. Она сочится сквозь меня, обволакивает все существо. Слышу пульсацию крови. Почему тишь разрушает сон? Зачем накатывается черными волнами, обрушивается немим вселенским прибоем? Ворочаюсь. Пусть похрустывает сено, напоминает, что не все звуки отмерли, утонули в застойной июльской ночи.

Земля вступает в недолгий сговор с ночью. Скоро свергнет ее и воцарит новый день. Ему время готовит пышную корону – солнце.

Закрыв глаза – забылся. Открыл – нет ночи. Новорожденное утро наливалось жидкой голубизной. Мерцающие звезды пребывали в долгом раздумье: скрыться или еще позабавить землю волшебным видением. У горизонта владения, отведенные востоку, охранялись пиками далеких витязей-елей. Робкий, пока заземный свет, тихонько струился и растекался по чистому небу. Нетерпеливая кукушка хрипловатым спросонья голосом проговорила два слога своего имени. Осеклась, поразмыслила и принялась рассыпать со старой березы откалиброванную кукушечью картечь.

Авдотьевские петухи стали позорно просыпать зарю. Птицы давно славили ясное утро – звенели, свиркали, щебетали. Запоздало раздалось хрипловатые петушиные вскрики. Они делали деревне привычную побудку, призывали к обыденному земному труду. Но не слышалось хлопанья калиток, позвякивания колодезных цепей, порывивания тракторов. Не вставала для трудов праведных умерщвленная деревня.

И в это утро петухи забыли о своем назначении дозорить приход света, откликнулись с большим опозданием.

В полог налезли комары. Слышался голодный гундеж. Вылез из-под одеяла, оделся, поднырнул под боковину по-

работу не выходит? Вру ему: праздник, говорю, четыре дня гульбы. И ты, звеньевой, не волнуйся... Он любит, когда я его звеньевым зову... плечи расправляет. Ну кто знал, что его фрицы поганые так попортят. Трудился в колхозе, и контузия редко наседала. В безработье пошло и пошло.

«Бомм-бомм-бомм...».

– ...Это ведь он не на пожар звонит – артель на работу созывает. Я его знаю. На войну да на труд клич дает... Гитлером порченый мужик... иная баба бросила бы, да как его, горемычного, оставишь? Жаль-жалкая берет и злость. Терплю.

«Бомм-бомм-бомм», – все отчетливее и громче несясь бес-
полезный клич на труд.

Мы подошли к мертвой колхозной конторе. Увидели в поределом тумане раскосмаченного Савву с гвоздодером в руках. Он стоял, широко расставив ноги, и рьяно колотил в подвешенный обрезок тавровой балки. К спине прилипла потная нательная рубаха. Кальсоны до колен были вымочены росой. Видно, до прихода сюда бродил по травным полям. Гвоздодер сильно охаживал стальное било. Оно гудело, раскачивалось, сотрясая кривой козырек над разломанным крыльцом конторы. Увидев нас, старик широко открыл в удивлении глаза и рот, обрадованно возвестил:

– Ааа, сходится народ, сходится!

Так вот зачем бродил вчера Савва по ремонтной мастерской. Ему нужна была звонкая сталь для утреннего зова к труду. Он отыскал доброе било. В нем оказалась даже вырезанная автогенем дырка. Подвешенный на капроновой веревке, налитанный звоном стальной обрезок балки разносил свое «бомм-бомм-бомм» далеко и вольно.

Из тумана выбрела Мавра-отшельница, сопровождаемая остромордой собачкой. Стала неподалеку, перекрестилась двуперстно сама, бросила на нас разгонистый староверческий крест.

ров. Поразъехались. Нас манили с Гориславой. Кто в рай-центр. Кто в рай-город. Всяк райскую жизнь ищет. Рыбка – глубь, человек – рупь. Я грешным делом люблю книги читать. Возьмешь толстую книженицу да и осушишь ее дня в три. Столько в книгах правильности, столько порядка. Невольно в голову вопрос лезет: кто жизнь на другую стрелку переводит, не по тому пути пускает? Вычитал я у Достоевского: рай в каждом из нас затаен. Неделью ходил ошеломленный таким открытием. Вот ведь что: не какие-то, значит, райские куши искать надо. Буди, кликай свой рай затаенный. Была у нас в артели алошекая бесприданница Глашенька. Добрая, улыбчивая, на песню скорая. На таких, обычно, горе гнездо не вьет. Человек бедный богу и людям не вредный. Часто Глашеньке песня заменяла похлебку. Коровку доит – поет. Овощи пропальвает – поет. Сейчас думаю: она свой рай знала. Затянет с Гориславой калинку-малинку – душа светлеет. У хорошей песни и крылья крепкие. Приезжали из города артисты, в большой хор Глашу взяли. Вот тебе и найденный рай.

Чавкают сапоги. Шуршит осока. Покрякивают утки. Коршун подстерег добычу, свалился на чью-то бедную головушку. Зайчонка придушил, крота-землеройку или выследил в кочкарнике выводок утят.

Мы оставляем за собой темно-зеленую полосу на склоненной осоке. Сбили росу веткой, дождевиками. Вымокли сами и дальше пробиваем брешь в чистой сверкающей луговине.

Вот и озеро. На берегу перевернутый гладкодонный обласок, легкое еловое весло. Тереша садится первым. Сталкиваю утлую долбленку, осторожно сажусь сам. Озеро-линза сверкает, слепит глаза. Почти бесшумно скользит по зеркальной глади легкий обласишко, направляясь к тычкам, где поставлены сети-пятипёрстки. Пенопластовые поплавки утонули от груза попавших карасей. Только один поплавок

веретья, потащит островки вместе с клочками сена, всяким приречным сором, вертящимся на водобойных местах.

На солнечных склонах-пригревах сквозь ломкую старую траву пробивалась зелеными шильцами новая травка. Там суетились скворцы, выискивали разбуженных теплом жучков и козявок. Скворечников в деревне оставалось мало. Некоторые захватили воробьи, поэтому беспрестанно слышалась птичья перепалка.

Тереша в ту весну болел. Горислава была для него всем – лекарихой, сиделкой, сестрой милосердия. Бравый солдат войны не стонал, хотя в сердце как будто вонзались самолетные крючки. За окном крутила непогода, под одеялом застарелая простуда крутила ноги. Горислава втирала в них густой деготь, смешанный с тройным одеколоном. Ласково журила старичка:

– Говорила: не торопись с рыбалкой. Поехал фитили ставить. Трех щук поймал и... простуду. Лежи теперь, болезный, листай старые календари. Книги читает взаглот, – продолжала жена, повернувшись ко мне, потом снова к больному: – Петра-то Первого за сколько дней усидел?

– За четыре.

– Во-от. И ночами штурмует. Реку керосина сжег.

– Под нами в земле много его. Чего жалеть?

– Не жалею. Себя побереги. Петр-то Первый на турок поход готовит, а тебя заедает – почему ты не там. Когда у нас школу сворачивали, книг много списали. Тереша пошел с кулем и приволок. Картинки в букваре разглядывает. Задачки решает в задачниках. Недобрал классы в свои годы – наврстывает. Дитё – одним словом.

Дитё натянул до подбородка толстое ватное одеяло и посверкивал влажными воспаленными глазами.

Горислава затопила печь: она наполнилась приятным веселым гудением. Зима-прожора пастью этой ненасытной печ-

изъеден золой и песком при чистке самовара, долго служившего каким-то хозяевам. Наверно, тульские мастера сработали это ведерное чудо. Ручки массивные, узорчатые. Самовар смотрелся пузатым купчиком. Даже покоробленный чирок, сидевший на трубе набекрень и до сих пор таящий в себе запахи дегтя, не портил бравого самоварного вида.

Предплужник и всю отвальную часть плуга цепко схватила ржавчина, облепила рыжими коростями. В углу валялась рваная уздечка. Кожа потрескалась, медные бляшки потускнели.

Взял стогометные вилы-трехрожки, провел пальцами по гладкому, отполированному ладонями черенку. Вилы легкие, крепкие, сделаны из цельной березовой заготовки. Они могли еще долго служить в луговую страду. Отслужили. Каким-то чудом их не взяла на растопку Мавра-отшельника.

В щель пола воткнуто веретено. Вытащил, покрутил на ладони за верхний острый конец. Не это ли веретенце шлифовал перед смертью умирающий Федул Стахеев? Не из этого ли лукошка, что рядом с кроснами, брал он пшеничные зерна, пускал вразвей по избе: засеивал последнее поле жизни. В лукошке лежало несколько хлебных зерен. Потер их ладонями, бросил в рот. Нелегко было перетереть зубами сухие зернинки.

Залез на крышу, своротил ломом стропильные стойки. На некоторых перочинными ножичками вырезаны имена ребят. Стремилась увековечить себя. Какой-то Коля, влюбленный в Зину, поставил между именами знак сложения. И вытекала из такого слияния естественная любовь. Мне казалось, я пилю бензопилой не сосновые стропила – раскряжевываю время. Не опилки – секунды и минуты чьих-то жизней летят из-под гудящей цепи. Рез как раз прошелся между Колей и Зиной. Каждому досталось по чурке. Слово любовь отошло в полное владение неизвестной девочки.

Закружился над маем влажный снег. Крупные хлопья плотной налепью покрыли землю, пригоны, горушку напеленных чурок, тротуарные звенья. Обрадованная зима предпринимала попытку задержаться хоть на денек-другой в своих недавних владениях.

На легкой двухколесной тележке перевез дрова на подворье бабушки Гориславы. Взял колун, расколол сухие трещиноватые чурки. На крылечке появился Тереша, крикнул на летящий снег.

– Вот тебе и май – за хвост поймай.

– Зачем встал? – напустилась на больного Горислава, набрасывая ему на плечи старенький полушубок. – Лежи да книжки гложи.

– От строчек в глазах рябит. Дай на снег поглядеть – давно не видел.

– На поправку пошел болезный: шутить начал. Ну, подыши свежим воздухом, погляди на снежок. Ишь, какие пташки порхают.

Снег таял, увлажнял без того сырую, набрякшую землю. В неглубоких промоинах бежали с прискоком мутные ручьи: весело лопотали между собой напористые струи. Вода была щедрой данью весны. Река собирала ее под шумок по всей длине неустоимого бега.

Меня всегда неудержимо влекло к рекам. С их первым пробуждением начиналось бурное водополие и в моей душе. Таяла толща сомнений, весь долгий накопленный за зиму снег и лед городской суетности, пустых, ненужных встреч, убивающих влет дорогое время. Хотелось хоть ненадолго побыть вот таким беспечным ручьем. Я – разбуженный весной отпрыск природы – собирался туда же, куда тянулись легкие караваны обрадованных птиц. Какая необоримая сила двигала ими и мной? Подхваченные не магнитными бурями – ветрами малой родины, летим мы к холодной земле сквозь ме-

тельные заверти, взламываем грудью обрушительные ветры. Зима не убежит отсюда впопыхах. Будет долго ломать весну, отстаивать голую твердую землю, леденить соки в унылых древесных стволах.

У весны и у рек громкий, властный клик.

Стою на берегу, вижу жалкие потуги обессиленной зимы, затеявшей устроить землю и воду обильным снегом. Река ссекает под корень весь взращенный морозом белый сад. Что для нее эти хилые саженцы? Сверху нажимает на снег солнце, снизу расправляется вода – в славную ловушку угодило разъяренное отзимье.

К полудню ветер разметал последние снегоносные тучи. Солнце разом обновило округу. Река предстала во всем блеске могучего разлива. Потопленное луговое заречье зеркальностью вод раздвигало границы вольного набега на бескрайнюю пойму. Вода пустила на жительство солнце и небо, а ей все равно не было тесно на открытых просторах спрятанных авдотьевских лугов.

От мокрых крыш, прясел, тротуаров курился парок. Гомонливее, веселее вели себя ручьи, упорно пробиваясь к большой выносливой воде.

Подошла Мавра-отшельница. Тяжелым неподвижным взглядом уставилась на стремительную воду. За год она ни сколько не изменилась: староверка держала время на одной метке, не позволяя ему идти на прибыль. Забыв поздороваться, спросила меня скрипучим голосом:

– Сынку мово – Витеньку – в городе не встречал?

– Не приходилось.

– Может, их когда выпускают из камер на волю? На побывку бы приехал, дровец напил.

Мавра издала тоскливый вздох, зашлась сухим, болезненным кашлем. Медленно побрела вдоль береговой кромки, подбирая на ходу палки и щепки.

После сердечных приступов на лице Тереша рельефнее обозначились морщины. Щеки и лоб походили на миниатюрные узловые станции с бесчисленными путями следования, стрелками и тупиками. На запутанных перегонах гремела жизнь и резцом времени чертила свои пути.

Трехгранным напильником Тереша точил старые штыковые лопаты: приближалась огородная пора. Четыре года назад Авдотьевка лишилась последней коняги, огорода приходилось копать вручную. Нынче собирался приехать младшак Василий и вспахать живые огороды в деревушке. Отец не верил ему. Дважды Васька подводил с сеноуборкой. Обещал привезти на барже новую роторную косилку и трактор-колесник. По его застольному хмельному трёпу выходило, что луг он расчихвостит в три дня, завалит родителей сеном. Луговая страда наступила – сын не ехал. Не помог ни сенокосилкой, ни простой литовкой-размахайкой. И с огородом Тереша надеялся на свои силы, не на Васькину технику-невидимку.

Однако в середине мая напротив найденовской избы пришвартовалась самоходка. Мы вышли встречать ее всем малым авдотьевским миром. Василий, хмельной от весны или еще от чего, стоял на палубе возле тягача-вездехода, напустив на лицо от уха до уха сияющую улыбку.

– Батя, принимай чалку! – крикнул младшак, швырнув к нашим ногам кольчатую капроновую веревку. – Не чаял встречи? Думал, опять совру? Напрасно так думал, Васька сказал – Васька сделал. Железно!

Наклонившись, он заматывал восьмеркой веревку на кнехт. Его ранняя лысина, повернутая к нам, блестела, как дорога в гололед.

Васька соскочил на берег, схватил разом в объятья отца и мать, пытаясь оторвать от земли. Шепнул Гориславе: речников надо накормить... ну-у, и сама знаешь.

Из-под тяжелых траков тягача полетели большие черные ошметки.

Вихрастый развернул машину и, заметив возбужденного хозяина, остановил танк. Отец подошел к Василию, оттолкнул от плуга.

– Недоделок! Разве так пашут?!

– Ба-тя, выбирай слова... при посторонних. – Пахарь посмотрел на меня.

– Сам ты посторонний.

– Ах так! Ну паши сам.

Отец поставил плуг чуть наклонно, по привычке причмокнул языком, но коняга не тронулась с места.

– Тяни! – крикнул Тереша водителю и навалился на плужные ручки.

Лемех отбрасывал вправо черную некрутую волну. При виде спорой красивой пахоты у сына улетучилась обида на отца. Вскоре с лемеха счистилась ржавчина. Он взблескивал от ясного полуденного солнца. Природный пахарь Терентий Найденов глубоко вдыхал родной, с детства знакомый запах отвальной земли. Она была без дерновины и стерни, поэтому рассыпалась комками, жирно налипала на легкие чирки. Никогда этому заматерелому крестьянину не приходилось пахать без вожжей. Пальцы инстинктивно нащупывали их на левой ручке плуга. Силой не одной и не двух лошадей передвигался по огороду старый музейный плуг. Он не тащился – летел за стальной машиной. Отродясь в колхозе не было такого табуна, который бы вместе заменил тягловую мощь, упрятанную в ревуший вездеход.

Тереша быстро перепахал огород. Остались узкие полоски вдоль городьбы. Туда невозможно было подступиться на грозной технике из-за боязни сломать старые хрупкие жерди, сшибить шаткие колья.

Рыжекудрый парняга высунулся по грудь из кабины.

легко расцепляли перекошенные углы. Высушенный в пороховозовый мох кружился серыми хлопьями, оседал на звонкие бревна и густой бурьянник, пленивший дворы, палисадники и огороды. Не всегда с одного наскока вездеход валил стену. Угрожающе отползал, бычил лбище и налетал с новой разгонной силой.

Особенное наслаждение доставляли водителю набеги на прясла и палисадники. Коля, жердины и штакетины ломались с легкостью быльника. Иногда палки высоко выстреливали из-под гусениц, хрустко падали в лебеду и крапиву.

Танкист в отставке взмок, терзая упругие рычаги. Доспевала бражонка во фляге, набирала с к у с. Росли горы всякой древесной ломанины. Улыбка Васьки не уменьшалась. От вездехода несло жаром и горелым машинным маслом.

Тихий Савва и Нюша давно бродили за поскотиной. Танк продолжал громохатать и основательно рушить Авдотьевку. Жена заткнула Савве уши ватой, за руку, точно младенца, привела старичка домой, уложила в постель.

Я сидел на берегу, катал пальцами по днищу перевернутой лодки комочек черной смолы и смотрел на беснующийся тягач. Взираясь на завалинки, он вставал на дыбы. То его кренило по сторонам, то он сильно клевал носом и с трудом пятился назад, выбираясь из каких-то углублений. Танк подстерегали окопы – подполья, погреба, туалетные ямы. Танкист не принимал в расчет скрытые ловушки. Все так же нахраписто ревел мотор. Над водой катилась гулкая звуковая волна.

Речники на листе сухой штукатурки играли в карты. Незлобливо спорили меж собой, вбивая в речь ржавые гвозди матерных слов. До меня долетало: банкуй... перебор... подфартило...

Солнце плескущей золотой массой успело стечь за обрезную черту земли. Торной дорогой катилась к низовью взбудо-

раженная вода. Низинный берег реки, захлестнутый половодьем, угадывался по тальниковой гряде и редким островкам невысокого осинника. Великое нашествие майских вод подчинило себе неохватную взором ливу. Солнце закатилось, высоко взметнув широкий веер трепетных лучей. Отраженный небом свет преломлялся в далеких водах, словно кто-то долго и безнадежно поджигал в закатной стороне кромку матерой тихой ливы.

Ненужным и диким был среди вечернего блаженства земли гром упорной железной чужды. С козлиным упрямством тягач таранил бревна, электрические столбы, давил калитки и летние печи в пристройках-кухнях. Вокруг места погрома клубилась пыль, ветер волнами откатывал ее в сторону кладбища.

Внезапно гусеничная чужда резко осела передом. Напрасно гудящие траки стремительным скоком летели назад. Не хватало силы сцепления, чтобы вызволить пойманную в ловушку машину-грозу. Мотор заглох: все вокруг окунулось в привычную стихию природной тишины.

Тягач угодил в чей-то погреб, откуда тянуло плесенью и тяжелой картофельной гнилью. Василий перестал скалить зубы, стоял за вездеходом насуспенный и мочился под задранную гусеницу. К потному лбу водителя прилипли волосы, он их откатывал в сторону широкой жесткой ладонью. Шевелюра, будто схваченная ржавчиной, слегка померкла от пыли недавнего погрома. Отставной танкист стоял недоуменно возле распахнутой дверцы и крыл данную ситуацию твердым высотным матом.

– Наделали дров! – виновато пролепетал найденовский младшак.

– Ты виноват: давай! давай! Круши! Вали! Дави! Накаркал. Кукуй вот теперь в этом капкане.

Словно желая поиздеваться над глупейшим положением

шам не подает. Молод, драчлив, проворен. Лежит на коленях старухи и во сне тянет длинную мурлычную песенку.

«Т у к-т у к» – отстукивают ходики. «К у – к у – к у – к у» – отсчитала механическая птичка два полуденных часа.

Бабушка поскребла пальцем седой висок.

– Мой дед всегда со своей ценой на базар ездил. Упрется – ни копейки не сбавит. Любил говорить: мне цену занижать – товар унижать... Стоит на базаре, погаркивает: не лезь в деготь по локоть – палец есть. Мазни, понюхай, разотри. Деготек ямный. Смажешь ось – заботушку забрось. Дегтярницу с собой не бери – на весь путь смазки хватит. Если задумал кому ворота вымазать, чью-то честь поругать – мой деготь насквозь дверные доски пропитает. Скобли – не соскоблишь. Меняй ворота... Говорит, говорит – приманивает народ. Торг бойко идет.

Дедушка знал много гуторок-поговорок. Язычок звончит, ни минуты не молчит. Найденовская порода говорливая. В сиротстве мне постоянно есть хотелось. Говорю-говорю, голоду язык заговариваю. Брюхо бурчит, хлеба просит. В те годы хлебушко глазами есть приходилось чаще. Уставишься на хозяйский каравай, слюнки глотаешь.

Во германскую войну дедушка окалеченный вернулся. Думали: забросит балагурство, частушки да песни в себе похоронит. По-прежнему потешничал. На гулянках балалайку из рук не выпускал. Мне не раз говорил: Горислава, за моей жизнью должок водится: счастье должна дать. Когда не знаю, но даст.

Не мною придумано поверье, не мне его забывать: в хлебную страдовицу бузит в поле леший. Снопы расшвыривает. Устраивает порчу зерну. Мышей по гумнам распускает. Против такого пакостника надо выставлять сторожа в тулупе навыворот. Оружие сторожу дается – кочерга. Лешие ее пуще пушки боятся. Хаживал в оборону на леших и мой дедушка.

сбросила старые калоши, обула отливающие гляncем резиновые сапожки, набросила на голову платок поновее.

Семейка собралась за столом ладная – мужик к мужику. Молодые мужики, силой напитанные. «Такой ватагой, – думала бабушка Горислава, – и деревню возродить можно».

Поговорили немного о страдальце тягаче и разом забыли о нем. Мелькали эмалированные кружки, куски душистой баpанины, крупные – с ладонь – пироги. Мавра, помолясь, прошептала короткую невнятную молитву, присела сиротливо к углу стола. Робко взяла пирожок, разломилa по привычке надвое. Наполненная кружка дрожала в руке. Чего не велела древняя верa – велела жизнь, неожиданное шумное застолье в найденовской избе.

Лауреат всесоюзного розыска сидел рядом с Маврой – краснолицей, помолодевшей. Вангулов успел закапканить рукой ее холодную коленку. Он был развязно-разговорчив и не переставал перемалывать острыми резцами – среди них были и стальные – разваристое мясо и пышные пироги.

– Есть у меня братан, так он, поднимая тост за любовь, говорит: выпьемте, братцы, за баб-с! Все равно любовь плюс момент равно алимент.

Тереша, недовольный произнесенным тостом, поморщился, поставил кружку на клеенку. Сын наклонился к уху, шепнул:

– Не обращай, батя, внимание. Рувим – остряк-самоучка... ничё парень, с трактором под лед обламывался. Вынырнул и папироску из зубов не выпустил... ничё парень. От алиментов бегаеt, от работы нет.

– ...Уехала, значит, молодуха на юг, – продолжал кадыкастый Вангулов, – муж наказал ее товарке: загуляет там моя – шуруй немедленно шифрованную телеграмму: умерла жена. Двести рэ за правду отвалю. Проходит неделя, бац телеграмма нужного содержания. Муж хотел на юга двинуться, месть навести, да передумал. Дорога двести рублей займет

Вангулов раззявил большегубый рот и взлаивал оглушительным хохотом:

– Молодчага, старикан! Ловко рванул! Наверно, бутыль пороху не пожалел. Васька, чекань ему медаль «За отвагу».

Василий посмотрел под ноги, увидел струйку несгоревшего пороха.

– Савва, оказывается, действовал по всем правилам взрывного искусства. Дорожку из дымного пороха провел. Вот тебе и полоумный.

Нюша уводила взрывника домой, вытирая платком кровь с его щеки и подбородка. Изредка старик поворачивался к танку, к суетящимся парням и грозил в ту сторону высоко поднятым грязным кулаком.

Мы промучились до утра, вызволяя из беды чуть-чуть не погибший вездеход. На солнцевосходе самоходка уходила в верховье. От нее откатывались некрутые волны, словно посудина расплетала на два золотистых жгута тугой васюганский плёс.

14

С того мая прошло больше года. Время приучено ставить на жизни одни минусовые знаки, отваливая года пласт за пластом.

Бодрое солнце июльского утра скатилось с колких хвойных вершин. Небеса были налиты подсиненной влагой. Легкие светящиеся облака, похожие на клочья тумана, вольно разбрелись над горизонтом и пребывали в вечной немоте.

Тяжелый рюкзак с карасями оттягивал плечи. Несколько раз Тереша хотел понести его сам, но я жалел фронтовика. Идя к озеру, мы ссыпали с осоки густую росу сапогами-болотниками и дождевиками. Облегченная трава, весело шурша, обтекала наши брезентовые одежины. Звонкие пти-

В войну на лесоповал отправили. Катаю бревна – молитвы твержу. За веру свою и на дорстрое побывала. Помню: вода валом шла. Барак наш кругом обтопило. Змен, ящерицы на нары заползли. Зайчишки в артельном котле спрятались. Воды весенней дополнище. Ветры студеные секут. Простыла. Пожевала репное семя, помолилась на восток. Гляжу: остяки на двух обласках едут. Вызволили.

Долго меня начальники трясли, большую надсладу в грудях и в голове сделали. Начальники-то при наганах, при ремнях кожаных. Подзатыльников отпускали больше, чем слов. Совсем хезнула здоровьем. Красные прутики грызла, марьин корень пила, подорожник жевала. Хожу, шепчу: Богородица, заступись. И сделала она мне отпущение греха малого. Словно легким ветерком благие слова нанесла в уши: блудница да будет целомудренной. Обо мне пеклась. О ком еще?.. Ой, что это я заболталась – свинья не кормлена.

Отшельница сгребла в охапку крапиву, пошла к стайке, заваленной от двери бревнами и досками – новой данью деревушки. По шаткой лестнице Мавра взобралась на крышу стайки, принялась сбрасывать в дыру даровой корм. Громко возвестила сверху:

– Сынку Витеньку из тюрьмы жду. Четвертый год не колю свинью... дикая она у меня, приходится взаперти держать. Прошлой осенью выскочила, негодница, и давай все подряд рылом валить. Насилу ноги от нее унесла.

Хозяйка перебросала крапиву, опустилась на землю. По лестнице поднялся я. В отверстие, выпиленное в крыше ножовкой, лился веселый свет и освещал невеселое обиталище плоскобокой, остромордой свиньи. Она задрала длинную башку и угрожающе хрюкнула.

– Свинushка моя постуется, – пояснила отшельница. – И коровка моя пост соблюдала. И овечки. Я их осиновой корой кормила – шерсть лучше. И свинushка осину грызет. Опуска-

Казус однажды с ним вышел. С дневного устатку уснул на соломе Порфишка, дал лохматым потачку. Перво-наперво изгрызли кочерговую ручку. Со злобы аж окалину съели. На тулупью шерсть гору репьев насыпали. Связали горе-сторожа по рукам и ногам ведьминым лыком. Прыгают, радуются, пыль мякинную поднимают. Она и подвела их: дедушка чихнул спросонья. Один леший со страху башкой об молотилку стукнулся, другой на снопы полез. Рухнула ржаная кладь, завалила леших и дедушку. Утром мужики сторожа откопали, а шалунов и след простыл. Умеют мудреные бесы из любой беды выкручиваться.

Рассказывает Горислава новую вспоинку, на меня с ухмылочкой поглядывает: поверю ли. Я невозмутим. Мне любо слушать ее певучие ласковые словечки: небушко, солнушко, зорюшка. Ее поверья чисты и наивны. Слушая их, уносишься на быстром скакуне в далекое прошлое, на лоно полей и лугов.

В одно из воскресений, стоя на крыльце, Горислава спокойно помолилась на чистый солнцевосход и изрекла:

– Мы с Терешей язычники: солнушку поклоняемся, природе. Светило всегда зримо, добро всему живому сеет. Оно на виду. А кто бога видел? Чего он скрытничает? Нас с Терешей в староверство клонили – не поддались. Экая невидаль – без попа жить. Вот без солнушка попробуй проживи.

Веский довод. Против него не один богоискатель развеет руками.

Под утренним парным туманом течет величавый Васюган. Прошли времена, еще пройдут, выплеснутся годами в океан, не знающий бурь. Река будет жить, струиться подо льдом и под солнцем. Пока есть вода, будет вечность. Вода проснется от зимнего оторопелого сна, вспомнит, что есть

ла ей раз ведро с пойлом – она меня чуть к себе не сдернула. Схрумкала бы, ей богу схрумкала.

Поверил в предположение отшельницы.

Длительный пост довел затворницу до изнеможения. Она пожирала меня голодными, дикими глазами, успевая хищно перемалывать клыками сочные стебли пыльной крапивы.

Мавра делилась печальным открытием в кормлении кур:

– Лет восемь назад перевелись у меня хохлатки. Не ведала, что их свиным мясом кормить нельзя. По народу много жила, вроде все слышала, но про это не знала. Родила когда-то и гусей. Перед Пасхой сама постовалась и гусей в строгости держала. Они уже на яйцах сидели. Сынка Витенька возьми да и помани их пшеничкой. Стоит перед ними, пересыпает зернышки с ладони на ладонь. Они бегом за ним. Да с гоготом, да ушипнуть норовят от злости. Остудили яйца, гусятки не вывели... Сынка, сынка, горе мое едкое. Неужели помру и тебя не увижу? Внушала ему: не тот богатырь, кто коня держит, тот, кто сам себя в руках удержать может. С вином схлестнулся, с шалавами. Закартежничал.

Спустился с лестницы.

– Теперь видел, что там за зверь? С ножом не подступишься. Придется сверху из ружья.

Зверь метался в ненавистной тесной клетке. Бился в дверь. Расшатывал ржавые перекошенные шарниры.

– Еще кушать просишь? Веди себя смирно, вечером новой крапивки дам, – разговаривала Мавра со свиньей через забаррикадированную дверь. – У меня овечки по с т я щ и е. Грызут дудки у болота и не вякают, как ты.

– Коровы давно нет?

– Четвертый год пошел. И коровка была постыжей. Мудрая: чужого теленка к вымени не подпускала. У других коров, случалось, с вымени капает. Моя накопит молока, при-

ясь до ускользающей сути той гонимой, мученической веры, которую проповедовали стойкие, неотступные раскольники. Молодуха жила в вечном ожидании неминуемой беды, заранее готовила душу к будущим мукам, сердце – к долгой каре. Недвижный взгляд холодных глаз, плотно сомкнутые губы делали лицо непроницаемым, монашески строгим. Обруба-ет сучки, задумается, топор замирает в руке немо и грозно. Вальшики боялись подходить к Мавруше в такие минуты.

В бараке подруги с лесоповала тупо и ухмыльно взира-ли на раскрытые страницы пудовых книг. Непонятные, за-ковыристые крючки, слитые в такие же непонятные слова, производили на женщин странное впечатление. Эти слова не поддавались прочтению никому, кроме тихой, полусонной Мавры: бабоньки прозвали ее за это иностранкой. Сидит, чи-тает иностранщину, и в это время хоть гром разрази ее – не вздрогнет, не встанет с места.

Мавруша была красивой в то время не одной молодос-тью лет. В бане на нее бросали завистливые взгляды сол-датки, тайно вздыхали тетки, утратившие стройность талии, крутую всхолмленность грудей. Их тела были перечеркну-ты по рукам и ногам синими вспухлинами натруженных жил. Молодая староверка шла с тазиком по банным половицам, и словно не они скрипели под красивыми упругими ногами – поскрипывало ее тугое, точеное, розоватое тело. Много раз домогались броской старообрядки мирские парни, замани-вали на деревенские вечерки, в хомутовку, на васюганский бережок. Мавруша смотрела на них сокрушающим взором, как боярыня Морозова с суриковского полотна...

И вот кто-то ловко и скоро перебрал, словно четки, от-ринувшие года. Отструилось время в песочных часах жизни, на донышке осталось. Никому не под силу перевернуть эти часы, никому не заставить песочек потечь вспять.

Мавра-отшельница благоговела перед книжными пра-

ка давно привыкла к такому лечению. Даже не вздрагивала, как прежде, от пчелиных крепких ужалов. Бабушка слегка стучала в морщинистую шею терпеливой пациентки гудящей пчелой: науськивала ее на дряблое тело. Разгневанное насекомое притискивало к коже гибкий задок, выпускало крошечное жало. Ньюша визгливым, обрадованным голосом вскрикивала:

– Во-от, зацепило!

На теле оставалась пыльца, сроненная с ножек, с брюшка захваченных для лечения пчел. Жаль, что этой пылью не опылить Ньюшу – увядающий цветок почти улетевшей жизни.

Цепконогие головастые пауки разбросали меж кустов и деревьев светлую сеть. Сперва она – упругая и клейкая – изнуряла добычу, изматывала в неравной, почти бесполезной борьбе. Затем к жертве подползал косолапо грозный страж. Ломал крылья. Душил. Терзал. Рвал пленников и пленниц. Маленький вампир был безжалостен и неумолим. Той же веткой, которой Горислава отмахивалась от мошек и комаров, она с наслаждением рвала легкую паучью сетевину. Освобождала еще живых бабочек, жуков, ссаживала с ладони на траву. Выпуская на волю, приговаривала:

– Летите, ребятки, да другим расскажите, паучье – ваши враги.

Раньше Авдотьевка славилась охотниками-промысловиками. Были соболятники, медвежатники, мастера по отстрелу лосей, искусные ондатроловы. Силками и ловушками-слапцами добывали боровую дичь. Выкапывали скрытые ямы для поимки глухарей и косачей живьем. Спрятанные под тонким слоем елового лапника хитрые выкопы подстерегали птицу, соблазненную броской ягодной приманкой. Охотники ругали Гориславу:

– Зачем выпускаешь на волю нашу добычу?

Она обходила охотничьи тропы-путиki, спасала угодившую в силки птицу. Вызволяла из неглубокого подземелья тяжелых краснобровых глухарей. Обрывала петли, поставленные на зайцев. Однажды принесла домой вытащенного из капкана лисенка. Долго лечила перебитую лапку. Лисенок подрос, окреп, поживился курицей-молодкой и уковылял в тайгу. Гориславу даже не рассердила лисья неблагодарность.

Найденовский двор всегда облюбовывали длиннохвостые ласточки, дружно селились в пяти скворечниках-дуплянках певучие скворцы. В старом амбаре жили бурундуки. В огород нередко забегали зайцы полакомиться оставленной морковкой, погрызть капустные листья. Прирученные белки подбегали к Гориславе по звуку пересыпаемых с руки на руку кедровых орехов. Набьют защечные мешки, попрятнут орешки в лесу и стремглав несутся за новым угощением. Синицы, воробьи, дрозды, снегирь, вороны и сороки всегда могли чем-нибудь поживиться в кормушке, сделанной из днища толстой бочки. На пеньках бабушка оставляла корочки хлеба, подкармливала сахарным песком муравьев после долгой зимней спячки.

Живущая под крыльцом гадюка была противна Тереше, но он терпел верткую приживалку и не напоминал о ней жене.

Горислава ходила по тайге безбоязненно. Нередко одна забредала в темные глушняки, не боясь заблудиться или угодить в гости к медведю. Несколько раз набредала на косолапых хозяев Большого Урмана. Всегда мирно расходилась с ними, не сворачивая со своей таежной тропы. К ружьям не притрагивалась отродясь. В бабушке давно поселилась уверенность, что ни один зверь не посмеет тронуть ее. Совы, вороны, филины, сойки не фубукали, не кричали истошно над бабушкой Гориславой, проходящей под хмурыми мохнатыми елями. Привычно бродила таежница по всем ближним и

дальним корчевкам. Птицы и звери давно заприметили тихую женщину с заспинным берестяным кузовком, с сухим черемуховым посохом в руке. Иногда важно и гордо вышагивали неподалеку от таежницы непугливые лосихи с телятами. Пробегала лисица с рябчиком в зубах. Рядышком на кедровом стволе резвились бельчата. Мягко ступая по мху легкими чирками, вышагивает Горислава хозяйкой Урмана, осматривает владение Солнышка и значит, ее владение. Бурундучку улыбнется, дятлу скажет ласковое словечко: в многоголосый лес желанно вольется ее голос, не нарушая всеобщей гармонии тайги.

Пойти с бабушкой в лес, на болота охотно напрашивались авдотьевские женщины. Точнехонько выведет на морошку, голубицу, чернику, бруснику. Пойдут с ней – без колбы, клюквы, грибов и орехов не вернутся. Заблудиться с Гориславой невозможно. Все стороны света она словно чуяла обостренным нюхом. Нет солнца, преддождливая пелена плотно висит над однообразным болотным пейзажем, где преобладают чахлый сосновый сухостой да кочки, а бабушка держит в уме родную деревню. Знает, в какую сторону шагать, чтобы выйти к могилкам, на поскотину или к мельничному омуту. Неутомимая в ходьбе, она и с полным кузовом ягоды шагала, будто налегке. Походка легкая, пружинистая. Под чирками сучок не треснет: так осторожно ходят звериными тропами медведи и рыси.

Водить бабы ватаги в тайгу, на болота Гориславе удовольствия не доставляет. Кричат, переаукиваются, бренчат ведрами, мешают тихим думам. Одной хорошо, покойно в лесных палестинах. Нет горластых бабьих помех, мешающих слушать лес, журчание чистых ручьев, полет ветра над упругими кронами кедров и сосен.

Когда-то Мавра-отшельница была неплохой проводницей, да произошла отсечка памяти: тропы путать стала.

чейка, аппетитно жуем жареных карасей, пирожки с картошкой. Вода в ручье – вкуснее не бывает. Профильтрованная сквозь торфяники и мхи, таящая бруснично-смородиновый дух, она придает бодрость получше любого тонизирующего напитка.

Нюша дожевала пирожок, запила холодной водицей и сказала подруге:

– Эх, Славушка – добрая головушка, отыскала бы ты такую траву, чтобы старика моего излечить. Ведь где-то растет она на земле. В других, может, странах.

– Болезнь у Саввы давношняя, с военного времени. От нее и психлечебница отступилась, осилить не может. А травка, поди, есть, как не быть. Попил бы отварчику, и он снял тихую одурь. Да где ее сыщешь? Земля-родиха все для человека и зверя запасла, да не рассказывает, где что припрятано. У меня травник толстенький был, еще при Петре-государе Великом напечатанный. В войну за сапоги кирзовые обменять пришлось. Приступился с просьбой капитан пароходный: продай да продай. Сапоги чуток стоптанные были, и дырка на голенище имелась. Помнится, в травнике том старинном говорилось о растении, которое тихое одурение лечит.

– Неужто врачи городские не знают?

– Все, Нюшенька, знать никому не дано. Помножь наши жизни на пять, прибавь существованию еще несколько веков, а не вычерпаешь всю мудрость. Колодец бездонный. Ты туда только погляди – бабушка ткнула пальцем в небесный голубой просвет – вот где тайна за семью печатями. Кто солнушко к земле подвел? Кто землю к нему подвинул? Учили нас: мир богом сотворен. Сумление великое берет. Я во всесоздателя не верю. По его ли воле из орешка кедр могучий в з д ы б а е т с я? Из пушинки – тополь. Из зернышка – колос. От рысихи рысенок появляется. Тут матушка-природа сама знает, с чего начать и чем кончить. Она по своему древнему зако-

начинало наливать матовым свечением. Вскоре из цепких объятий туч вырвалось омытое солнце. Сырые деревья и травы засверкали переливчатыми огнями. Все трепетало и радовалось свету.

Мрачноватая в ненастье, Горислава вмиг преобразилась. Мы вышли на васюганский яр. Остановились, очарованные потоками золотого ливня. Бабушка поправила на голове завязанный шалашиком платок, упрятала с висков серебро гладких волос. Помолвившись на закат, торжественным голосом изрекла:

– Да святится имя твое, Солнушко! Да не придут больше на землю во веки веков войны мерзкие!..

Любо слушать ее необычные молитвы. Яркие лучи словно манили, притягивали к себе эту мудрую земную мать. Пройдя долгий путь, не обессиленные, лучи твердо знали, во имя кого и чего свершен великий переход.

Сильный ветер разметал последние армады туч. Солнце пыталось воспламенить реку: красным и розовым горели неровные гребни волн.

Все сеноставное время прожил я в крохотной деревушке в три живых двора. Маленьким миром мы косили густую траву для овец и единственной Нюшиной коровы. По-прежнему над Авдотьевкой, рекой, поймой раздавался временами всполошный вертолетный гул: летчики привыкли ходить знакомым воздушным коридором, пролегающим над похеренным сельбищем.

Река неохотно пропускала в верховье груженные суда и желанно выпускала их, бегущих порожняком.

Пять лет спустя вновь довелось мне проезжать по дорогим, с детства знакомым местам. С душевным трепетом ждал появления за поворотом Авдотьевки. Вот и знакомый плес подставил самоходке широкую ладонь, но я не увидел впереди истерзанной временем деревушки. От кладбища, ве-

село голубеющего оградками, тянулись в глубь леса серебряные электрические опоры. Сверкали гирлянды и провисшие провода.

Попросил капитана самоходки сделать короткую остановку. Вышел на берег, увидел широкое грубо вспаханное поле. Кое-где между серо-черных борозд земли торчали обугленные головешки. Ветер крутил воронками золу – бедный прах сожженного сельбища.

Представил, где стояли школа, клуб, колхозная контора, избенка Мавры-отшельницы. Будто воочию увидел на черной земле неумняемого Савву с выдергой в руке. Стоит в белых подштанниках и напористо колотит в гудящее било – созывает на артельный труд разъехавшихся по белому свету мужиков.

Тереша писал мне: Савва умер в райцентре. Перед смертью, в бреду задавал Нюше вопросы, вечно мучавшие полевода: жнейки готовы? есть головня в пшенице? суслоны ветер не расшвырял? звено на работу вышло?

Мавра, так и не дождавшись сынку Витеньку, уехала в Пермю, к сестре, набив мешок древнепечатными книгами.

Увидел словно наяву бабушку Гориславу. Стоит на береговом взгорке смотрит на ясный закат и, перекрестясь, произносит молитву молитв:

– Да святится имя твое, Солнушко! Да не придут больше на землю во веки веков войны мерзкие!..

По неровной пахоте медленно иду к кладбищу.

При установке береговой опоры потеснили немного жилплощадь переселенцев. Бульдозер снес оградки и кресты, смешал с землей и вырванными кустами. На повергнутом восьмиконечном староверческом кресте грелась пятнистая гадюка. Возле могилки валялись пустые банки из-под краски и малярная кисть. Какую оградку последней подкрашивала Мавра-отшельница?

телю даже не дали проститься с семьей. Отняли печать. Забрали в конторе прошлый годний отчет. Катер-трескун повез в низовье страшных гостей и очередную безвинную жертву.

На Игольчиковых в деревне стали смотреть ненавистно. Дело явно не обошлось без участия мужика-хитрована. Вот тебе и постой, и застолье у ссыльника Парфешки. Многие дектяревцы за всю жизнь не могут подмять под себя нужду, выбиться из бедности. Этот сыч махом обогател. Начальники из района к нему прибиваются. Видно, хмельно поит, сытно кормит, на мягкую перинку спать укладывает. Не брезгают районщики, что мужик из раскулаченных. Старое не поминуют и про новое молчат. Хороминку высокостенную поставил – его дело. Двор живностью кишит – пускай. Не брали в толк деревенцы, что Парфен – ломовая лошадь. Крисанф с завистью и восторгом глядел на спорую работу главного кормильца семьи. Молодая жена Матрена тоже вертелась колесом в прятке, но сноха уступала в расторопности строгому, неласковому свекру. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда бесследно исчез председатель. Парфен даже недовольничал, что не забрали вместе с ним весовщика-кладовщика Новосельцева. Стриганули бы под одну гребенку, и дело с концом. Зажиточник давно метил на его место.

Свекровка не говорила Матрене упречных слов, но тяжелым, гадливым взглядом попрекала молодайку: знай, из какой нищеты пришла в наш дом... на готовый достаток явилась. Заезженная домовщиной и хлевом, молчаливая невестка чувствовала себя неприкаянной и горемычной. К насупленному, злему Крисанфу не прикипела душой. Нераскрытое для чистой первородной любви сердце обрекало себя на долгие затаенные муки. Семейная жизнь не дала телу желанного прозрения. Тянулась привычная слепота чувств. Матрена разделяла одиночество с зареванной подушкой, пугалась приближения ночи... надо будет стелить постель, то-

нуть в душной перине с грузным мужем. Тяжел черт, точно потолочная матица, вытесанная из лиственницы.

Родители видели нелюбовь Матрены к сыну. Ревниво следили за каждым ее шагом: не бегают ли угрюмица на вечерки, не подглядела ли сокола попригоже. До плутней ли дворовой работнице. Свекор вбивал клином в голову: «Надо множить богатство... денежки счет любят... на большой береж век проживешь...». Пугливо озираясь на хозяина, Матрена защищалась слабым голосом: «Я вам не тратчица. Сарафан прохудился, второй не прошу», – «Не королева – в залатанномходишь».

Стесывая с бревна широкую щепу, Парфен науськивал сына:

– Поучи малость свою курву – дерзить стала. Перечить тебе негоже, мне – тем паче. Власть над нами никогда не забрать. Попотчуй ее для острастки вожжами.

Вскоре представился случай отыгаться на беднячке. Вытаскивая чугунок из русской печки, опрокинула нечаянно варово. По загнетке на пол потекли фиолетовые струи свекольника, оставляя на побеленной печи большие разводы. Семья сидела в ожидании обеда. Голодный жоркий свекор постукивал в нетерпении по столешнице деревянной ложкой. Накопленная слюна собиралась скатиться с мясистой оттопыренной губы. Опрокинутый чугунок вынудил озлобленного Парфена швырнуть ложку, размашисто перешагнуть скамейку. Протест отца послужил Крисанфу сигналом к действию. Выхватив из квашни увесистую мешалку, остервенелый муж несколько раз ударил наотмашь Матрену пониже поясницы. Жена от стыда и позора убежала в сени. Рыдание сдавило грудь. «За что такое унижение? За какие грехи попала в рабство чужим людям? Родный тятенька ни разу пальцем не тронул. Разве моя вина, что рога ухвата плохо держались на черенке? Мужики называются – укрепить не могли».

В избе чувствовала себя забитой рабыней. Перешла из родной халупы в светлооконный пятистенник, словно на чужбину попала. Не роднись бедность с чужим рублем. Выдал бы тятя за ровню, дал телушку на обзаведение. Горемычь теперь.

Врожденная стеснительность не позволяла за столом уплетать еду за обе щеки. Ела медленно, мало, постоянно ощущая косые взгляды одностольников. Встанет со скамьи полуголодная, никто не спросит: наелась ли? Выпалась – не выпалась, устала – не устала, ни свекра, ни свекровку, ни колодину-мужа нисколько не интересует. Они себя считают благодетелями: из грязи девку вытащили, почти княгиней сделали. Разрывайся теперь, княгиня, между хлевом и домом. Таскай дрова и воду. Шоркай полы дресвой. Стирай за-тасканную мужскую одежду. Вари. Жарь. Корми скотину. И все делай под обстрелом многих глаз, не дожидаясь ласки, сочувствия и утешения. День в колготне проходит. Ночь почти не возвращает силы. Храпливый Крисанф допекает собачьим рыком. Стелила себе на полу, отмежевывалась – среди ночи за волосы приволок, впихнул в перину.

Беда давняя, обрушная: тятя болеет, красными сгустками харкает. Родителям нелегко обойти-объехать проклятое безденежье, частое бесхлебье. Выручают жмых, горох, картошка. Дочка сама недоедает, переправляет тайком через брата пироги, шаньги, ломти каравайные. Положит сверток под лист лопуха, Васятка подползет к бане из-за конопельника, возьмет. Таким простительным украдом отсылала сала, муки, молока. Навешая, приносила кусочки сахара, горстку конфет. Игольчиковы сразу отрезали Матрене: «Наши припасы по лишним рта не пойдут. Пусть твои родственнички выкручиваются сами».

Без снохи Парфен был откровеннее:

– Сократили страдающую семейку на взрослого едока – в

Четыре года военной солдатской жизни раз и навсегда выпрямили Терешу, придали бравый гусарский вид. Стоит – плечи расправлены, небритый подбородок вздернут, правая рука чуть согнута у бедра. Вид у старика такой, будто собрался бодро откозырять честь и гаркнуть кому-то: здоровья желаю! С войны вернулся без единой царапины.

– Вот даже порошинкой не ожгло, – сказала обрадованно Горислава. – Заговоренный он у меня. Я ему через солнушко весточки посылала. Выйду в поле, в луг, встану перед ним лицо в лицо, прошу его: «Солнушко, солнушко, спаси и помилуй Терешу. Несладко ему в окопах. Горько в боях. Пронеси пули мимо него. Обогрей душу. Передай: жду его целехоньким-живехоньким. С победой жду». И слушало солнушко жницу колхозную. Никогда не упускала я свою жарницу, свои досветки. Встречала светило небесное трудом земным. Оттого и любит оно меня. Лень-греховодницу успела в сиротстве прогнать от себя. Солнушко еще в провале небесном – я не сплю. Кручусь возле печки. Ухом-слухом каждый коровий мык ловлю. Будь сам приятен солнушку и земле – они в долгу не останутся. У них душа большая, добрая. Птица всякому лесу поет, и ты пой всякому. Мы с тобой, Анисимыч, на старые вырубам ходим. По грибы, по бруснику. Поживи у нас, послушай воспоминки. Заболви о нас словечко в какой-нибудь книге. Живут, мол, в Авдотьевке пенсионеры Найденовы. Тереша – старичок-фронтовичок. Славушка – колхозница-полевичка. Язычники они, последние васюганские язычники. Всю жизнь напролет солнушку исповедуются, земную мир-околицу боготворят...

Терентий Кузьмич сидит за столом, примагничивает указательным пальцем хлебные крошки, отправляет в маленький рот. Спрашивает меня:

– За веру нашу на Соловки не сошлют? Был у нас в роте пехотинец с тех земель. Весельчак. Ладошку об ладошку лю-

ноги нам надо поклониться. Что делами домашними нагружаем, за это спроса нет. В ответчики не попадем.

Помыкали работницей: кухарка, поломойка, скотница, прачка. Прибежит Матрена попроведать родных – плачет навзрыд. Дома воз дел, в колхозе – два воза. Бесконечное изматывающее черноеделье. Бой за полномерный трудовень. Женщина раненько заговорила о смерти – избавительнице от нудливой, бессменной артельщины-семейщины.

Нежданно-негаданно забрали председателя, прислали из района крикастого сменщика. На первой же сходке грозился выбить из дектяревичев лень и дурь, искоренить кумовщину. На крикуне был строгий зеленый френч, черное суконное галифе с такими расширенными боковыми отворотами, что в них можно было упрятать по сковородке.

Сходка бурлила от выкриков, свиста и топотни:

– Куда девали Новосельцева?

– Верните председателя.

– Он нам не был врагом.

С в а т а т ь чужака приезжал сутулый, кадыкастый районщик. Он уловил приближение нарастающей бури, крутой накат людской волны, поэтому стоял на клубной сцене волнорезом, выпятив крепкую горбушку-грудь. Прищуренными глазами засекал подозрительных крикунов и взвойщиков. На третьей лавке ерзал плешивоголовый мужик. Зажав кулак, тыкал им в сторону шаткой фанерной трибуны, обтянутой плакатным материалом. С в а т стойко переждал гнев в зале. Уловив паузу, грубо навел указательный палец, как маузерный ствол, на ерзающего бунтовщика.

– Кто?! Я спрашиваю – кто ты?!

Мужики, бабы закрутили головами. Черт его знает, в кого пулял с в а т свинцовый, умиротворяющий вопрос.

–... Вот ты, ты, митингующий на третьей лавке... с плешивой башкой.

– Колхозник я, – ехидно, вызываяще ответил весовщик Сотников, чувствуя гудящую поддержку артельцев, выкрики и смешки.

– Что ты колхозник, не фининспектор, я без тебя знаю. Из сосланных?

– Хотя бы.

– Фамилия?

– Ну-у – Сотников.

– А-а-а, – обрадовано завопил с в а т, – колхозный ключник-замочник. Слышал-слышал... Дело ясное: сегодня же сдашь ключи от склада... Мы живо выйдем из деревни все антинародные элементы. Мы не позволим утопить в трясине широкое колхозное движение. Мы...

Подслеповатый дед Евлампий, нюхавший порох финской и гражданской войн, крикнул на весь зал сиплым голосом:

– Мы... мы... Чё размычался! Приехал тут новый Николай Второй. Тебе весь сход доносит: нет вины на арестованном председателе. Нам нового не надо, со старым любовно жили.

Когда зацепили словом-крюком кладовщика, приказали немедленно сдать ключи, Парфен просиял. Все свершилось по воле божьей и чуточку по воле расчетливого Игольчикова.

Многодворная Дектяревка на коренном берегу реки легко парила на фоне проплывающих облаков. Казалось, на миг опущенные широкие крылья тесовых крыш вот-вот напряженно взмахнут и понесут по-над лесом избы, увлекая за собой баньки, стайки, скворечники и прясла. С лугового раскатистого заречья особенно ощущалась картинность и легкость поднебесного сельбища. Игривые переливчатые лучи отблескивали от окон, похожих на пылающие камины.

Башковитые первопоселенцы обласкали взглядом пригожее под застройку место. Дорога-река под боком. Травных равнин по низкобержью – вволю. На много верст тянется су-

ную ватагу густобровый, басистый мужик Козьма Дектярев. Насмотрелся людского поганого мира, где готовы вырвать кусок из глотки, затаскать по долгим продажным судам, раздробить зубы кулаком любого полицмейстера. На дикой природе душа смаковала долгожданную свободу. Руки жаждали раскрепощенного дела. Река затягивала в пугающие берега. Мужики, бабы пялили глаза на огромное ничейное богатство. В городской переселенческой конторе им сказали: «Ехайте в Нарымский край, седлайте берег любой реки».

Матрена знала про Дектяревку не более других. Деревня как деревня. Вечно тонула в сугробах, куталась летами в дымокурные струи, отпугивающие всякое мелкокрылое гнусье. Сначала ее до озлобления выводили из себя наседливые летучие кровопийцы. Ласточки, стрекозы объедались паутинами, комарами, мошкой – кусучих тварей не уменьшалось. Разъединенное в кровь лицо, расцарапанные руки и ноги, постоянная почесуха порой доводили Матрену до слез. Было стыдно показаться в клубе, сходить на вечеринку, пройти к колодцу за водой. Успокаивали подруги: «Крепись, к зиме гнус отступится».

После алтайского полевого раздолья давило, угнетало плотное лесное окружение. Небо застилали зеленые купола. Частоколом стояли монолитные стволы. На раскорчеванные поля напористо наступал хвойно-лиственный молодняк. Оставалось вольным для глаз заречье. Но оно, затканное кустарником, обставленное корявоствольными осокорями, рослым осинником, закрывало луга и озера, обкрадывало простор. Матрену тянуло на берег реки. Отсюда она окидывала взором темный плес и раздвинутые небеса. Здесь чуточку отдыхала душа, вспоминалась оставленная земля детства.

Но что было притеснение тайги по сравнению с игом чужой семьи?! Проходили месяцы, годы, из пучины жизни не всплывала любовь. Даже не являлась обыкновенная при-

вязанность, подменяющая нежные чувства. Теряло силу и власть обманчивое поверье: стерпится-слюбится. Слепое девичье сердце залетело в крепкие сети. Не выпутаться. Не порвать. Нахлебницей, приживалкой, домработницей чувствовала себя Матрена в пятистенных хоромах, только не хозяйкой и женой увальня мужа.

Отовсюду наползала каждодневная, докучливая работа. Артельный двор – бабам мор. Изнурял и хозяйский хлев. Не давала роздыху неучтивая обретенная родня. Матрена вздрагивала от окриков, стеснялась чихнуть, громко брякнуть штырьком рукомойника. Изучила все нескрипучие половицы, старалась наступать на них и передвигаться легкой скользящей походкой. Матрене мнилось, что даже Христос и Троеручица поглядывают на нее из красного угла с нетерпимостью и укором, чураются введенной в избу молчаливой чужачки.

Сноха нечаянно подслушала наговорщину свекра на безвинного председателя. Не утаивал он с кладовщиком зерно. Правда, полновеснее, чем в других колхозах, получился трудодень, не грозил дектяревцам голод. Разве за это лишают свободы? Колхозные ходоки вернулись из района с пустыми вестями. Где Новосельцев – никто не знал или не хотел обнародовать тайну.

Неужели сыграла зловещую роль недопоставка хлеба? Но сколько можно получать крохи за адскую повседневщину?! Уплыли урожаи под красным флагом, под пышными лозунгами...

В деревне распространенными фамилиями были Дектяревы, Гришаевы, Новосельцевы. На одного Новосельцева стало меньше. Резанули семью по-живому, устранили кормильца и защитника. Осталась семья в шесть душ. Самая меньшая рахитичная душа пищала в зыбке, пускала слюни.

Раньше свекор внушал Матрене страх. После бессудно-

– О н и меня попомнят! Целиком распаскудное поселение спалю!

Заражаясь отцовской мезьтью, Крисанф поддакивал жестким, непослушным языком, быстро хмелея при виде скоротечного, черного разора.

Перебрались на скученное житье в баню... Отлетаемые от избы головешки не смогли заогнить последнее прибежище, оставленное от большого подворья.

Без особой жалости отнеслась Матрена к подстроенному кем-то пожару. Одним крепким монастырским уставом жила нарымская деревня. Объявился чуждый уставщик – гонористый, услужливый, хитрый. Наверно, господь отступился от Парфеша Игольчикова, черти потихоньку потворствуют. Стоило приветить, поить-кормить дознателей, сразу не стало председателя, бывший кладовщик попал под подозрение. Ждет Сотников со дня на день: вот-вот и его захапуют, упрячут в тюрьму.

Матрена отпросилась у мужа и свекра к родным. В бане теснота, захотелось вновь очутиться под крышей родного крова. Отец Матрены предлагал Игольниковым пожить в его, хоть и тесной избе – отмахнулись. В родительской избе явился давно забытый крепкий, сладостный сон.

Нелюбимый муж после страшной беды стал покладистее, задумчивее и нерасторопнее. Ходил с остекленелыми глазами, натыкался на скамейки, косяки, будто переносил на ногах жуткий, долговечный сон.

Расчищая пожарище, Парфен мстительным взглядом приговаривал к сожжению дектяревские избы. Знать бы, кто отыгрался огнем. Мужик яро сжимал топорыше, мечтая о справедливом возмездии. Он придумывал своему врагу казнь с изощренной мстительностью. Прихватит на болоте, поиздевается вволю и башкой в трясину... пропихнет тело до вечной мерзлоты. Нет, лучше сразу топором по черепу – и душа в отлет.

Таким гореванием можно скоро надсадить сердце. Сте-
ная, царапая щеки, вопленица простирала руки к иконам.
Летала от плеча к плечу раскосмаченная голова. Утешение
долго не приходило к ней. Мать впервые видела такое, по-
рожденное бедой, безумство дочери.

С этой поры Матрена будет приходить оплакивать всех
дектяревских умерцев. На похоронах отца ее чистая душа,
нестойкое слезливое сердце прошли строгую проверку на от-
зывчивость и неподдельную любовь. Сострада, оплакивая
чужое горе, точно свое, кровное, вопленица видела все тот
же гроб на табуретках в отчем доме, иссушенного болезнью
отца. Без труда давались слезы, и летел почти непрерывный
горловой стон. В избе мужа она крепилась, сносила бесслез-
но оскорбления, обиды, тычки. Над обмытыми, обряженны-
ми телами давала волю душе. Вопленица оплакивала разом и
покойников, и свою никудышнюю забитую жизнь.

Свекровка, муж подобрели к трудливой Матрене, ведь
на нее падали основные тяготы по скотному двору, по избе.
Никто не снимал тяготы колхозницы-трудоденницы. Башко-
витые кабинетчики придумали минимум и максимум
пожильной трудовой отдачи. Судьба беспаспортных деревен-
цев полняком зависела от погодичных-повечных трудодней.
У Матрены-стахановки их набиралось с лихвой. В свинарни-
ке, на вывозке навоза, на полях, на лесозаготовках п о л у
ч а л а иногда по две п а л о ч к и в день – отметины в по-
трепанной тетради бригадира, ее он хранил для удобства за
голеньем сапога или валенка.

После ухода на войну Парфена главным ключником
стал сын, не обиженный грамотешкой. Отец крепко обучил
беспронимчивой арифметике обвеса и обмера. Тяжелые ам-
барные весы, обученные человеком м у х л е в к е, трудились
только на недовес килограммов зерна, турнепса, картошки,
жмыха. Почти никогда бегунок на размеченной пластине ве-

сов не скользил до нужного, точного деления. Кладовщик не дожидался, пока клюв бегающий будет уравнен с клювом неподвижным. Да хотя и замрут они, вытянутся в одну линию, все равно честного веса не будет: весы так хитро отрегулированы, что килограмм-другой колхозной продукции останется в пользу весовщика. В складах тьма прожорливых крыс, и на них можно кое-что списать.

Получая пропитание свиньям, Матрена прихватила мужа на обвесе. С полпуда отрубей недодал. Крисанф грубо осадил свинарку: не суйся не в свое дело. Жена как отрезала: мое дело – привесы, твое, оказывается, – недовесы. Подступила с устной жалобой к председателю. Проворчал: разберусь, уточню. В складе владелец колхозной печати отчитал ключника: «Что ты за мужик, если своей бабе хайло не заткнешь?! Хапай да поменьше... Ко мне пока не вози... излишки. С тобой в тюрьму сесть недолго...».

В конце войны колхоз получил первый колесный трактор. На лбу отлито – ХТЗ. В Харькове родился, в Дектяревке предстояли крестины. Деревенские старички-ушлячки расшифровали ХТЗ скоро и умно – Хрен Трудодни Заработает. За надрывную повседневщину оплачивали малым зерном да малыми рублями. Получишь расчет – налоги подлавливают. Раскошеливайся, земледелец, за коровенок, овчонок, свиней. Вся твоя живность похвостно и покопытно учтена. Шкуры не утаишь, маслица на ломоть не намажешь.

Успела прилететь с весной-вестницей желанная птица – победа, но не наступило поналогового послабления. Не было послабления в труде, поставках.

Брал Крисанф в руки газету, тупо смотрел на кричащие слова: пролетарии всех стран, соединяйтесь! Хмыкал, швырял серую бумагу. «Что-то не бегут чужестранные пролетарии сливаться с нашей голодранью. Значит не хуже у них житье... терпят капиталистов.

Мы пролетели, их увлечем за собой... бояться. Не глупцы заокеанцы...».

Тиладу обрывала Матрена: «Заткнулся бы! Впрочем, болтай. За дерзкие рассуждения скорее в район уташат. Там поговоришь».

Жена все чаще дерзила мужу. Заметно терялась его власть над женщиной. В ней запоздало проснулись непокорность, отвага и гордость. Перестала встревать в спор щедрая свекровка. Сноха воловьим трудом добилась права ходить по избе с гордо поднятой головой, есть, сколько хочется: навёрстывала за долгий полугод. Теперь она в открытую помогала матери мукой, мясом, деньгами. Попробовал Крисанф без прежней смелости ударить жену, с размаху опустила мешалку на его башку. По дереву разбежалась трещина. Когда-то мешалочка гуляла по ней. Теперь пусть поскачет, порезвится по мучителю.

По избе ходила размашисто, нарочно наступая на скрипучие половицы. Дверями хлопала громко, брэнчала ведрами, стучала ухватами, гремела штырьком умывальника. Этими шумами, дерзким взглядом вымещала с годами накопленное раздражение.

Пропавший без вести Парфен, видно, навсегда затерялся в просторах недавней войны, сгинул, как сгинула и сама война-кровавопролитница. Деревенцы о нем и не вспоминали, будто и не ходил козырем перед ними зажиточник-хитрован.

По-прежнему разрывалась Матрена между колхозным и личным дворами. По-прежнему вечной течью струилась под боком деревни сплавная река. Густые надречные туманы порою так плотно забивали плес, раскатывались по травному берегу, что являли фантастическую картину незнакомо-го жития земли.

По заведенному обычаю природы в Ильин день обрушивалась ярая гроза с пугающими высверками молний и сокру-

шительными страшными громами. Иногда грозы начинались с Петровок, тяготили, выматывали упорной продолжительностью. Никогда дектяревцы не слали небесам и иконам столько крестных знаменений, как в пору июньско-июльских громопадов. Огненные ветви затучных исполинских деревьев летели наземь скоротечным каскадом.

В одну из гроз Матрена обмерла в огороде от великого открытия вечной тайны чрева. Под шерстяным набрюшником ощутила непривычную плотность живота. Сердце отозвалось частыми, сбойными ударами. Она ничего не сказала мужу, свекровке, полагая, что все это ей примерещилось. Но в пору сенокоса знала точно: подступает отрадная пора материнства. Медленнее стала летать над травами большая мужичья литовка, уже лились за спиною прокосы. Страшилась вспугнуть, изувечить надсадой зарожденное чудо. Матрена не брала в расчет мужа, забыла о нем. Думала, что это случилось по воле икон. Ведь было же в давние времена непорочное зачатие святой девы Анны. Шептала над травами: «Дура же, ох, дура была, когда нарочно надсажалась, катала толстенные сосны, за двух мужиков тянула веревку, поднимая матицу... Не зря я втайне молилась Троеручице. Вняла мольбе, вдохнула новую, пока невидимую жизнь».

Перед ледоставом свекровку свалила тяжелая болезнь. Ухаживать за ней пришлось недолго, без стога умерла в ветреную, ненастную ночь. Матрена на похоронах не надрывала над покойницей сердце, не терзала душу, как над другими деревенскими умерцами. Сейчас ж и в о е в ней подсказывало побережь себя, не вызывать неистовые рыдания, не отягощать грудь. Скоро должна была оборваться долгая несущая жизнь, обрести смысл, отпущенное природой счастье материнства.

В бурный март родилась двойня. Матрена крепилась изо всех сил, боялась потерять от боли сознание. Плот-

сдюжит столица, одолеют врага наши бойцы. В первое лето нарвала, насушила одолень-травы. Каждый день с пучками шепталась, разговаривала. Через них солдатам нашим внушение делала: не сробейте, осильте, победите, одолейте фашистов. Всю силу колхозную мужичью фронт прибрал. Кто в Авдотьевке остался? Старцы, детье, хромые да киластые.

В конце мокрого месяца апреля снимали мы зимние шубенки с овец. Шелкали ножницами, приговаривали: бе да бе – стрижем не себе. Нас налог, как пест тяжелый толоч. Понимали: надо сдавать шерсть, шкуры, молоко, масло, мясо. Несешь на сдачу маслецо, глазами его ешь-ешь. Брюху не слаще, не легче.

Кричат наши овчонки, блеют, черными бобами пол устилают. Неохота одежку сбрасывать под апрельские да майские холода. Часто случалось, ушедшая зима верталась, приводила метели из-за Васюгана. Посмутьянит недельку-другую, позлит людей, ворон и собак, убежит по сырым низинкам невесть куда.

Принимал шерсть весовщик Яшка Ругин. Хромой, ехидный, охальный. Но на руку и глаз честный. Не обвесит, не обмерит, не сжульничает. Под подол девкам руки запускать... чего уж... дело молодое, норовливое на озорство. Ручищи длинные, шустрые – птицами под юбки залетали. Яшка то по мягкому месту бабенку шлепнет, то за титьку ущипнет. При стариках стеснялся. Без них рукам послабление давал. Особенно донимал Верку-доярку. Бобылкой жила. Сухогрудая, глаза – две капли колесной мази, щеки стесаны и зубенки впорядь. Ростом длинна, хоть в прясло клади. Яшка под рубашку – стоит бесстыжая, не шелохнется. Смазывает мужика хитрым косым взглядом, приговаривает: «Как ущупал, Яшенька, мне скажешь, где она расквартировалась. Не упомяну что-то». Бабоньки животы в хомуты. У кого хохот со слезами прет, у кого с искрами. Ругин – хитрый лис. Не рас-

оглушил смолокура. Повалился наземь, запрокинулась крупная кудлатая голова. Игнашка отчикивал сапожным ножом слипшиеся от смолы волосы в бороде, она была уступчатой, неопрятной. На эту кудлатину изо рта выкатились струйки крови.

Вели смолокура к реке под дулами наганов.

Упекли бы, наверно, страшные гости и кладовщика Сотникова, не укатись он на фронт с первой крутой волной призывников. Вернулся с войны с крепким прострелом плеча. Осколок на вылете грубо разворошил ткань: срослась бледно-желтыми нашлапками. Крисанф страшился смотреть в казнящие глаза инвалида. Однажды заговорил лстыиво:

– Слушай, Сотников, может, снова за весы встанешь. Я охотно уступлю должность.

Фронтовик гневно окинул фигуру кладовщика с ног до головы, будто вилами пропорол. Такой секущий взгляд в словах не нуждался.

Изба, поставленная в понизинье, на четвертую весну слегка накренилась к согре. Сковывающий землю мороз, обильные талые воды пошевелили стояки фундамента, выпирали их. Пол в избе стал покатым: куриное яйцо, положенное у двери, могло своим ходом докатиться до противоположной стены. В подполе скапливалась вода. Первые венцы покрылись плесенью, обросли белым, ломким грибком. Зато на личной, огороженной поскотине спокойно паслись корова с теленком и ретивые мордастые свиньи свергали броневыми рылами густой кочкарник. Чавкая, объедались кореньями, вольготно валялись в теплых лужах, беспрестанно пошевелевая лопушистыми ушами: вели бесполезную борьбу с гнусом.

Матренины апостолики Петр и Павел давно выломались из зыбки, гнусили стародавнюю проповедь: мамка-а, дай поесть. Росли они на удивление споро. От стола отваливались

с такими гулками пузешками, что их нельзя было ушипнуть. Приходил в гости верзилистый брат Васька, громко просил: «Матрё, накорми!». Он привык недоговаривать имя сестры, и ей даже нравилось усеченное нежное имя. Васька уводил пострелят к свиньям. Петруня и Павлуша вволюшку играли с живыми чумазыми игрушками. Чесали за ушами, дергали за щетину. Разморенные теплом грязные увальни похрюкивали и сопели.

С прежнего места поднималось освеженное отдыхом солнце. На прежнее место ложилось спать. Матрена жила с каменной верой в неподвижность Земли и по-прежнему с безотчетным испугом всматривалась вопрошающим взглядом в ночной небосвод. Кто-то далекий и высокий в бессчетный раз нашептывал в уши сладостный миф звезд. Откуда являлось, куда уходило благое солнышко – тоже было для женщины дремучей непостижимостью. Еще до войны, походив несколько недель в избу-читальню, где пытели над букварями ликбезники, она испытала давящую головную боль. Боясь получить с в и х мозгов, упросила тятю ослобонить от книжной каторги. Матрене нравился несуетный мир звезд, она любила подъярную речку, открытый просмотр лугов. Появление сынишек воспарило ее над нудной повседневной текучестью жизни. Легче давались подомные и колхозные труды.

Отец мастерил из таловых прутиков свистульки, братики играли, подпевали птичкам. В согре пряталось множество гнезд. Мать строго-настрого запретила детям разорять их, оставлять птенцов без крова. Они росли послушными, цеплялись за материн подол. В отцовских руках сникали, боязливо шурили глазенки. Мать в какой раз тешилась мыслью: они мои, только мои. Ах, непорочная дева Матрена, знала бы ты, что когда подкатят твои высокие годы, подступит, глухая немощина – твои апостолы оставят тебя ради городских коммуналок, холеных, изнеженных жен, для которых слово хлев равносильно слову острог.

жок на личной поскотине. Главные устрашители огня – вода и песок были всегда наготове. Под желобом стояла многоведерная, никогда не пустующая бочка. Дождевую воду расходовали на стирку и тут же наполняли колодезной. Лопаты, багры, лестница находились в полном боевом порядке, как при надежной пожарной части.

Неподалеку от избы со стороны подпола пришлось выкопать ров для сбора дождевых и грунтовых вод. Канаву полюбила лягушня. В дни весенних свадеб оттуда доносился шлепоток, слышалось стонливое побрякивание. Избу по-прежнему терзала сырость. Из подпола сочились стойкие гнилостные запахи.

Все противнее, тягостнее становилось для Игольчикова колхозные дела. Запуганный мужиками кладовщик перестал обвешивать. Председателю не переправлялись и з л и ш к и овса, муки, шерсти, отрубей. Заглянув в склад, отчитывал ключника:

- Скурвился ты у меня. Себе хапаешь. Доиграешься.
- Обманывать народ больше не намерен. Шабаш!
- Нет, сукин сын, коли рыло у тебя в пуху, я тебя и в перья всего ткну. Прилипнешь, не отскребешься.

3

В солнечный мартовский день черный хрипливый репродуктор на клубной стене выдавил из себя страшные слова: умер Сталин. Дектяревка, измученная налогами, пустыми трудоднями, бедностью, заголосила, запричитала, зашептала. Для деревенцев непогрешимый вождь примелькался с портретов, с газетных полос, со страниц школьных учебников. Многие всерьез верили: с кончиной Сталина вскоре наступит и конец света.

Председатель вызвал Матрену в контору, вежливо подал табурет.

– Ты, Матренушка, пусти на траурном митинге крупную слезу, повопи по Иосифу Виссарионовичу. Роднее отца был для народа. Я тебе за честный плач три трудовня наброшу.

Толпился возле клуба честной народ. Многие с горя были навеселе, успели крепко ошарашить винца за большого покойника. Мальчишки, не постигшие глубину общей боли, играли в снежки, дергали за хвосты и уши спящих в толпе собак. Мужики из колхозных активистов торопливо ходили среди народа, награждали пацанву подзатыльниками, вырывали из губ куряк махорочные сигарки, захмелевшим показывали кулаки.

Из клуба, как икону, вынесли портрет под стеклом. По рамке шла траурная матерчатая лента: ее отстригли от черного изношенного платья жены смолокура Гришаева, наверно, уже сгинувшего в одном из тюремных лагерей.

Многие сорвали с голов шапчонки, приспустили до плеч платки. Матрена тупо уперлась глазами в знакомый лик и стала призывать сердце к слезной скорби. Но странное дело – вопленица не смогла перемочь душу, извлечь из ее недр даже стон. Бабоньки степенно всхлипывали, крестились, хватались за сердце, сухоглазая свинарка Матрена отрешенно перевела взгляд на серую бревенчатую стену клуба, уставилась на желтеющий смолистый сучок. Председатель ожидал взвойный клич плакальщицы. Толпа разом подключится к нему одной общей жалостливой нотой. Инструктор райкома – устроитель митинга – смурно смотрел на примолкшую толпу. Явное недоумение блуждало по его красному, одутловатому лицу. Председатель притворно кашлял, хмыкал, пожирал глазами фигуру оконфузившей его свинарки. С языка чуть не сорвались слова: «Матрена, начинай!».

Нет, не вскипала слезами душа измызанной трудом женщины. Сердце отказывалось страдать по упокойному вождю. Она вновь безучастно посмотрела на портрет. Никогда не ви-

Пытаясь застолбить взглядом зеленые суетливые глаза гостя, Крисанф видел, как они ловко увертывались, и это ловкачество блуждающих очей начинало раздражать магазинного сторожа. Со злорадством думал: «Прибежала лиса заметать следы. Кто мне подсунул бумагу с о б в и н е н и е м смолокура? Ты. Наверно, трясти стали, так живо приперся... Ведь если сознаюсь – меня загребут».

– Накорми меня с дороги, Крисанф Парфеныч, да я назад поеду.

Обрадовался хозяин: замольщику грехов не придется ночевать в его избе. Чертовщина бы получилась: он на ночное дежурство, гость останется под одной крышей с Матреной.

Долго стоял Игольчиков на берегу, ждал, когда продолговатая лодка скроется за речным поворотом. Сплюнул и пошел домой. Гадкое, давно обретенное чувство страха сильнее сдавило пружинной хваткой. Со дня на день ждал следователей, распутывающих дела и делишки давних лет. По председателю могли бы допрашивать тятю, да его тютю. Мужик криво улыбнулся от этих, рядом поставленных слов. Ишь как оборачивается время. Кто бы мог подумать, что разлучат в мавзолее двух вождей, спаянных жизнью и смертью. Крутенько взялись за культ, высвечивают тайные документы. Пускают гонцов по весям и городам. Они с немалым опозданием доискиваются правды. Да где ее, всю-то правду, на дыбки поднять? Всю-то ее на свет божий не выведешь. Может, заявление на смолокура из дела изъято, пеплом развеяно. Кто-то ведь тоже трясется за свою шкуру, недоволен шумихой, поднятой вокруг реабилитации.

Для Крисанфа было непонятным слово э к о н о м и с т, произнесенное носатым гостем, но он догадывался, что этот гусь живет в тепле и достатке. Сторож ходил потерянным, наткался на табуретки, задевал косяки, лунатично бродил по двору. Взял ружье, раньше обычного побрел на дежурство.

Бродит возле магазина сторож, цедит сквозь извилины мозга разные мыслишки. Так и так выходит – сам повинен по всем статьям. Никто не неволил ставить подпись под обвинением смолокура, понапрасну винить человека. С доносом напакостил. Обворовывал на обвесе деревенцев. В фонд обороны, на государственные займы трудовых денег ни копейки не внес. За счет краденого выезжал. Мир замкнулся своим подворьем. Все, что за ним, – чужое, недоступное, мирское. Не вломишься со свиным рылом в калашный ряд. Не добьешься от деревенцев доброго словца, дружеского рукопожатия.

Задирает голову, таращит глаза на оконечину Дектяревки, где поставлена второпях изба. И снова мерещится зарница огня. Наступай скорее рассвет, гаси звезды, выпроваживай из постели крутобедрую продавщицу, гони к магазину. Спали провальным сном избы, приовражные кусты, заплоты, амбары. Надолго замолк собачий перелай. Чутким бдением был занят сторож, крепко сжимающий брезентовый ремень старенькой курковушки: ружье защищало магазин и человека. Быстро вошел Игольчиков в интерес песьей службы. Было время отсыпаться днем, иметь свободу до нового прихода на пост. Все же имел он непростую должность – должность при ружье. Он – лицо неприкосновенное, стоящее на часах.

С пробуждением реки шнырял мимо Дектяревки разный люд. Речники, сплавщики, рыбоартельцы заезжали за хлебом, водкой, папиросами, тушенкой. Наведывались в колхоз бригады плотников, заламывали авансом пузатые суммы денег. От шабашников отбояривались. За долгую дорогу ватага успевала прохарчиться, остаться без рублей. Парни охотно брались за починку крыш, чистку колодцев. Поправляли ворота, кололи дрова, ремонтировали технику. Иногда однобригадники оказывались обыкновенными тунеядцами. Не гнушались утащить сети, вывешенные на просушку вещи, слазить в погреб в отсутствие хозяев. Сторож страшился таких удалцов-отчаюг.

в спину, кирпичом по голове. Народец пошел – оторви да брось. Кого закон гонит на поселение, кто в бегах от алиментов, от суда, от самого себя. Патронташ на стороже затянут туго, пустых ячеек мало. «Надо бы разориться – двустволку купить, – раздумывает мужик, – из парочки стволов шарахнешь, любого в устрашение введешь. Мотря, моя единственная бабенция, наверно, спит крепехонько с подхрапом. Сыны лежат в обнимку, видят сны про рыбалку. Славные парни растут». Отец светлеет лицом, вспоминая Петра и Павла.

Звезды понемногу начинают тонуть в пучине. Восток наливается робкой дрожащей белью. С недалекого кладбища доносится всполошный вороний крик. Сторож знобко вздрагивает, пружинит скулы. Отстреливается по глупой птице матерными пулями.

Приходит окрепший рассвет. Последняя пугливая темь отсиживается в разверстой пасти оврага, вскоре и она стекает к реке. Деревня постепенно полнится стуком калиток, взмыком коров, переключкой петухов. Вот и еще одна ночь спроважена богом в поднебесье. Крисанф важно крестится на восток. У лба щепоть на секунду задерживается, он успевает сколупнуть прыщик. Год от года нервы плошают, частенько тикает то правое, то левое веко. На руках, на лице высыпает целое полчище водянистых волдырьков. Они зудкие, мужик до красноты расцарапывает тело, прижигает марганцовкой, густо разведенным соляным раствором.

К открытию магазина спешат бабы с сумками. Сейчас начнут прибавлять выручку. Продавщица довольна, когда покупатели вместе с буханками, сахаром, колбасой берут чепушки и поллитровки. Тогда проворнее бегают под пухлыми пальцами костяшки на счетах и кривая улыбочка высвечивает золотой зуб под верхней пунцовой губой. Возьмет бутылку и сторож. После тяжелой ночной вахты не грешно смочить горло крепенькой влагой.

Выходим с хозяином под яркое солнце. Июльский день разгорелся во всю световую мощь. В плотной синеве небес оторванными от мачт парусами висят белейшие облака. От беспредельной выси веет смертным покоем. На земле тоже царит временный знойный покой. Жилые и заброшенные избы Авдотьевки, палисадники, скворечники, дыхластая беспризорная конопля за огородами, сонный бурьянник, кривые изгороди, млеющая река – все покоилось в глуби всеохватной тишины. Там, где время напрочь отсекло от деревни избы, баньки, хлевушки, густо разрослась матерая крапива, кустилась бузина, стоял настороже колючий репейник, слоновьи ушами свешивались до самой земли бархатистые лопухи.

Между покоробленных тесин гнилых крыш зелеными вздутиями поднялся плотный мох. Коньки на крышах скосбочились, тупо и безнадежно уставились на сочную траву. От проломленных завалинок, от потемнелых тесин переливчато струилось полдневное марево, словно беспощадное властное время засасывало в бездонную пучину жалкие остатки крестьянского сельбища.

Редкая для этих мест жара довела до онемения все живое. Не слышно птиц, петухов и собак. Одним живым существом была река, и мы с Терешей пошли к ней.

Всякий раз бурливое половодье наносило на изгибистый песчаный берег Васюгана коряги, бревна, древесный хлам. Иные бескорые коряжины, замытые в песок, лежали под невысоким ярком годами. Коровы, овцы любили чесать бока и головы о крепкие, высушенные в кость сучки.

Васюган темен водой, но светел судьбой. Долгими, не безуспешными были поиски нефти на его берегах. Не сказочным золотым ключиком открылись упрямые недра. Открылись былью великого труда, усердия и рабочего упорства.

Найденовы не пропускали ни одной газетной заметки, где говорилось о северных кладах, о людях, покоряющих

отшибе, оказалась самым первым от дороги жилищем. Сворачивала сюда с зимника утомленная долгопутьем шоферня. За короткий постой рассчитывались тушенкой, кирпичом, цементом. К весне накопилась горка плотных, тяжелых мешков. Крисанф сколотил опалубку, приготовил для бетона объемистый ящик. Мужиком одолел строительный зуд. Сыны подносили приготовленный отцом раствор, опускали в подполицу наполненные ведра. Принимая желанный груз, бетонщик кричал весело:

– Молодцы-удальцы! Дело идет.

Торопился, заливал бетон между плотно сколоченных опалубочных досок. До появления воды успел зацементировать пол в яме. Из проточенных нор посверкивали глазами настороженные крысы, не по ним был поднятый в подземелье шум.

Жалея любимых апостолов, мать сама бралась за ведра. Наливала совковой лопатой раствор, подносила к квадратному зеву подпола.

– Мотря, ты не надсажайся, по неполному ведру носи, – жалел надомный бетонщик.

– Кончай скорее свою бетонную канитель, – ворчала жена, – развел в избе грязьшу.

– Э-э-э, нет. Я еще прокоп в сторону бани сделаю, в бетон замурую. Будет личное бомбоубежище. Американцы строят, мы не хуже их. Сделаю здесь запас еды, питья и... сам поганый атомный гриб не страшен. Цемент сам в руки идет – упускать не намерен.

Увлеченный укреплением подземелья Крисанф позабыл про самогонку. Ему не терпелось отторгнуть от избы воду, избавиться от противной сырости, атакующего грибка.

Электрическая лампочка-переноска ярко освещала подполицу. Бетонщик бросал в раствор битый кирпич, топил березовой палкой. Подошло время отдиравать внутренние опа-

наслаждаясь отрядным покоем и прочностью монолитного склепа.

Прошлым летом устранил кособокость избы. С помощью домкратов поднял осевшую стену, выложил кирпичные тумбы. Отцу крепко помогали Петр и Павел: пообещал купить им к открытию охоты по двустольному ружью. Изба превратилась в арсенал оружия: пять стволов, много пачек дробовых и пулевых патронов успокаивали главу семьи, даже прекратилась на время бессонница. Теперь на охрану магазина выходил с двустолкой, пряча патронташ под старым, покоробленным дождевиком.

Вослед за светлыми днями бабьего лета полились нудные затяжные дожди. Сыпалась надоедливая изнуряющая морось, приводящая в уныние землю, людей. Подступила грузная, неотвратимая тоска, и Крисанф запил. Главные работы по хозяйству сделаны: заготовлено сено, выкопана картошка, хранящий немоту бетонный бункер врос в болотистую почву, стоял непоколебимо. Бутили, трехлитровые банки с самогонкой были умело упрятаны в подполице. Долгое воздержание от спиртного не пошло на пользу. Игольчиков принялся наворачивать упущенное с нескрываемой жадностью человека, изнуренного долгим безводьем. Пил в подполице втихаря от жены и сынов. Открыв банку с маринованными огурцами, выхватывал закуску пальцами, блаженно хрумкал. Держась за выщербленную стену, шатаясь, брел к топчану, тупо разглядывая репродукции. Ватага волжских бурлаков заметно увеличилась. Вместо одного Серого Волка по стене неслась целая стая. Присутствие в подполице крепких волжских мужиков вносило покой. Первый крутоплечий лямочник озорно подмигивал Крисанфу и клячил шкалик. Расплескивая самогонку, хозяин щедро налил полный стакан, поднес волгарю б у р л а ц к у ю дозу. Стоя перед бурлаками в позе кормчего, заточник подземелья выкрикивал:

бы так. Он наваливался спиной на крест, наклонялся вперед, приподнимался на цыпочки, пытаясь сломить упрямое сопротивление надмогильного знака. «Кто утворил такую пакость? Узнаю – убью. Ружья нет. Патронташ снят... Заживо похоронили, стоя...».

Сеялся дождь-бисерник. Серыми ворохами навис над избами тяжелый туман, плюшил крыши. Стояло много домов с заколоченными ставнями: время поставило на них свой тяжелый дощатый крест. Дектяревка давно распадалась подворно, полудно. Игольчикова радовал такой распад. Пусть сматываются. Спокойнее будет жить, вольно пасти скотину на заброшенных выпасах. Пилить на дрова оставленные постройки.

Остервенело сжав зубы, напружинив тело, сторож принялся изо всей силы раскачивать крест, и он обломился у самой земли. По инерции распятый плюхнулся лицом в скользкую землю осевшей могилки. Пес вновь залился иступленным лаем. С заспинным крестом, оступаясь, сторож поднялся и первым делом хотел поддеть пса сапогом. Размахнулся, но взлайщик увернулся. Забежав со спины, принялся грызть оконечность некрашеного креста.

Верный страж, петляя меж оградок, потопал к магазину. Пришлось идти согбенным, чтобы деревяшка не била по ногам. Осмотрев магазин со всех сторон, не нашел следов разбоя. Ружье, патронташ канули бесследно. Безлюдье дектяревских улиц утешало узника. Возле оврага топорщился бурьян. Зайдя в него, сторож наклонил лицо, зачесался о колкие метелки, сильнее разжигая нестерпимый зуд. Неотступный крест сидел на спине крепко. Крисанф задворками шагал к своей избе.

Зайдя к окну с огорода, нетерпеливо застучал в раму окрестованной рукой. От дождя-сеянца он промок и продрог. Матрена Олеговна придвинулась к стеклу. Углядев за окном грязнолицего незнакомца, испуганно перекрестилась.

– Открывай, Мотря!

Голос скрипучий, замогильный, знакомый. Крисанф развернулся спиной, заторопился к крыльцу. Крест на спине полуночника чуть не лишил Матрену Олеговну сознания. На нетвердых ногах подошла к двери. Сбросила избяной крючок, сенный.

– Тащи нож, режь веревки!

– Крисанфушка, да кто тебя этак-то?

– Не пытай, дура!

Отекшие руки плохо повиновались. Хозяин все же смог расколотить ненавистный крест о стоящие на дворе козла. Обломки швырнул к поленнице – стоят.

Бочка с дождевой водой полнешенька. Освобожденный окунул голову, фыркая, умылся. Безднаказанная мошка испятнала сине-красными подтеками лицо, шею, руки. Страхолюдная, раздобревшая физиономия не вызывала жалости, сочувствия.

– Допился, старый черт! – отчитывала жена, поняв причину раннего возвращения сторожа. – Ружье где?

– Знать бы... Ударил чем-то тяжелым по голове, оглушили.

Матрена Олеговна всплеснула руками:

– Магазин обворовали?

– Нет... на жизнь покушались. Налейка-ка сутревного, колотит всего.

Несколько дней Игольчиков отлеживался в бункере, сославшись на сильные боли в груди. Опухоль от укусов спадала. Страдалец проклинал судьбу, дектяревцев. Не было границ подлому людскому миру. Крисанф не хотел видеть замутненный исток зла, вытекающий из самого себя. Совесть, давно обретенную на ухабах жизни, значительной потерей не считал. И без нее вековать можно. Она не царица, требующая челобитья. Живали и неплохо живали Игольчиковы,

зрачки. Время студило черные волосы, покрывая ранней изморозью седины.

Раньше спасала трудом затворница тайги – Дектяревка. Как было не скорбеть при виде обнищания колхоза. Оказалось, что завзятая стахановка осталась не в сказке – наяву у разбитого корыта. Много сменилось председателей, сулящих райское благоденствие. Из района, области побывала здесь тьма-тьмушая не па х а р е й, не с е я т е л е й. Ретивые циркуляристы торопились с проверками, ревизиями. Заносили покопытно в отчеты весь скот, спешили отбомбиться политинформациями, лекциями и даже... поинтересоваться настроением колхозников. Стряпчие, творцы циркуляров, планов, инструкций заглядывали в свинарник. При Матрене Олеговне можно было по полу в лакированных туфлях пройти, каблочки не запачкать. Приезжие восторгались чистотой клеток, поросячьим уютом, упитанностью щетинистого поголовья.

Изурила колхозная быль. Пожить бы спокойно в пенсионной сказке – не получается. Не выехать из старости на горячих вороных, не оставить позади репейные думы. Старик разгоняет тоску одной маркой вина под двумя кодовыми названиями – КВН и ГДР: Коньяк Выгнанный Ночью и Гоним Дома Родимую. Из подполицы Крисанф подпевает бурлакам: «Э-ээй, дуби-и-нушка, ухне-е-м». И сам с утра до вечера у х а е т. Жутко с ним стало Матрене Олеговне. Принимается выть, рыдать среди ночи, устрашать лешачьим хохотом.

– Смотайся в райцентр, проверься по психопатству.

– Цыть, Мотря! Ты есть моя лично-частная собственность, посему указы мужу не должна давать.

– Ты душу богу готовил, поспешил в услужение черту отдать. Завиноватили с отцом честных людей – вот и отрыгается. Парфен канул в безвестье. Ты винищем залился, страх тушишь. Не открывай подполицу – ядом сивушным прет. Возьму колун, расколочу аппарат.

– Цыть! За него деньги большие плачены. Змеевик из нержавеющейки. Зимник откроется, ко мне шофера зачастят, кэвэ-энчик покупать станут. Мой первач государственную водяру на лопатки кладет: дешевле и градуснее. Парни с трассы говорят: выпьем с устатку, утром ник-какого башколома. Вот так вот. А ты: аппарат порушу. Через него голимые денежки текут. Поживи-ка на пенсию.

– Запах на улице от твоей бурды такой, что ухмеленные вороны и сороки боком летают.

– Птицы обойдутся, лишь бы людишки не унюхали. Мы живем в сторонке. Ветер скоренько запах разносит. Несколько раз я под лесные пожары гнал. Дымище – никакую бурду не унюхаешь. Жалко, что нынче тайга горит не в нашей стороне.

– Давай сыновьям пошлем рублей двести.

– Обойдутся. Недавно сотню шурнули.

– Просят ведь.

– У птенцов всегда рты раззявлены: вали птичка-мать жучков-червячков. Расповалили апостолов. Им и тыщу пошли – мало.

– Город, расходы.

– Ехали бы домой на каникулы, сено поставить помогли. Собрались прокатиться по Чуйскому тракту. Землю им повидавать захотелось. Чего ее разглядывать? Земля везде земля: из песка, суглинка да червей состоит.

– Пошли из моих денег.

– Твои, мои... миллионщица какая!

– Скуп ты, старик, ох скуп.

– Скупость не глупость... Почеси под левой лопаткой... тише, тише! Когти выпустила тигрица.

– Хватило бы у меня силы, сгребла тебя и на помойку выбросила.

– Такие мужики, как я, долго валяться не будут. Кто-нибудь подберет.

5

Приходила в упадок нарымская деревня. Скорбела душа Матрены Олеговны. Знала: мучение оборвет смерть. Скоро она станет дозорить, маячить перед глазами, стеречь свою новую жертву. Смерть зачислит в многолюдный земной приход скромную прихожанку. За всю жизнь Христос и Трое-ручица даже шепотком не подали из угла ни одного совета. Вечное молчание икон учило терпению, покорности. Было поздно что-то менять в судьбе.

В одну из ранних дружных весен вода расшевелила фундамент. Угол избы, на котором уныло повисал по праздникам флаг, просел. В подполице между плахами и верхом бетонной стены образовалась большая щель: крысы стали обживать давно отторгнутую территорию. С писком, прискоком носились по бункеру, подбирая под столиком объедки, оброненные во время уединенного пиршества хозяина.

Управясь по хозяйству, Матрена Олеговна садилась на завалинку, подолгу глядела на закатное солнце. День еще был в силе, обилие света не предвещало скорых сумерек. Вода из лягушечьей канавы выплеснулась через край, раскатилась по кочкастой согре и плавилась под смирными лучами начищенным серебром. В затопленных половодьем кустах крикали утки. С реки доносился шум теплоходного дизеля. Над землей стояло роскошно-царственное предвечерье. Дворовый пес в ошейнике, наслаждаясь отсутствием надоевшей цепи, шлепал по лужам, распугивая куликов. Из-под лап разлетались светлячки брызг, в сторону солнца ветерком относил золотую водяную зернь.

До недавнего времени изменчивая природа была для Матрены Олеговны декорацией жизни. И вот на склоне лет явилось недостижимое ранее чувство, заставило подумать об уходящем времени с пронзительной печалью. Прозре-

выруба, Матрена Олеговна видела оживленный сосновый молодняк, вспоминала тягостный зимний лесоповал. Пилила, ворочала бревна – откуда силы брались? Теперь посидит на стульчике, подоит корову – немеет поясница. Подолгу растирает ее тройным одеколоном, парит в бане простуженное тело – проку мало.

В лесном уединении давала волю слезам. Отлитые в глубине души, они недолго искали выхода. Это был успокоительный, безмолвный плач по самой себе, по найденной любви и отмершим годам. К ней ластился ветер. Понимающий лес торопился прошелестеть ветвями, подтвердить истину об исцеляющей силе природы. Срывая плоские стебли дикого лука, сборщица вскоре освещала мрак мыслей улыбкой. Кивала солнышку, задерживалась взором на куполах кедров. Лес помогал погасить слезную печаль. Подсвистывала синицам, бурундукам. Наблюдала за суетливыми, короткохвостыми поползнями. Навевая дрему, шумел бор. Он казался одиноким на всем белом свете и не отпуская от себя ни на шаг навечно принадлежащее ему солнце.

До прошлого года у Крисанфа имелась дюралевая лодка с подвесным мотором. «Ветерок» утопили. Днище дюралки просекли пожарным топором, снятым с магазинной доски. Красный, зубчатый инструмент воткнули в песок. На топорище болталась береста со словами «п о п о м н и , г а д !». Возместив убытки по страховке, Игольчиков не заводил новую лодку. На рыбалку, охоту редко выезжал, боясь появляться далеко от деревни. В милицию не обращался, хотя там были знакомцы. Боялся: начини волокиту с украденным ружьем, исчезнувшим мотором, порубленной лодкой – вскроется далекое сфабрикованное дело. Зря, что ли, приезжал напуганный Илья Абрамыч. Тоже, поди, играет о ч к о , лишают покоя старые несмываемые грехи.

следил взглядом за листом-оторвышем. Губы его плотно сомкнулись, правая щека судорожно дернулась. Возможно, вспомнил боец, как и его крутила, терла далекая война в огненном смерче атак. Многие фронтовые друзья навек побратались с землей. Кто со своей, отеческой. Кто остался лежать в иноземье в братских и одиночных могилах.

Васюган бережливо несет свое сокровище болотных и лесных вод. Зародился в далеком верховье из ручьев и родников, подпитывается на бегу малыми речками. Васюгану помогают болота, снега и дожди, поэтому не обессиливают струи. Река перегоняет с места на место пески, подпиливает яры, по забывчивости оставляет на протяженном пути изогнутые старицы, протачивает новое русло. Вода не оставляет в покое и авдотьевский берег. Откалывает глыбу за глыбой, осаждает с луговой стороны, подступаясь по легким низинным местам.

Неторопливо идем по сыпучему песку, излучающему тепло. Редкие стрижи совершают надводный облет. Тереша бодр, словно собрался на парад. Никогда не замечал уныния на суховатом загорелом лице. Морщин на нем мало, им трудно осилить тугую кожу в редкой россыпи полуистлевших веснушек.

– Чин у меня на войне был высокий – солдат, – улыбнулся попутчик. – Другим лычки и звезды на погоны падали, но завидки нисколько не брали. Пули отличий не признают. Захотят впиться – вопьются, на звезды не посмотрят. На фронте моей «святой троицей» были винтовка, саперная лопата и ложка. По отдельности каждая нужна, как в доме баба. И отстреливаться, и окапываться, и есть – на все случаи военной жизни пригодны.

Под Москвой стали нас определять: кого в пехоту, кого в обозники, кого в саперы. Прознали, что я на реке родился, лес по Васюгану сплавливал, плоты вязал, говорят: «Найденков,

– Законный должок с Дорофея слупил. Не отдал при жизни – вертай при смерти. Буду рублями разбрасываться.

– Другие мужики в сырых окопах войны насиделись. Полуоглохли, обконтужены, с прострелами пулевыми. Ты и от войны отвертелся.

– Знаю: тебе шибко хотелось солдаткой остаться, подолом без меня трясти. Вот тебе бабья воля! – Крисанф протягивает на всю вытяжку грозную руку. Прицокивая языком, вертит пунцовой фигой. – Я и сам хлеб маслом смажу да на тебя слажу.

– Сердце из тебя вынуто. Б е р е ч и ко мне нет. Думаешь: живет при дворе скотница-работница и ладно. У тебя к поросеночку больше нежности. Чешешь выпороска за ушами, хрюкаешься с ним. Я устаю – тела не чую. Ноги кладу на подушку, голову на полено.

– Выпей, сгони усталь.

– Глуши один.

– Ох, хитрая баба! У тебя тут свой дальний расчет: пей, муж, подохнул бы уж. Назло тебя переживу. Тоже во вдовцах походить хотца. Бабка Адамиха не совсем усохла. Посватаюсь – отказа не будет. Она еще мешок картошки взвалит на правое плечо да лихо через левое сплюнет. Ворчать, Мотря, много стала. Коли приказала родная бабушка жить по домострою – не фордыбачься. Земля сама разведет, без сельсовета, без печати.

Задумался, почесал брюхо.

– Мотря, Мотря, чего мы зубатимся всю жизнь? Тиф пережили. Всю тяготу налогов снесли. В бараках на лесоповале нажились. Помнишь, сколько там было хлопоты да блохоты?! Если бы тятю мово на войну не шурнули – в человеки большие мог выйти. Вот и приходилось пресмыкаться перед каждым налоговым инспектором, шапку ломать перед милицией

кошунство последнего судного дня. Господи, отдали тот роковой росчерк над гранью небытия.

Виток за витком перебирает Крисанф в прыгающей памяти длинную ухабистую жизнь. Иногда она представляется ему сплошными потемками без проблесков солнца, света луны и мерцания звезд. Самому не хочется приравнивать жизнь к смерти, но от деревенцев не раз перепалал такой упрек:

– Ты, Крисанф, мертвец мертвеца. Затворничаешь, задворничаешь. Одним словом – н е л ю д ь.

– Тоже мне – человеки нашлись! – обмозговав сказанное, отбояривался старик. – Колхоз запустили – зачичиревел весь. Из долгов выпарапаться не можете. Коровенки зачумленные. Они мочи больше выливают, чем молока... Дурни сиволапые!

Мужики не отступались:

– Ты случайно пятку гвоздем не проколи – душу выпустишь, не поймает. Нарыл под избой окопы, отсиживаешься.

– Полетят с ракетных баз головочки боевые – ко мне спастись прибежите. Крещеных пушу. Некрещеные пусть на улке ядами дышат.

– Сиди, сиди, заложник, жди судного дня.

6

С Игольчиковыми меня свела судьба во время первого путешествия по зимнику. Трубовоз ушел дальше, я остался пожить в умирающей Дектяревке. Словоохотливая Матрена Олеговна часами рассказывала мне про свою горестную жизнь. Делилась воспоминаниями о колхозе.

– Седьмой председатель был у нас невыборный, его райком в т и с к а л. Ходил в галифе, рубаха-сталинка с накладными карманами. Из каждого кармана авторучки торчат. Имя ему было Порфирий. Мы его перекрестили: Портфель

пойдешь переправы делать». Козырнул, согласился. Приказ строже указа.

Недавно Славушка про одолень-траву рассказывала, про нашепты спасительные. Верит она в них крепко. Ее веру не разбиваю, не смеюсь. Мои ребята-одноротники крестики носили, талисманы, ладанки. Молились в окопах, богородицу-заступницу на помощь призывали. Все равно гибли от бомбежек, шальных осколков. Никто в родню сырой земле не напрашивался. Всех живых она сама любит-голубит. До мертвых ей одно дело – в себе сокрыть, упокой дать вечный.

До войны дальше васюганских окрестных мест нигде не бывал. Поташил паровоз по России – диво взяло. Неуж все наше, все отеческое? Экие просторищи! Вот, думаю, там, за прижимной чертой неба Москва покажется, но только Урал широко открылся. За горами степи. За степями луга. Холмы поднимаются, курганы, похожие на шлемы, словно русская земля окликнула свою рать, тоже походом на врага собирается.

На запад торопились люди и паровозы. На открытых платформах – зачехленные орудия. В нашей теплушке вместе с необстрелянными новобранцами ехали дяди, знающие пороховую быль Первой мировой войны. Они твердо помнили солдатский устав, как имена своих братьев и сестер. Первобранцы впитывали в ум и сердце каждое их слово. Они воевали и выжили, значит, не один случай берег их на войне.

Мы присели на сосновое бревно в тени густых тальников. В нескольких метрах от нас неторопливо и уверенно шел к Оби Васюган. Он не беспокоился ни о длительности пути, ни о его искривленности. Берега не были для реки лабиринтом. Извертится Васюган, перечтет все плесы, точнехонько выйдет к раздолью обской воды. Сильно и напористо подопрет левый бок широкой реки. Перемешивая с ней свои тем-

кто в войну твой ты л о х р а н и т е л ь был. Почему от фронта отвертелся?

– Зубы, Мотря, не заговаривай – не ноют. Я тебе про Фому, ты про Ерему. Мы в колхозе победу делали, силами истекали.

– Кончай пить, у тебя уже морда брызнуть хочет. Силами он истекал! У весов да у магазина стоял. Кто-кто, а вот я всю войну до ниточки помню. Она недаром далась. С утра до ночи пот в очи. До сей поры тыл отрыгается – здоровьишко никудышное. Я, Крисанф, ловчить не умела, как ты. Век прожил по морской бухгалтерии: мне, тебе – и концы в воду.

– В землю все равно всех пустят. Грешников, праведников одни черви кушать станут.

– Тебе охота побыть волком, да мешает собачий хвост. Не весь язык износил на собраниях. Молод, молод беспрестанно. Такую идейшину наводил – артельцы головы в плечи прятали.

– К этой жизни, Мотря, надо примудриться. Где словом, где кулаком, где рублем путь себе прочишай. Не жди, когда за тебя столица заступится. Пока идет в верхах драчка за шапку Мономаха, что нам, рабам божьим, остается делать? Жить своим умом. У многих он давно не свой – купленный по дешевке. Верно: на сходках я речист был. Перед собранием меня проштурмует партийный секретарь: говори то-то и то-то, с колеи речи никуда не сворачивай. А я свернуть норовлю в кювет и крою всех без разбору... Толковый был у нас послевоенный председатель, да шибко раздумистый. Глядит, бывалочи, в одну точку, никого вокруг себя не видит. Какие-то тяжелые думы точили. Завел у себя дома патефон и под музыку бритвой зарезался. Хмельного почти совсем в рот не брал. На общих артельных гулянках поднесет стаканчик к усам – покоробится весь от отвращения.

– Ты бы хоть раз покоробился.

плавками. Крисанф даже не стал обламывать хворостину о кобыльи бока. Спокойно вылил из кузова мочу, прополоскал в протоке шаньги, огурцы, картошку, луковые перья. Подсушив на солнце, не морщась, ужевывал подмоченный обед.

Почти до коренного снега выгонял пастись на отаву пестробокую корову. Ее давно мучили ревматические боли, похрустывали в суставах скрюченные ноги. Корова переживала на пастьбе тягостное предзимье, распахивала мордой рыхлый снег и щипала мерзлую, зуболомную траву.

У других деревенцев много добра принажито было – все куда-то прахом разлетелось. Игольчиков держал и хранил добро ретиво. Единожды взяв его на притужальник, не выпускал из рук. Деловито говорил жене:

– Мы с тобой нового держимся и старого не оставляем. Сила ломит и камыш. Деньги расправляют спину. Не уча в попы не ставят. Не умеючи и деньги не повернешь ко двору.

– Миллионщик, к чему тебе деньги? Бывает язва желудка, ты язвой кубышки болеешь. Свозил меня хоть раз на курорт? Страсть море Черное поглядеть хотелось. Заикнусь о юге, ты счета в руки и вычисляешь расходы. От крупной цифры даже позеленеешь.

– На юг захотела, дама пиковая! На меня свиньи. На меня корова. На меня огород. Шалишь, Мотря! Здесь ты под надзором. Подолом схлопать не дам.

– Ты от безверья в людей совсем оборзел. Не живешь – киснешь.

– Ниче, простокваша – тоже пища.

Не слушает Матрена Олеговна старика. Смотрит в мою сторону, поправляет под платком пружинистую прядку седины.

– Есть, Вина-мин, воля, будет и долюшка. Сам знаешь: жизнь – дорога не наезженная. Тори путь-дорогу да богу иконному кивай. Знаю: он и пальцем не пошевелит, не за-

ные струи, оставит видимую, четкую полосу слияния. Граница двух вод, двух нарымских рек.

За четыре года, отнятых фашистами у людей и мира, сапер Найденов насмотрелся множество крупных и мизерных рек. Тонул в Волге, налаживал переправы через Дон, форсировал Одер и Вислу. А сколько просверкало перед глазами безымянных речек. Воды в них – танку по грудь. Но приходилось преодолевать и такие мелкие преграды, отторгая врага, отбивая у него пядь за пядью.

– Был в нашей роте шуплый солдат Ганя Бивин. Сух, костист, но силенка водилась. Сожмет пальцами руку – не всякий вырвет. Плотничал до войны, коровники на рязанщине строил. Не знаю, когда его жизнь с грустью повенчала. Даже у солдатского котелка с кашей парень-горюн кручинился. Окопы рыл вяло, неохотно. Говорил: прячясь не прячясь от снарядов – и в траншеях найдут. Мы укрепляли в себе веру в братство, в силу оружия. Он уверовал в скорую свою кончину. Брюзжал о смерти. Не раз его грубо обрывали, заставляли молчать. Замолкал, но лицо выдавало душевное смятение и страх перед близкими боями.

Многие просили ротного командира убрать Бивина подальше от подразделения. Определить в обозники, фуражиры, каптенармусы. Куда угодно, лишь бы не видеть его постное лицо, не слышать нудных, расслабляющих дух речей.

– Ганя, очнись! – внушал я ему. – Все по дому, по родным печалются. У каждого нервы на пределе, но рваться не должны, как перетянутые балалаечные струны.

Не знаю почему, выделил я из всех одноротников этого деревенского плотника. Прощал его. Одергивал зубоскалов, рьяно костеривших солдата. На мое сочувствие Ганя откликнулся быстро. Подсел ко мне на привале, кисет протянул:

– Закури, Терентий, моего самосадного табачку.

Свернули по козьей ножке, дымим. Слышим из-за спин

ступится за тебя. Всегда свой пуп на подмогу приходит. Недаром его от рождения потуже ниткой перевязывают. Крепись, пупок, не развяжись... Вот вспомнила о своем старшем брате. Он в конце января родился и назвали его по именинному календарю Гавриилом. В бийской округе он славился: толковым глиновщиком-кирпичником был. Маленькая была, а помню: сидит б и т е ц на скамье, набивает глиновое тесто в станок, выравнивает оструганной дощечкой. После кирпич опрокидывался из станка, сушился, ставился на ребро и шел в обжиг. По глинам Гавриил был большой у ш л е ц. Пресные, кислые, валяльные, сукновальные – все определял на ощупь, на понюх, на язык. Знал глины, удаляющие жир из шерсти, идущие на краски. Особо ценил мастер кирпичную глину – кирпичевку. Яму-глинище огораживал от скота, навес наводил, чтобы ни листва, ни хвоя не залетали.

Глаза у брата были редкого цвета – тестовые, будто пару галушек в глазницы спрятал. Печи клал – заглядение. За первый пробный протоп выпивал четвертинку. Пока прокалялись жаровые ходы в новой печке, начинал прокаляться и нос печника. Гудит поддувало. Подгуживают широкие Гавриилы ноздри... Эх, времечко молодое, дальнее! Полыхнуло огнем и нет его.

Упился Крисанф Парфеныч, тыкает вилкой в неочищенное яйцо, оно отпрыгивает. Мычит песню. На губах пузырится пена. Икотня напала на старика.

– Вот такая п а д у ч а я часто на него валится. Пристукнула бы дьявола, да за решетку под самую смерть идти неохота.

Свалился со стула хозяин, на четвереньках пополз к кровати.

– Хоть сам доставляется до постели и то благодать. Микроб – не человек. Его рано стало манить на выпивку. Ходит-бродит присутуленный, с опаской по сторонам озира-

ется. Если совесть чиста, зачем каждого куста, каждого стука в дверь бояться? Бессонницей мается. Я ему по стакану ромашкового настоя выпаивала, мед в молоке растворяла. Пил – слабо помогало. С вечера всхрапнет, ночью проснется с криком, начнет по избе шастать, ухо к окошку подставлять. Ходики остановит, чтобы заизбяную тишину лучше слушать. Как тать перебирается крадом от окна к окну, сопит от волнения. Мне ажно жутко делается. Думаю: вот доловчился в жизни, доподличал. И сон несладок, и людям гадок.

С позапрошлого года зрение мое шибко падать стало. Надо по речке повдоль обласок вести – поперек шпарю. Принялась репейный корень пить, табачок ноздрами швыркать. Стою этак под вечер у ворот, вижу – фигура встречу движется. Не пойму, не нашенский, не дектяревский вроде. Вплоть подошел. Усмотрела: шрам по щеке и хрящи вздулись на переносице. Спрашивает незнакомец: «Ты баба Игольчикова?». Говорю: «Я». – «Сам дома?» – «На рыбалку уехал». Соврала, он в подполище отсиживался. Цыкнул мужик по-блатному слюной сквозь зубы и ошарашил словами: «Передай подлюге, что за ним с тридцать седьмого доносного года должок крупный числится... придем за ним». Оскалил вставные зубы,дохнул перегаром и моряцкой походкой прочь пошел.

Доковыляла до скамейки, ноги подкосились. Еле удержалась на доске. Экая напасть – второй напуг с весны. Вода в тот год по согре под калитку подходила. Коровенку на пастьбу огородами отправляла – улица залита была. Угнала ее на бугор, вернулась, глянула за штaketник – ой, боже! Грузный у т о п е ц торкается башкой в калитку. Так и села наземь с напуга. Крисанф в окно выглянул. Помаячила ему. Подошел, глянул за калитку, обматерился, за багром побежал. Отпихнул несчастного, перекрестился. «Где-нибудь изловят, а то по милициям затаскают: как да что». – «Негоже, – говорю, – так с христианином поступать. Хоть он и мертвец, а все человек.

Большой грех на душу берем». – «Грехом больше, грехом меньше – кто считать будет».

Выхватила у старика багор, успела причалить утопца. Пусть власти разбираются. Не мы же его в весеннюю воду окунули... Ноченьку напролет глаз не сомкнула – речной горемыка грезился. Старик лежит, курит, рассуждает: «Здря с утопленника меховую куртку не сняли. Зачем теперь она ему? Мне сгодится». Ну, не пес ли мой гнусарь? Таких иродов и свет не видел. Поцелует – полиняешь враз... У меня, Вина-мин, часто стали грудя болеть: хакаю, надсаду глушу. Все стало пожилое – голос и сердце. На каждый год жизни, как на штурм иду. Одно утешение – дети. За них никогда не моргала, позор не несла. До большого ума их не довела, но оба сыты, обуты, по тюрьмам не околачиваются.

Сейчас мало стариками живут – шустро земля прибирает. Мы вот умудрились как-то, живем, век чужой заедаем. В Дектяревке пенсионеров мало. Раньше дворы плотные стояли, деды крепкими были, хотя царских войн хватили и советских тоже. Поредели дворы. Не слышать детворы. Деревне давно кровя пустили. За что – непонятно. Колосьями на отеческом гербе народ не накормишь. Их подавай живыми, годными для размола.

С замужества попала я под статью горя. Мне бы плюнуть на бабкины бытейские поучения, не идти без любви за прижимистого ухажера. Бабка и мать в голос: ступай, дура, про телячьи нежности разговор не веدي. Будет хлеб печливый да хлев мычливый – явится и любовь. Двор у Игольчиковых скотиной кишел. Кошевка новая. Телеги крепкие. Избе век стоять. И вот настигла меня судьба. Хожу по двору, горюнюсь. Часто не ведаю, чем за столом обедаю. Муж притронется в постели – током ударит. Люди в нужде да не во вражде живут. Я сыта, а жизнь крутенькая идет. Крисанф меня не раз под ружье ставил, по-свойски воспитывал. Покажет заряженный

патрон, впихнет в ствол и курок на взвод. Стою под мушкой и ни п у ж и н к и в глазах и в теле. Стреляй, говорю, мне все едино. Кого закон теснит, кого тоска. Мне она грудя до сих пор давит.

Попужает Крисанф ружьем, рухнется мне в ноги, сухим рыданием разразится. Вижу: моя взяла. Еще большую силу в себе чую. К вечеру после работ нальется по ноздри перегонкой, примется посуду в избе р а з и т ь. Осколки к потолку летят, по иконам хлещут. Подхмелевший свекор наущает сына: «Ты ее, мокрошелку, уздою отволтузу, да что б удила по спине походили».

Шваркну дверью, заберусь на сеновал и обдумываю горькое житье. Легко далась горю в руки, потакала судьбе. Муж копеечку таит, к себе поджигает. Я черепки после его буйства подметаю. Свекор со свекровкой меня пилят. Живу с глазами навывкат, будто иголку проглотила. Я маленькой любила ногти грызть. Для отвадки матушка их горчицей мазала. Слижу, прошу: намажь еще. Тянуло на горькое, вот и житуха такой получилась, словно горчицу с ногтей до сих пор слизываю. Сейчас одно осталось: в могилу путно собраться.

Глядишь на другие семьи – завидки берут. Свраждуются – помиряются, дальше полюбовно живут. Поживи-ка с вечным бунтом в душе, во вражде вечной. Присяду днем на кровать и понять не могу – сон ли полуденный наваливается или смертушка морить начинает. Закачает всю, как в обласке, когда на в а л ь н о е место реки выезжаешь. Чую – сердце сдает. Натрудилась у Игольчиковых, за рабу жила. Две лошади. Две коровы. Свиньи. Овцы. Куры. У Парфена до раскулачки меньше было. Лягу за полночь, встану до утра. Сон на корню подрезала.

В деревне правду трудно обкрасть: за донос пустили в наше подворье красного петуха. Откукарекал – пришло обнищание. Тут война накатила. День не едим. Два не едим.

Неделю погодим, опять не едим. Песен мало слышно – разговоров про нужду да про хлеб хватало. Парфен с первопризывом на фронт ушел. Мой остался кладовщикать. Бабы завидуют: муж при тебе, при постели. Сами бубнят под нос: «Ох, спасибо комару, что пощупал поутру...».

Теперь отоспаться бы за все недосыпы, да спина гудит – ноет по ночам. Д ю ж к а я была – свечой огорела. Прошу старушек: похороните меня с причетом, оплачьте по-христиански мою жизнь. Плохо – вопленицы толковые перевелись. На наше поречье славилась бабушка Акилина. Начнет вопить по умерцу – из любых глаз слезу выжмет. В кровь лицо расцарапает, душу наружу вывернет. Она не играла горе, она разделяла его.

– В город к сыновьям не тянет?

– Э-э-э, паря, не по моему рылу корыто. Ездил, пожила. Канитель одна. Машины шмелями выются, гудят, шипят колесами, аки змеи-горынычи. Шла, задумалась о деревне – мотоцикл стукнул. Прелые кости год срастались. Павел под небом живет – на вершине дома. Этажный бегун... упомнить никак не могу...

– Лифт,

– ...Вот-вот, он самый есть. Этажный бегун дрянно возит. С первого этажа по часу до квартиры доползала. Задышка в городе давит, грудя шибче ломит. Упросила Павла: свози на кладбище, погляжу могилки. Увидала, ахнула: целый бор крестов и оградок. Тесненько лежат мертвецы, гроб в гроб. Вернулась до избы, до реки. Пусть лучше в деревне смерть сморит. Земли на кладбище вволю, хоть десятину занимай. Честно жила, честно погребение приму. Всех в деревне умолила: не вздумайте нас со стариком рядышком похоронить. Я никому не подсобляла упекать людей в земли туруханские. Бабушка крепко внушила: совестью дорожи, как мерой ржи в голодный год. Честью дорожи втройне. Ее мужа на Алтае в

тюрьму упекли: уряднику возле питейного дома скулу своротил. Женщине без мужика – нужда великая. Год одна, другой одна. В грудях *напруга*, бунтует плоть, свое просит. Нарезала бабушка крапивы, давай себя наяривать в бане злым веником. Тело горит, зато бабья *потреба* потухла. Каждую баню крапивой хлесталась и другому не досталась. Это нынче всякой *шлюх* ни хоть пруд пруди. Ходят по городу сикалки, сигареты в зубах, глаза – блудли-и-ивые... этим до венца с честью не прийти.

По детству мне пришлось в бедности жить. Росла голода голодой. Сиротство молчанию учит, нищета мудрости. Азбука бедности коротка, уму дается скоро. Оборотливый мужик Крисанф держал меня рублем, точно крючком самоловным. Ворчала: не хочу быть *хожанкой* за тобой, обстирывать, поломойничать. Ворчу, сама все правлю: баню топлю, за скотиной приглядываю, огород веду.

Честняком скажу тебе, Вина-мин: не ценю старика ни в грош. Трусливый. Злой. Ехидный. Подопьет, залезет на крышу и поет в трубу матерные песни. Сшибся с вином, мало мне помогает. Нервами я давно ослабела. Сердце поненормальному тюкает. Хотели в районную больницу положить – отбоярилась. В нашу лечебницу с одной болезнью ляжешь, с тремя выйдешь. Бабушка по врачам не ходила, без малого девяносто прожила.

Выпивать надо в удобное для души время, мой черт лупит перегонку в любой час. Не раз белой горячкой загорался. Пыталась отбить его от вина. Настригла собачьих когтей в водку. Две недели настаивала. Стал томиться поутру, на опохмелку просить – набулькала стакан. Понюхал, лизнул водку и стеклянное донышко потолку показал. Вдруг шарахнулся на четвереньки, оглашенно загавкал, завыл по-собачьи. Струхнула сперва. Думала: порешила мужика. Он, ехидна, провылся, сел за стол и просит: наплеши еще собачьей когтевочки,

хороша шибко... Соседка выдала секрет про мое лекарство, вот и разыграл меня.

– Подействовала настойка?

– И-и-и, – безнадежно махнула рукой Матрена Олеговна, – пуще прежнего жрать стал. Ошабанит бутылку – мордень заалеет. Его могила отрезвит. Науськалась я с ним за жизнь. Раздумаюсь иногда – не опоил ли он меня чем. Можно на душу порчу навести, без аркана связан будешь, от дурного человека не уйдешь. Заговаривал же Крисанф медведя. Встретил на ягодах, залопотал: «Иди, мишенька, своей дорогой, расти деток... нет нужды тебя трогать... мясо в магазине есть, опять же потроха разные продают, ноги на студень... ступай, мишенька, ступай, родной...». Бормочет, бормочет и отведет косолапого.

7

Торопилась Матрена Олеговна выплакаться сердцем, поведать о горестях, о полувеке совместной жизни, прожитой без любви. Представил я хаотическое нагромождение тревожных лет – сделалось жутко. Великое смирение и терпение выпало на ее долю. Одним колдовством и чародейством не задурманить такую натуру. Существование Матрены Олеговны выходило за грань простого понимания обыденной жизни. Она сотворила для себя обособленный, замкнутый мир, прожила в нем, как в долгом неразгаданном сне. Мучительно жить, когда все у супругов порознь: души, постели, кошельки.

Пыталась оставить при колхозе сынов. Внушала: «Чего ездить с места на место, ремками трясти. Колбасных оград нигде нету, манна небесная давно ссыпалась. Везде работать надо». Дети скрадывали ее одиночество. И это порушено, отдалено сотнями верст. Долги нарымские зимы, вьюжливы.

собирали, живицу заготавливали. Всем бабонькам говорила: русский мужик покажиться, разлупит немчуру. Не впервой ему врага тузить. По-моему вышло.

– Дотрудилась, стахановка, – ехидно просипел старик, – пенсию дали внатруску.

– Оно так, – подтвердила Матрена Олеговна. – За наш доблестный труд совсем недоблестные деньги вырешили. Кто по кабинетам сидел, речи бухал – персональные пенсионеры получают. Повидали мы в колхозе много всякой наезжей шелупони. Всех толкачей не упомянуть. На каждую борозду по чину выходило. Пашем – глядят. Литовками машем – тоже глядят со стороны, словно прокосы считают. На сев приезжал к нам из района некто Гришухин. Брови усами торчат, скулы гладкие, ремень брюхо теснит. Председатель колхоза семенит за ним, ждет команду, когда зерна в землю пихать. Поля – сырь сырью. Гришухин командует: «Вперед!». Пахари ворчат, он на них: молчать!.. Ничего. Отсеялись в грязь. Всходы жидкие, бугры плешивые. Закрома по осени не трещали. Зерна нету и виновных не сыщешь.

Безучастно слушал Крисанф старушку, чесал под клетчатой байковой рубахой грудь. Протараторил раздельно и веско:

– Почему она корова? Потому что вымя. Почему ты человек? Потому что имя.

Он увлекался импровизацией. Сидит-сидит да и выпалит:

– Летели утки-гоголи, у нас немного побыли... Пей больше чая, вода всегда дверочку найдет.

– Не скрипи, гнусарь, тошно. Господи, упокой мою душу, избавь от лешего.

– В технички к богу пойдешь? Иди. Он нуждается в прихожанах.

– Если у черта полвека поломойничала, богу рада век по-

служить. Встретила бы боженьку – о б р а д е л а. Жизнь свою горькую обсказала бы ему, как с тобой под пригрозой жила-мучилась. С девок осерженная стала, не могу у м и р и т ь с я душой... Н е п у т ь ты, ох непуть!

– Я зашел в ресторанчик, чеколдыкнул стаканчик... это полное счастье мое.

– Видишь, Вина-мин, какой мой издеватель. Жизнь наша под смерть все к х у ж е м у идет. Онаглед он совсем, лакает перегонку да в бетонине отлеживается.

– Кончай, Мотря, плакаться, перед человеком неудобно. Сыта, одета, обута – чего еще?

– Гольшимя не хожу. На брюхе шелк и в брюхе не шелк. Постылая, несуразная наша жизнь покою не дает.

– Сдохну поперед тебя, нарадуешься, двовухой поживешь.

– До ста доскрипишь. Че тебе с такой харей сделается?!

– Че-че? Я колхозную магазю охранял, на сквознях настоялся.

– Н ы т л и в ы й ты старик. Ты еще вон какой крепкий – в тебя гвоздь не вколотишь. Это я испростыла-изработалась. Иду в свинарник – темь, бреду домой – темь.

– ...У нашего свата соломенная хата. Дров ни полена, вина по колено.

– Этакое чучело! Мое сердце будто собаки рвут, старику все нипочем. Я руки выломала на работах. Он глотку залудил от вина... У других бабенки-распущенницы, я этому псу верно-преданной была и он не ценит.

– В сорок седьмом не ты ли с колхозным председателем шухарила?

– Типун тебе на язык. Надо бы такому дьяволу рога приделать, заслужил...

Такая словесная перестрелка длилась подолгу. В моем присутствии Матрена Олеговна начинала п у л я т ь в Кри-

санфа заряды обидных слов. Высказывала давнее, наболевшее, натовившее терпеливую душу. Верю каждому ее слову. От них веет горьким дымом жизни, тоской по невозвратному прошлому. Ее слезы выливались непрошено, словно жили сами по себе. Сама по себе жила и ее душа, обузданная хватким мужиком, житейскими обстоятельствами, сдвоенная той страшной повседневщиной жизни, которая отягощается грузной, несбрасываемой ношей.

Игольчиков курил, подмешивая в махорку сушеную мяту. Жена вела с ним бесполезную долголетнюю войну. Упрямец смолил самокрутки, не уменьшая толщины и частоты закурок. Летом курил на крыльце, присев рядом с дымокурным ведерком. Чадили, исходили дымом гнилушки, отпугивая гнус. Исходил махорочным чадом Крисанф. Струи, вылетаемые из его прокопченных раздутых ноздрей, часто посрамляли голубоватой массой жиденькие струйки дымокура.

Из-за дороговизны сигарет и папирос старик давно отказался от фабричных табачных изделий. Оптом закупил в магазине объемистый фанерный ящик махры, дымил всласть, окуривая стены избы и забетонированное укрытие. Когда не топилась печь, открывал вьюшку, садился возле распахнутой печной дверцы: гнал дымище в трубу.

Травмированный животным страхом Крисанф временами пугался безобидной, ущемленной судьбой хозяйки дома. В ее глазах не раз улавливал блики злобы и отвращения. Накрывая стол, Матрена Олеговна иногда с негодованием стукала перед стариком чашкой. Многолетний протест жены, ропот униженной души сковывал уста старика, обезоруживал, умирал крутой нрав. Ловкий, хитрый лис знал, когда можно хохотать до боли в скулах, изголяться над жертвой, когда сидеть со стиснутыми зубами, играть в вынужденную молчанку. Он научился различать грани характера верно-подданной Мотри. С годами ему недоставало решимости

Жена на пудру, на духи денег просит, он: погоди со своей пудрой, нечего кожу зря ублажать... Ушла от него первая. Вторую взял. Петр – тот пока один мается. Че одному под небом жить. Холостой – мужик пустой. Зря дети отрешились от колхоза, деревню бросили. Оторвыши – одним словом. Приедут в гости детки, подгуляют с отцом и как с ножом к горлу: «Ты нас, батя, по завещанию не обдели». Базлает старик: «Все отпишу – и дом, и деньги». Меня будто совсем нет.

Давно плесенью от старика несет. Скорее бы в домовину от него упрятаться. Беды настигают живущих. В загробном царстве им не подступиться к человеку. Всегда так бывает: кому-то хорошо живется, кому-то горько плачется. Век мой состарился, край приблизился... ничего путного не жду. Надоело стариковские рубашки-перемывашки стирать. В дом старчества собиралась идти – соседка отговорила. В городе боли головные насаждают, грудя давит. Воздух там протухлый – дышать не могу.

Про меня в деревне говорили: Матрена робит – жилы хрипят. Кули с зерном таскала – откуда силы брались. Уйдешь в поле лен дергать, снопы ставить – почти без расклону трудодень добываешь. Хлеб пололи: осот, жабрей, молочай рученьки терзали. Потому и у м е л ы е были наши хлеба – без сорняков. Как есть весь день на трудах. Придешь вечером, обиход по дому надо вести, со своей скотиной управляться. Тут мужик теребит: дай выпить. Я, бывалочи, так запрячу его перегонку – со служебной собакой не найдешь. Старик упадет муха в чай – выльет. В вино хоть мышь посади – выглушит, не выплеснет. Я ведь тоже не совсем супротив хмельного. Медовушку любила попить. Она ведь из медка, а медок собирала пчелка – божья работница. Моему стахановцу по выпивке любую холеру налей – выжрет. Напьется, скрипит зубами, словно кость разгрызает. Сон отрезвит, старачит на меня глаза, матюкать начинает. Ну и пошла у нас с х л е с т -

на барщине жилы не рвали, как на сталинской артельщине. Поперечить председателю, любому наезжему начальству из района нельзя. Иной раз простынешь, всю ночь горлом п р о б у х ы к а е ш ь, утром все равно на ферму беги, коровенок полуживых на молоко настраивай, чухню корми. В тридцатом году так тащили крестьян в колхоз – рукава обрывали. Красные у б е ж д а л ы-с в а т ы говорили: артелью будете землю держать – зерном озолотитесь, молоком умываться станете. Слезами и потом умылись. Ведь вот такая холера: при общем труде друг за дружкой подглядка началась. Следили, кто как пашет и литовкой машет. Боялись перетрудиться на крестьянской общине, лишку силы в дело вложить. Ну и повело артель к бедности.

В нашей деревне много богу молились да на колени валялись перед образами. Пешнили на речке во льду прорубь в виде креста, гадали по нему: будет ли урожайный год. После крещения две недели белье в речке не полоскали. Грех: вода святая, нельзя в нее тряпье одежное пихать. Уповали на бога, надо бы на руки. По единоличности, верняком скажу, богаче жили. Заведет маменька на Алтае тесто на дрожжах, хоть на вожжах хлеб из печи вынимай. Артельные труд-деньки зерном не баловали. Известное дело: при колхозе – значит при навозе. Поковырялась в нем! Придешь на ферму – холод, рев. Кажется, у сена в кормушках и то шерсть дыбом встает. По стенам свинарника, коровника куржачины обвисли овчинами. Доярки, свинарки – все простудницы были. Я от них не отстала. Сейчас соседка толкует: «Не ешь, Матрена, таблетки – на день больше проживешь». Куда мне теперь этот день, коли век прожит. Сердце давно еролашит. Давление высокое бьет. Пью корицу молотую с простоквашей, немного легчает. Сердцебой стал сильный. Часом так колотит, что кофта от груди отскакивает. Одно время запомирала вся. Лежу на кровати, думаю: хоть бы пнуть старика разок перед отходом –

нога пошевелиться не может... Умру – небо дождем обречется. Со всеми в ладу жила, кроме мужа. Ввел он меня в дети... как во сне дело было... может, все же по непорочности začала?... Ну, родились близняшки, отревелись, отпоносились. Скука вечная при житье безлюбовном. Я редко когда сорное слово брошу. Крисанф щедро осыпает ими. Корит меня за какие-то выдуманные любовные плутни. Горько правду в глаза слышать, еще горше ложь лютую. Чего бабе надо, баба сама знает. Захочет пошалашничать, ни один мужик не уследит. Жизнь на вере, на обоюде должна стоять крепко. Если утех **к р а д о м** даются, воровство постельное сердце точит.

Живу ради сынов да ради снов. Светлые видения иногда приходят. Молодой себя видела в сарафане нарядном. Кругом красноречивые колокольчики заливаются, солнышко на цветущие льны падает. Проснешься – противный храп старика в уши бьет, и явь явная напоминает о конце жизни.

Под божье воскресенье приснилась широкая вода. Веснотай тогда у нас прошел дружный, позалило луга, низинники. Подперло крепкой водой высокий речной берег. Вышла на круть, взмахнула руками и... полетела. Легко так лечу, макушки тальников подо мной мелькают и одинокие синие-пресиние льдины посверкивают. Хорошо хоть в обманном сне побыть птицей... Вот кончился разлив и поплыли купола церквей, часовенки, колокольни. И опять чудный всеземной звон стал долетать до неба... Соседка растолковала сон: душа твоя, Матрена, в отлет собирается, звоном последним тебя ублажает. Не смутила разгадка. Пусть. Нисколько не тушуюсь смерти. Жила как могла, под богом несогбенной ходила. Я лучше крест на себя наложу, чем руки. Столько вековать и уйти в землю **п р и н у д н о**?! Петлю не завинишь, себя опозоришь. Удавиц, самострельцев, своевольно утопших хоронят, не поминая. Если мой старик сгорит от вина, и то божья причина. У него ум за разум заходит стал. Блажит с

стеснялась. В ссадинах, трещинах да бородавками утыканы. Любила в детстве лягушек в руки брать. Пугали подружки: не бери. Напишут на руки – бородавки вырастут. Враки. Бородавки сами по себе в рост идут... Приду все же в клуб, трюсь возле подружек, прячу руки за спину. Начнем играть в третий – лишний – беготни хватает. В мельканье мои израненные лапы не так заметны. На трудах артельных холеность не наживешь. Пока на дойках все сиськи у коров перетеребишь – пальцы по твердости в зубья бороны превратятся. Там лен-долгунец выспел, дергать надо. Настояшься вперегиб – кровина из носа на стебли, искры сыпом из глаз. Опрокинешь голову на сноп, утихонишь кровь и дальше л е н с н о п и ш ь. А полюшко во-о-о-он какое раскатное.

Воюешь трудовдень, про домашность думу держишь. Дом невелик, но лежать не велит. Колготы хоть отбавляй. Ногами зыбку качаю, руками тку. Одно время в ы х у д и л а с ь вся в работах, хоть ложись и помирай. Присела в горнице на лавку, глянула на Троеручицу, укор в ее глазах узрела: «Чего ты, русская баба, растележилась? Или про свой вечный крест забыла? Без стона неси его, на том свете замена найдется». Вот и несу до сих пор крест, сменщицу свою жду не дождусь.

Не надо долго всматриваться в узловатые, изморщиненные руки Матрены Олеговны, чтобы понять – нет им цены. Неровные длинные пальцы повело, словно они растопырились от сильного мороза и никак не соединятся вплотную для полновесной ладони. Старуха не может слить воедино три пальца для мольбы волей и силой изработанных мышц. Она притискивает их в щепоть левой рукой, напяливает тугую, черную резинку. Принудительной сцепкой пальцев молится потускнелым иконам.

Надо иметь в отделах социального обеспечения специальных людей, назначающих пенсии по таким вот рабочим,

время продавца не было. Обещали прислать, да все тянули. И вот открывается поутру магазин. Стоит за прилавком в белом халате мужичок, на вид видный. Фикса во рту золотая и перстень на левой руке.

По-о-шла бойкая торговля. С шуточками-прибауточками отвешивает да отмеривает... Под вечер с выручкой сбежал, прихватив вещички дорогие. По сей день ищут удальца. Так и получается: у кого денежки, тот девок целует, у кого нет – издали смакует. Раньше было десять заповедей, давно одиннадцатой обзавелись: не зевай, хватай. Ведь все равно атом на голову падет. Живут людишки, торопятся наторбить брюхо, в тряпки разодеться. Муравьи вон голые, а ничего себе – ползают, о вражде не помышляют. Трудодни не нужны. Пенсии тоже. Мотря долго деньги пенсионные лопатой гребла – по рублю не выходило на день. Опомнилось соцгосударство: братцы-крестьянцы, выручайте, жрать нечего, земля колхозная гибнет. Расхватывайте ее, частные фермы держите. На словах – сила, на деле – мыло. Одной рукой вроде дают скот и землю, другой забирают. Как? А вот так: держи скотину, а выпаса – у лешего на заимке. Откармливай свиней, а комбикорма тю-тю. Найдется когда-нибудь умная голова, напишет брошюрку: переход от социализма к капитализму... Говорю, что думаю. Меня по старчеству в тюрьгу не закатают.

Народ от всякой неразберихи жизни спиваться стал. Раньше тоже пили, но дела умно вели. Мой отец, бывало, уйдет с рыбным обозом в город, пропьет рыбу, коней, сани. С одним бичом домой вертается. Глядь – снова всем обзавелся: заначка имелась. Без кубышки запросто пропасть можно. Отец любил застольничать. Накатит по стакану с горкой, скажет: пей, сын, до низа, ни капли на слезы не оставляй. Я с хлопчества вином зараженный. Могила вылечит, на врачей надежи нет. Моя громогласная Мотря страшшает: угубит тебя перегоночка. Знаю, но остановиться не могу. В жизни

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ГЕЛИЙ ПАВЛОВ. СОЛНЦЕ СИБИРИ	4
ГОРИСЛАВА	8
БАГРОВЫЙ ЗАКАТ	203

лось, вместе с толстой шерстяной ниткой вплетается в носок по словечку и небольшая восминка.

Кольхнулась марлевая занавеска, закрывающая дверной проем. Через порог перешагнула шустрая Нюша-хромоножка. Вместо з д р а в с т в у й т е пропела с хрипотцой:

– Я любила тебя, гад, четыре годика подряд. А ты четыре месяца и то хотел повеситься.

Горислава поспешно отложила вязание, встала с кровати.

Тереша не выразил ни радости, ни огорчения при появлении соседки. Шепнул мне:

– Нюша опять, как баржа с перегрузом.

– С каким пузом?! – набросилась гостья на старика. – Чего стыдишь? Ты это брось, солдат ветеранный. Любовью лет двадцать не занимаюсь. Нашел чего – с пузом! Какой-то дурачина мне по молодости ворота дегтем вымазал. Хотел на позор поднять. Прошла я по деревне из конца в конец и несколько раз прохailала:

– Кто-то вымазал ворота. Люди беспокоятся. Я отскабливать не стану – дольше не расколятся... Ты мне, Тереша, стыд в глаза не пускай.

Ворчала Нюша незлобиво, с присмешками. Горислава разливала по тарелкам холодную окрошку: от нее исходил терпкий запах тертой редьки.

– Скажи мне, Тереша, солдат ветеранный, почему человек не на век рождается? – Круговым движением ложки гостья размешивала в тарелке сметану. – Даже неказистому хочется долго жить, а подкрадется время и насильничает. Нас вот, стариков, молитвы берегут. С ними ложимся. С ними встаем. Сегодня за ноченьку долгую снов божественных насмотрелась. Ангелы-архангелы пухлые летали, крылышками махали. Под утро господь в черном одеянии приснился. Упа-

ла ему в ноженьки, ревмя реву от счастья. Храм осветят свечи, душеньку молитвы. Один владыка над нами, над землей и небом: бог. Не вчера его на престол господний посадили. Не сегодня снимут... Так почему, Тереша, не полный век человеку даден? Ты фронты проходил, вразуми баб.

– К чему тебе век полный? Раскатала губешки – сотенку годков захотелось.

– Так жить охота. По молодости от нужды наутек бежала. Удрала. Пенсию получаю. Разве охота околевать в сечасное время?

– Сама говоришь: молитвы стерегут.

– Что молитвы?! У господа нахлебников тьма. Попрошайничаем, года вымаливаем. У него терпение скоро лопнет. Махнет рукой, открестится от нас.

– Не горюй. На кладбище жилья хватит. Место доброе, песчаное. Представь: вечное-превечное безделье. От всего отчуждение: от хлева, от бражки, от головной боли, от бесконечной зимы. Там тебе, соседка, точно не дадут огуречного рассольчику. В годах, как в картах, перебор не нужен. Тебя время не посередь жизни оставит. Оно тебя к закату довело. Радуйся.

– Напустил угрюму, солдат ветеранный, аж зубами скрежетнуть захотелось. Славушка, упроси старика. Пусть он пошущается со смертью. Мы незаметно возле нее прошмыгнем.

– Эх, подружка-подружка, мало ли мы с тобой одолень-травы скосили. Иной за два века столько делов не переделает, сколько мы их наломали. За праведные труды и смерть праведную не стыдно принять. Мы с тобой не боялись ни зимы, ни осени – главной распорядительницы крестьянских забот. По всяким календарям нажились: по мирским и по церковным. Первомай, Октябрь встречаем. Радуемся празднику Авдотьи-малиновки и Евдокии-огуречницы. Твои детки ро-

мокрец. И везде бросался в глаза подорожник-потропинник. Везде топорщились неотступные от сельбищ растения – лебеда, крапива, лопухи. Они успели забраться в темные глазницы заброшенных изб, кустились над осевшими завалинками, стояли ратью за бывшей конюшней, полуразрушенными механическими мастерскими. На слежалом перепревшем назъеме молодая крапива начинала выметываться сразу после весеннего сгона снега. Проходила неделя, другая, и на крепких колючих стеблях появлялись налитые соком стойкие листья. Не этой ли настырной одолень-траве суждено вскоре царствовать на авдотьевских улицах, подворьях и огородах? Она успела захватить большую территорию. Колючее воинство вошло в порушенные дворы, выставило метельчатые пики за трухлявыми пряслами. Мокрец, крапива, подорожник, лебеда, конопля, иван-чай скоро осияют, одолеют приречное сельбище. Возле осевших, провалившихся погребов любит селиться бузина. Когда бузит ветер, запрокидывает красные шапки ягод – кусты шумят, возмущаются, что растут у пустых ям, куда хозяева ссыпали на зиму картошку и другие овощи.

Авдотьевку знал давно. Радовался крепким избам с тесовыми и шиферными крышами. Личного скота набиралось два больших стада. Озноб охватывает в июльскую теплынь при виде сегодняшнего деревенского разора. Припомнил: жила возле школы Мавра-отшельница. На платочке узелки завязывала. Так и ходила с узелками: забывала, на какое дело его завязывала.

Подхожу к школе-развалине. Последний звонок отзвенел здесь двенадцать лет назад. Избенка Мавры живая. Поленниц дров не видно, зато всякого топливного хлама во дворе – гора. Бабка натаскала себе из гибнущей деревушки оконных рам, жердей, тесин, ящиков, палок, кольев. Приволокла даже толстый воротный столб. Возле дарового топлива

путнему – копейку мозолями добывай. Прутики грызи, побитуруйничай, но не воруй». Вот и сел за провинку. Стал тюремным кашеедом.

Мавра обрадована моим приходом. Торопится выговориться, излить обиды, услышать сочувственные слова, разложить в рассказах на кусочки, на осколки свою летящую к закату жизнь.

Лицо отшельницы припухлое, одутловатое, с красносиними прожилками. Под угрюмыми карими глазами складчатые мешки. Округлый подбородок в тонких завитушках сивых волосинок. На правой щеке крупная родинка. Почти посередине лба красное пятно. Мне подумалось: неужели моление выкрасило лоб?

– Много молишься, Мавра?

– Усердствую до пота. Часами поклоны отбиваю.

– Горислава и Ньюша тремя пальцами крестятся. Не ругаетесь?

– Пусть шепотью молятся. Они шепотью и соль берут. Я – двуперстная. Чего мне с подругами делить, чего ругаться? У нас теперь одна крепкая вера осталась – старость. За последние годики жизни хватаемся. За них молимся, заступки просим... Вот так живешь-живешь, молишься-молишься, соберешь мысли в комок и думаешь: зачем? Отчего одному клопы да плошки, другому платья да брошки?.. Беси мне каверзы творят. Витеньку отняли. Болезни в меня напускают. Я сынку по-своему крестила: в омутище. Еще по холодной воде крещение было. Стал расти, как на опаре. Меня колдовской обозвали. Молитвам Витеньку усердно учить принялась, да школа обезбожила, от веры отбила. Классы ему туго давались: недоумком родился. Сама виновата: в Преображение рыбку не поела. Тяжко его рожала, всю меня, как бересту на огне, скручивало. Родился худенький – кожица да косточки. Потом наливаясь стал. Плакал редко, легкие не развивались.

До шести недель шлепала его, чтоб поревывал. В бане одного оставляла. Раскричится, ором зайдется, зубенки стисну, не иду. Ночью нисколько с ним не важивалась. Родила, пела: Богородица, Дева, радуйся. Ну и помогала она мне. Кормила я сынку титяшным молоком три года, пока голова не разболелась. Поноса у него не было. Коростья не одолевали. Я в людях и кормилицей была: трех чужаков своей грудью выходила. Но беси распрогневались на меня. В интернате дружки Витеньку безбожеству обучили. Хулиганам в руки дался. Покуривать стал, матерщинничать, за рюмку хвататься. Приехал перед армией с дружками. Я им провожаны устроила. Овечку забили, шиш-лыки жарили.

Из-под крыльца выбежала крупная темная крыса. Встала столбиком возле отпиленной чурки. Мавра проворно, с охотничьим азартом сдернула с ноги старую калошу, запустила в крысу: она юркнула под кучу наношенного хлама

– Ах, беси проклятые! Житья от вас нет! У курей яйца таскают. В избе пол изгрызли. По столу бегают. Расставлю капканы, да по забывчивости сама в них и вляпаюсь. Писала в сельпо, чтобы «крысиду» привезли. В конверт вместо заявления по ошибке молитву вложила. Наверно, письмо мое не в потребиловку – в церковь батюшке попало. Как думаешь, божественные люди на учете в церквях?

– До Авдотьевки церковникам дела нет.

– Зря. Раньше и на обласках ездили. Привезут молитвы, увезут пушнину. Надо в сельпо снова про «крысид» отписать. Забыли об нас. Черт всегда в законе, человек в загоне. Исчезла школа. Больничка рухнула. Мы скоро все в землю рухнем. Зачем жили, иконам кивали? Одно понятно: бог смолчит, человек словчит. Кто через колено законы гнет, тому и прощение выпадает. Сынка закон не согнул. Приехал как-то весенним Васюганом, платочек в крупную полоску привез. Спрашиваю: «Как живешь, Витенька?». Отвечает: «Живу,

Достану «крысиду», нагоню на вас страх. Опупели! Разбойничают средь бела дня. Куда я заявление на «крысид» сунула? Надо новое нацарапать. Молитву отправленную жалко. Я ее из святой, боговдохновенной книги переписала. Умная книга. Все там расписано, все по-старинному узаконено. Про поясные поклоны, про земные. Когда поститься, когда литургии совершать... Ты хоть и при бороде, а, поди, явный неверец? Ничего не знаешь, что с неба нам глаголят. Разве вы, неверцы, знаете, что всех н е б о в двенадцать. Ракеты только до первого доцарапались... Люди сперва землю осиротят, потом до небов доберутся. А там и свету конец.

– В войну ты в колхозе была?

– Везде, куда ни пошлют. Трудармейкой тоже была. Дорогу в тайге строила. Я – дюжая. Хлебный паек наравне с мужиками получала. Раз жар сорокаградусный в бараке на меня навалился. Запомирала. Попила заварной чаги, соскочила с нар и за бригадой. Всю войну перед глазами пайка хлебная маячила. Во сне душеньку отводила: до отрыжки хлебушек ела. Караван снились белые, пышные. Отрежешь ломтище, уплетаешь за обе щеки. Проснешься, а зубы, сном обманутые, чакают, воздух жуют... У меня теперь память смеркаться стала. Всего не вспомнишь. Много всякого наслучалось за жизнь. Сейчас блужу по лесу часто. Хожу сухопутом, собираю ягоду – беси путь умыкнут. Где ночь пристигнет, там и ночую. Утречком помолюсь, отобью поклоны, иной раз ноги прямичком к деревне и выведут. Богородица за меня. Беси против. Помрем, увидим, кто правдой жил, кто кривдой. Там суд – ого-го! Взятки не берут. Икрой, осетриной, мехами не умаслишь. Грешному смерть будет лютая. Праведному светлая.

Серебряное колечко на безымянном пальце Мавры давно потускнело, утоньшилось. На длинной шее висит залосненная лестовка. Носит ее отшельница от порчи, от сглазу, от наговорщины. Смотрю на словоохотливую старушку, ду-

маю: не последний ли это осколок старой веры? Доживают свой век по таежным избам в глубинных деревнях, заимках богобоязненные старцы и старушки. В одной староверческой избе видел вырезанную из «Огонька» суриковскую «Боярыню Морозову». Висела рядом с иконами. Боярыне ли, богу ли молиться, лишь бы тянулись ко лбу два пальца, приставленные друг к другу.

Школа, интернат отвортили Витеньку от веры. Вся наука матери пошла впустую. Надеюсь на него, заронила в душу эти два пальца, как два семени. Ни одно не взшло, не проклюнулось росточком. Витенька в физику заглядывал чаще, чем в Святое Писание, из которого тайком вырывал листы на пыжи.

Восемь лет назад прибил к Мавриному двору тунейдец. Поначалу в свой лбище со шрамом тоже двумя пальцами тыкал, бормотал: святое писание... божество и человечество... трехперстие – грех... Отшельница сожителя в красный угол посадила, наливочку поднесла. Разъелся, распился сожитель. Понес матом старую веру. Попрячет старопечатные книги, у Мавры горловые просит. Говорили отшельнице: гони прочь туника,хватишь с ним горя. Не поверила, клюнула на его два пальца. Не прошло недели, он в эти два хитрых пальца третий вложил. Страшную дулю подносил к носу монашки, дико вертел. Свернет тунейдец самокрутку, начнет махрой и от лампадки прикурит. В лицо иконам хохотал нахальный бражник и табашник. Мавра каменела от страха. Сама плачет, сожитель козлом прыгает.

Вывел овечку на подворье, взял копновозную веревку. Скрутил калачами и, как лассо, стал набрасывать на блеющую животину. Заарканил, завизжал от удачи. Кричит: пойдет овца на шашлык для молодца. Молодца все же образумили.

Прибежала Нюша к Найденовым, напустилась на Терентия:

– Не зарься на каждую шваль. Ишь, до старости свербит у нее. Такой и убить мог.

– Мог. Схватил за лестовку, душить стал. Озверился. Жизнь его не одним колесом переехала, вот и сгоняет зло на слабых. Под хмельком – добрячок. Неопохмеленный – палач... Спасибо – овечку спасли. Мне себя не жаль, овечка шерсть хорошую дает.

– Чего мелешь – себя не жаль. Славненькая смерть под старость – от убийца пасть. Ты дождись своей, настоящей. Чтob лечь тихо и помереть без лишней тягости.

Мавра приколотила к двери второй крючок. Положила под порог охрannую молитву. Боялась: нагрянет темной ночью прогнанный сожитель, зарежет или в отместку избу спалит. Не являлся. Колобродил во дворе ветер, стучал ставенками. Страшно и жутко было в пустой избе. Колебался, таинственно прыгал по стенам бледный свет лампадки. За печкой, за окованным жестью сундуком нахальничали крысы.

Старушке не спалось. Подносила к оконному стеклу глуховатое ухо, стараясь вобрать звуки осенней ночи. Ругала и жалела полюбовника. Под зиму к ней заявился, хотел скоротать лютное времечко, а она его выгнала. Какой-никакой – мужик был в избе. Ну, побьет разок-другой. Ныне небитая баба – редкость... Постучит сейчас, ведь оба крючка сброшу. Узнал, что Витенька в тюрьме – не будет изголяться... Господи, прости мои согрешения... пощади перед остатком недолгих лет...

5

По гладким пойменным низинам зелеными вздутиями лежали пологобокие прилуги. Травы на них бледнее, ниже. С невысоких холмин быстрее высачивалась влага для утоления жажды плотных трав, лежащих ярусом ниже.

работу в свинарнике. Муж ее Терентий Кузьмич, бывший фронтовик, в бытность свою бригадиром чеканит афоризм: «Давайте, ребятки, на травах насмерть стоять! Тогда и коровки живы будут». И трудно этим крестьянам понять спущенную сверху установку – сокращать личный скот. При этом парторг, угрожая, говорит Терентию Кузьмичу Найденову: «Еще с довоенного времени должен был уяснить, что есть земля советская, есть и соловецкая».

Точно нашупал автор болевую точку. Именно в явлениях, связанных с культом личности Сталина, в насаждении тогда административно-командных и репрессивных методов – первоисточник, на мой взгляд, многих последующих наших бед, волюнтаризма и застоя. Рисуя картины того, с какой болью, словно с членами семьи, расставались колхозники с отбираемыми у них коровами, писатель тем самым подтверждает правильность принимаемых ныне решений – и о семейном подряде, и о развитии у колхозника инициативы, предприимчивости.

Вообще же в проблеме – город и деревня – автор на стороне слабого, на стороне деревни. Тревожит его отток лучших кадров из села в богатый город, тревожит и то, что для нефтяников сейчас овощи приходится выращивать не в поле, а в дорогах теплицах. Потому-то с таким сочувствием выписан Терентий Кузьмич, который, несмотря на уговоры горожанина-сына, ни в коем случае не хочет уезжать из родной Авдотьевки. И любовно выписывая все детали, дает Колыхалов сцену того, как красиво пашет Найденов.

Красота крестьянского труда оттеняет душевную красоту его создателей. Трогательная взаимовыручка характеризует обитателей Авдотьевки. Еще в войну Найденов по-братски печется о сослуживце Бивине, помогает ему победить позорную трусость.

ском предложила хозяйка. – А то в немилость попадешь. С бригадирства снимут.

– Зачем ее сдавать? Полутораведерница. Смирная. Послушная. Упитанная.

– У Веснянки молоко вкуснее: голимые сливки.

– Растравил душу парторг: в нутро кусок известки бросил. Затоковал: установка, установка. Район жмет. Каждый норовит со своим бастриком на воз залезть. Тут обдумать все хорошенько надо, умом разбросить. Нелегкий груз на весы бросаем... груз тяжелый, со всех дворов страны. Может, все же Веснянку на сдачу пустим?

– Молоко густое дает, – гнула свое Горислава.

– Лягучая, бодучая.

– Любой ее каприз хлебной краюшкой сниму.

На молодой заре Горислава впервые не отправила Красотку в стадо. Оставленная в стайке, разлученная с Веснянкой, часто подходила к широкой, неплотно прикрытой двери и видела в щель крючок в боевом, закрытом положении. Полоска металла походила на жирный знак минус. Он вычеркивал из хозяйства одну важную единицу и сейчас подбострастно стерег ее, разлучал со стадом, знакомой поскотиной, чистыми авдотьевскими лужками. Красотка беспокойно металась по скользкому полу стайки. Ее тянуло к двери, которую не раз пробовала отбоднуть. Крючок был самоковочной работы, крепкий и неподатливый. В узкую щель сочилась утренняя прохлада, с писком залетали комары. Пастушеские покрики уже слышались далеко. Впервые стадо уходило без степенной Красотки. Веснянка часто останавливалась, подолгу смотрела вдоль длинной деревенской улицы. Искала глазами, но не находила черно-пеструю подругу.

Не только Веснянка вела себя в то утро недоуменно. Стадо сделалось непослушным, длинный сутулый пастух плохо и трудно управлял им. В урезанном гурте недосчитывалось

горы мяса и костей. Все отпрянули в стороны, не успев ухватить Шалуна за кольцо под ноздрями. Почувяв хотя и неполную свободу, страдалец взбодрился. Перевалясь на хребтине на другой бок, пытаясь встать на согнутые колени, он дорвал окончательно веревочные путы, дико взмыкнул и поднялся в рост. Глаза полыхали огнем. Вокруг стояли пять двуногих мучителей, размахивали руками, стараясь не выпустить освобожденную силу из небольшого круга. Грозный Яшенька развернулся рогами к пыльщику, принимая его за самого лютого врага. С левой костяной отвилыны падали на землю темные капли крови.

– Яш-шка, не д-дури! – вскрикнул молодой пыльщик, пропитанный страхом перед могуществом разъяренного уха-жера авдотьевских буренок. Бык уразумел только свое имя. Второе словцо – не дури! – прозвучало пустым звуком. Шалун ринулся на пыльщика. Долгоногий парень юркнул в открытую дверь кузницы. Яшка засунул башку в дверной проем: насторожил и напугал пышущий горн. Плающий огонь поднимался костерком, в венце летучих искр устремлялся под копотный висящий кожух. Свету в кузнице было мало. Бычина тупо уставился на наковальню, взгроможденную на толстую чурку.

Оглядел черный верстак с такими же черными тисками и попятился назад. Толстый метелочный хвост стал подниматься и вздрагивать. От пережитого страха, оттого, что хозяин грузной массой намял живот, Яшка полоснул из-под хвоста тугой жидкой струей. От земли взметнулся веер брызг. Они летели на сапоги, штаны ошеломленных людей. Бык развернулся, грозно уставился на трех мужиков: на кого же ринуться первым? Хозяина он побаивался и нападать на него не хотел. Кузнец с оспенным грязным лицом держал наготове новый капроновый аркан. Он пожалел его сначала, опутал бычьи ноги прелой копновозной веревкой. Теперь все рас-

вая веревка зацепилась за принесенную половодьем корягу, помогла сдернуть лосиные рога, оставив свои. Левый надпиленный рог перестал кровоточить, но по-прежнему жег огнем глубокий ножовочный надпил.

Красавец Яшка тоже стоял в стойке, готовый к отправке на барже. В Авдотьевке многие перекрестились, узнав, что Яшка пойдет на колбасу. Были и вздыхатели: От Яшки как на подбор рождались такие же лобастые справные бычки, телята жгуче-черной батькиной масти.

Нюша зашла в избу, немо села на широкую пристенную лавку. Горислава тоже ничего не говорила: молчание было красноречивее всяких слов. Что поделаешь – вся деревня впала в грусть-тоску. Убрело за поскотину ополовиненное стадо, проревело на всю улицу незнакомым тягучим ревом.

Терентий Кузьмич за утро два раза подряд выматерился. Такое случалось весьма редко. Стоял возле кучки механизаторов, рассуждал:

– У мужика какой ранг? Крестьянский. Нынче его и в этом ранге понизили. Что творится... что творится...

Впервые не сказал бригадир покосникам знакомых слов: «Давайте, ребятки, на травах насмерть стоять. Тогда и коровки живы будут...».

Будет ли жива лишняя скотина, которая уплывет сегодня вниз по Васюгану? Такой вопрос сидел в голове не у одного Терентия Кузьмича. Вопросец заковыристый, покрепче зуба бороны, поострее плужного лемеха. Скоро отвалит лемешок от деревни жирный пласт. Мужики бурчат, судачат, недовольничают. Но по катерному сигналу поведут на веревочках к трапу буренок, быков, нетелей. Поведут – куда денутся? Установка гвоздем вбита в крестьянские головы и дворы. Ни один гвоздодер не подберешь, не вырвешь ее.

Даже к полудню солнце не успело отогреть авдотьевскую землю. Ветер забавлялся хмурыми тучами, отправляя их по разным высотам в длительное кочевье. В стайках мычала обеспокоенная скотина. Над васюганской водой вяло и неохотно летали стрижи: многие ласточки-береговушки отсиживались в норах-проточинах, сделанных в податливом береговом песчанике.

Катер и баржа-скотовозница были где-то в пути. Томительное ожидание сирены становилось невыносимым. Горислава и Ньюша собирались сегодня сходить в лес, но куда отлучишься из дома? Отойдешь и взбулгачит катерный гудок. Несись ошалело назад.

Ньюша разглаживала на коленях залосненный, в цветочках, фартук, вздыхала.

– Почему, Славушка, век бабий такой короткий? Вроде вчера венки из ромашек плели, у речки под гармошку на вечерках плясали. Отвечёрились.

– Бабьему веку отпущено сорок годков.

– А в сорок пять баба – ягодка опять.

– Если на то пошло: в шестьдесят лет бабе износу нет. Значит, неизносимые мы с тобой, Ньюша, будем. Войну перебедовали. Тыловичками крепкими были. Чего теперь грустить? В войну кто выживал, кто отживал. Мы не отжили, руки на грудь не сложили. В колхозном строю не последние плетемся. Вон сколько по установке скота сдаем. Авдотьевка государственную баржу набьет живым мясом, другие деревни. У нас не убудет. Новую живность заведем. Твой бык бунтует в хлеву?

– Изревелся. Давит головой в дверь – вот-вот шарниры слетят. Одно слово: производитель. Многие коровенки от тоски взвоят. Он им не давал скучать.

неизменно встречается в литературе. Сибирь у литераторов обычно вызывает иные ассоциации – тайга, морозы, метели, медведи. Но нужно очень любить свой неброский край и очень любить жизнь, чтобы в суровом сибирском солнце увидеть и его мощь, и его радость, и символику всепобеждающей жизни. Именно так смотрит на любимую томскую землю Вениамин Колыхалов.

Гелий ПАВЛОВ

г. Москва

кая – не оступись. Пока до места довезут, понастряпаете лепешек под ногами.

– Тереша, иди домой. Ты же промок.

– Иду, Славушка, иду. Разомлел что-то душой. Мысли разные пчелками налетают и кто-то будто их дымарем отгоняет.

Град затихал. Посветлело. Стая растрепанных туч уносила за авдотьевские луга. Первые, смелые лучи расклинивали серую толщу, диковинно оглядывали незнакомую землю, ставшую среди лета белой, зимней. Петух первым вылез из-под обласка, долбанул клювом крупную градину: остался недоволен несъедобным зерном.

Обшарпанная баржа-скотовозница стояла близко от берега на приглубном месте, повернув к деревне широкий пузатый бок. Покатая палуба, огороженная крупным горбыльником, хранила отметины недавних перевозок животных. Даже свежий речной воздух не мог выветрить отсюда тяжелый дух хлева. По палубе разбежались желто-зеленые разводья от скатившейся за борт мочи. Град немного очистил эту стайку без крыши, раскрошил ссохшиеся лепешки. Катясь, цеплял на себя сроненные с коровьих губ сенные обжевки.

С баржи-скотовозницы спустили широкие, с жердяными перилами сходни-заходни. На корме, возле шкиперской надстройки стоял плюгавый мужик, шумно отсмаркивался в воду, приставляя к каждой ноздре персонально большой культиapistый палец. Произведя знакомый бесплаточный ритуал, звероватый шкипер тупо уставился на авдотьевский берег, начинающий закипать от крикливой ребятни. Курчавому огольцу успели запорошить песком глаза. Конопатый малец целился из рогатки в неуклюжего мужика на барже. Близко у ярка затеяли игру в чехарду. Напуганные стрижи вылетели из узких тоннельчиков, замельтешили над играющими чехардошниками, над смирной после градобоя водой. Короткохво-

ну. Раньше возила выбракованных животных – хромоногих, тощебрюхих, которым уже и корм не в корм. Подбирала по колхозам и совхозам убогих, выдоившихся коровенок. Иных скоро будут заводить на баржу. В частных руках крупный рогатый скот как на подбор. Вымя чистое, бока лоснятся, почти нет изъеденных оводами мест.

На берегу оживление. Авдотьевцы свели животных по некрутому взвозу к реке, поили их. Грудастый приемщик стоял у сходней, вертел перед собой смятый список. На одну сторону тетрадного листа фамилии не уместились и по другой тянулись длинным столбцом.

Принаряженный парторг крутился возле приемщика, поглядывал на приколоченный лозунг: красные буквы горели холодным немым огнем. В списке под номером один значился Найденов. Горислава подвела на поводу к трапу свою полутораведерницу-послушницу. Льяная веревка была наброшена на шею Красотке петлей. Корова недоумевала – к чему холодящая шею сырая веревка. Терентий Кузьмич проворчал:

– Надо бы за рога привязать. Не комолая ведь корова.

– Какая разница, – возразила жена. – Все равно веревку – домой, корову – долой.

Найденов подошел к парторгу, шепнул:

– Давай снимем лозунг. Неприлично. Слова нехорошо стоят – Родина и неподалеку – скот.

– Не учи ученого, поешь... овса толченого. Ты на сене командуешь.

– Не учу. Совет даю как партиец и член колхозного правления. Ты с председателем согласовал?

Парторг прищурился, раскрыл рот дуплом. Слова не успели сформироваться в цельное предложение. Вместо них вылетел легкий выскит. Спросил:

– Корова твоя где?

– ...Девки бегали по льду, простудили ерунду. А без этой ерунды ни туды и ни сюды...

Парторг подошел к Терентию Найденову, поправил свой безупречно сидящий галстук.

– Бригадир, иди заглуши голос Америки.

– Еще чего?! Пусть горланит. Частушки приличные, без картинок.

– Лодырь! Одну коровенку прокормить не может. В зажиточный народ камнем швыряет: оскотинились. Сам ни хвоста не сдал.

– Что с бобыля возьмешь?

– ...У реки барана режут. Я баранины хочу. Если мать меня не женит – хреном печку сворочу...

– Мокрец, иди-ка сюда! – развязно выкрикнул парторг и махнул рукой.

– Товарищ пар-торг, у меня, между про-т-т-чим, имя-отчество есть... четыре грамоты... рогатая скотина привес приличный дает.

– Иди, иди сюда... привес.

– Сам топай!

Увлеченный шкипер смотрел и слушал береговую самодеятельность прилежнее всех. После каждой частушки азартно стучал по палубе торцом водомерного шеста.

– На колбасу! На колбасу! – принялся залиvisto выкрикивать мальчуган. И снова бабка Мавра колдовским прикосновением ладони к курчавой головенке остановила крик.

Неожиданно свежо и вольно разлился по реке, берегу, зареченским лугам напористый свет. Унылый серый мир разом исчез, уступив место иному рожденному миру. Горислава в крепкий прищур посмотрела на солнце, перекрестила себя мелким спешным крестом. Многие лица, словно подсолнуховые головы, повернулись под хлынувшие лучи, под щедрый световой поток.

Мокрец перестал выступать: испугался решимости идущего к нему парторга. Пуше смерти устрасал артиста непрерывный приказ секретаря: дыхни! У скотника был сегодня заработанный отгул, но он спешно покинул берег, очищая на ходу вяленого язя.

Народ не расходился, ждал отплытия скотовозницы.

На прощание катер взревел хриплой сиреной. Стальной буксирный трос натянулся, плавно сдернул осевшую под живым грузом посудину. Два днища легко распарывали неширокий податливый плес. Животные провожали деревенский берег недоуменными взглядами. Не догадывались, что Авдотьевка уплывает от них навсегда.

7

Множество всяких рьяных заготовителей, агентов, приемщиков, налоговых инспекторов повидала васюганская деревня. Зимопутком и полой водой возили отсюда мясо и зерно, живицу и картошку, шерсть и льняное семя, рыбу и самосбивное масло. Перед войной наладили дегтярное производство. Получали скипидар, деготь, ценное пихтовое масло. Дадут авдотьевские поля смехотворный урожай зерновых, сошлются на затяжную весну, летнее бездожье, осеннюю слякотицу. Лес – готовый урожай на корню. За эту косовицу спрашивали строго. Тресни, но дай план, а то и полтора. Шла в плотях и вольным плавежом по изгибистой реке мерная древесина.

Собирали лекарственное сырье. Местные бондари готовили под рыбу, грибы и ягоду многоведерные бочки. Наполненные добром тайги и воды, бочки уплывали в низовье все по тому же темному, бурлацкому Васюгану. Бочкотары требовалось много. В иной год засольня на берегу не успевала с обработкой рыбы. Мешками, берестяными горбовика-

доярков, уезжающих работать уборщиками в общежития, посудомойщиками в столовые.

Подсобил ли кто Авдотьевке новой школой, медпунктом? И не только этому сельбищу. В графу неперспективных попадала всякая деревня, лишенная рабочей силы, ребятишек, которые не по своей воле оставили пустые парты. Земля без людей – какую перспективу сулит она? Что ждать от нее? И наседали на заброшенные поля пустосел, лебеда и чертополох.

Заготконторы сыщутся всегда. Найдутся приемщики. Было бы что принимать.

Катер натужно тащил скотовозницу. Из сажной трубы гнутыми калачами вылетал сизоватый дым. Понуро стояли возле кормушек коровы, ужевывали накошенную авдотьевскими мужиками траву. Шкипер с приемщиком успели распотать вторую бутылку первача. Табуретка под осовелым речником скрипела. Он навалился грудью на стол, придавил ухом мятый соленый огурец. Принялся сильно икать: подпрыгивала над столешницей рыжая кудлатая голова.

Приемщик оказался усидистее. Набулькал еще в стакан, выпил без кряка, без удовольствия – для скоротания времени. В мутное окошко шкиперской будки он успел высмотреть корову с отвислым выменем. Улыбнулся довольный. На опохмел пойдет парное молочко. Не пить же темную забортную воду – рядышком молочное озерко. Доить он умеет. Наловчился. Жамкнет упругую коровью сиську, как отрежет от вымени косую струю.

Приемщик бесцеремонно пихнул коленкой шкипера.

– Эй! Проснись! Посадишь баржу на мель – котел твой рыжий расколю.

– Есть! – пробаззлал вскочивший шкипер, еще не продрав

глаза. Приложил по-армейски к виску грязную растопыренную ладонь.

– То-то: есть! Разуй шары! Зырни, куда катер задницей торчит. Чиркнешь берег – буренки котяхами за борт полетят.

– Так точно! – отдолдонил грубоголый мужик. Покачивался и не раскрывал слипшихся глаз.

– С kis от двух стаканов. Шкипер еще называешься.

– Не могу з-нать, – скривив рот, пробасил хозяин скотовозницы, не убирая волосатой пятерни от огненной головы.

– Речник ты или тупой солдафон?

– Никак нет! – точно со сна выкрикивал задубенелый мужик. С подбородка сорвалось и упало на стол огуречное семечко.

– Тьфу! – плюнул приемщик и вышел из будки.

Умелым забросом ведра за борт зачерпнул воды, поднял на веревке. Вывел лунатичного шкипера, ударом ладони под сгибы ног поставил мужика на колени. Насилу отодрав от виска надежно приставленную руку, деловой приемщик окунул рыжую голову в ведро. Вода забулькала, запузырилась, как в котле на жарком огне. Шкипер стал захлебываться, вырываться: сила и сознание возвращались к нему. Внезапно он отбоднул башкой хозяйственное мягое ведро, вскочил на ноги, отфыркался и завопил ошалело:

– Ч-ч-чело-ввек з-за б-бортом!

– Ага за бортом... пока за железным, ведерным. Зашвырну за деревянный, если скотину не довезешь в целостности.

Вальяжный Васюган неторопливо отшатывался то вправо, то влево. Угористые залесенные берега сменялись луговыми, низинными. Песчаные косы уступали место илистым покатидам – излюбленным местам суетливых куличков-побережников. Покажется на берегу длинноствольный

ся. Никакой ковчег не поможет. Деревня давненько беднеет людьми да избами. Доярок, телятниц, скотников – нехватка. Трактористы на нефть подаются. Ковчег по Васюгану плыл или по морю?

– По реке. Берег ярной, голый-преголый. Ни кустика, ни травинки.

– Вот-вот. Помяни мое слово – оголеет деревня. Время все равно сжуйничает, подсидит Авдотьевку. Сколько сельбищ скатилось с васюганских берегов – пальцев не хватит сосчитать. Избы раскатали, перевезли. Многие спалили горе-охотники да горе-рыбаки. Моторные лодки нынче насилком реку берут. Прутся из Барнаула, Томска Новосибирска.

– Так-так, – подтверждали ходики.

– ...На фи́га Сиби́рцево порушили? На фи́га Третью Запань на нет свели? Что в райцентре думают? Или у начальства головы не к тому месту пришиты? Земли хлебные, раскорчеванные забросили, мели-рацию напустили. Лохмотья от миллионов летят, проку мало.

– Нюша, начала ты за здравие. Частушки такие хорошие.

– Жалко ведь, Славушка. Сколько земля васюганская натерпелась. Сколько мы поту пролили. Немели от трудов. Не к добру ковчег. Лихо не лежит тихо. Наружу нос высунет. А частушки что? Их мы еще попоем. Вот хрухнет колхоз, нас по пенсиям отправят. Все времечко будет наше... зальемся песнями.

8

Знавал Авдотьевку тех времен. Не видеть бы ее теперь. Не год и не два подкрадывалось к деревне время и, по словам Нюши-хромоножки, сжуйничало, подсидело сельбище. Все поросло быльем – страшной травой без цвета и запаха. Где

разинул. Где там Тереша? Тепло ли ему, не голодно? Авдотьевский колхоз хоть и мал, но подсоба армии. Здесь, в нарымском затишье, солдатики да ребятишки турнепсом, жмыхом, картошкой перебьются. Река рыбки даст. Ее берега, близкие болота ягоды не пожалеют, угоры с кедровниками – орешков. Солдат – пахарь войны. Пахаря всегда надо сытно кормить – хлебом да мясом.

Рано еще. Так рано, что петухи не думают смутить деревенскую тишину первым всполошным криком. Горислава с открытыми глазами прислушивается к ноющему от вчерашних трудов телу. Будто не жилы – струны пропущены сквозь него и каждая гудет-поет на свой лад. Подняла руку на постели – налита свинцовой тяжестью. Короткий сон прошмыгнул в ночи бесшумной мышью.

Темь в избе непроглядная. Печное тепло с вечера сморило сверчков. До сих пор не слышать их назойливого поскрипывания. Сопит, ворочается на полатах Гришутка да ходики отсекают гремучим маятником секунды и минуты тягучей жизни. Узкий коридорчик отведен маятнику под старыми пропыленными часами. Не разбежится ни влево, ни вправо. Зато коридор времени просматривается в непроглядную даль. И оторопелой мыслью не пробежать его.

Спать хочется Гориславе – голову даже мутит. В воспаленный от постоянного недосыпания мозг каждое утро влетало первым одно и то же неотвязное слово – война. Слово гремело взрывами, горело огнем. Призывало к труду, как к утренней молитве за всех убиенных и живущих ратников страны, за избавление земли от фашистской погани.

У изголовья самодельной деревянной кровати лежали на табуретке толстокожие церковные книги. Они застегивались на тугие бронзовые застежки-схватцы. Каждая пара застёжек не походила одна на другую. Отличалась формой, орнаментом, величиной. К ним был приложен труд мастеров-

чеканщиков и ювелиров. Горислава протянула руку, положила на верхнюю книгу. Холодная кожа остудила теплую ладонь, сняла тяжелое ощущение от короткого невзбодрившего сна.

Женщина точнехонько знала, где взойдет сегодня светило. Она встала с постели, повернулась к нему, пока невидимому, зашептала страстно, просительно:

– Да святится имя твое, Солнушко! Да сгинут с земли русской враги лютые! Ты все видишь, все знаешь. Угляди мово Терешеньку. Где он там? Как он там? Молюсь тебе во спасение души его. Во спасение бойцов наших. А на головы поганые погибель напусти. Да чтоб не в нашей земле их хоронили. С чужбины пришли, во чужбину пусть зарывают...

Зарывали врага и в нашей земле, и по всему пути фашистского отступления. Зарывали в поволжских степях, в белорусских лесах. В горах Югославии и в полях Пруссии. От бедственного июня до ликующего мая жила Авдотьевка на особом тыловом положении. На западе четыре года грохотала и выла кровообильная война. Нарымский колхоз приближал победу потообильным трудом. Не сплошали солдаты войны. Не сплошали солдатки тыла...

Всматриваюсь каждый день в лицо Гориславы, в ее ясные, неостуженные временем глаза. Гордо глядит она на тихий земной мир. Неповинна бабушка, что Авдотьевку парализовало время, что вкривь и вкось стоят здесь воротные столбы, топорщатся жердями никому не нужные прясла, воинственно напирает со всех сторон подростковый березняк, осинник. Жаркий июль довел до изнеможения лопухи. Под их широкие бархатистые листья лезут на дневную отсидку полусонные куры. В спасительную тень спешит собачонка Мавры-отшельницы. Свесилась набок малиновая ленточка песьего языка. На язык села зеленоватая навозная муха. Со-

обессудьте. Будете кукурузными хлопьями питаться, брюкву грызть – нам все равно.

– Не про-па-дем.

– Мы разожгли колхоз в свое время, как яркий костер. Вы его задули. Всяким поганым хламом забрасывали: ленью, пьянкой, бегством от труда... Молчи! Тоже не всегда в стахановцах ходил. Иногда размочишь горло – неделю просушить не можешь.

– Так без выходных, без проходных.

– Матери, мне какво доставалось? Придет смерть – общий вечный выходной – наотдыхаешься. Не ты ли плакал над книжкой, когда о несжатой полоске читал? Бедный хлебушко... да как он под снег не убрамши уйдет... сколько караваев испечь можно... Вспомни, как три года назад наш хлеб под дожди да под ранний снег ушел. Не полоска – поле большое. Списали. Сеялки, культиваторы, трактора, хлеб на корню одним росчерком пера – в мертвецы. Укорачиваем век технике, скверно храним, неряшливо ремонтируем. Обращаемся и того хуже. Подойдет черед – деревню спишут. Чего с ней, Авдотьевкой, чикаться?! Мало ли таких пристяжных кобыленок в Сибири, в стране? Натерла холку – шасть с дороги. Далеко дело идет. Мы и совесть потихоньку в расход списываем. Эх, сын ты мой, сын младший. Тебе после нас жить. Запомни слова отцовы: разрушение труда страшнее самой лютой бомбы. Разучимся работать, станем потребленцами – схватит нас любой враг когтями, не пискнем. Щит поднимать силы нужны. А сила от хлеба плодится.

Недавно деревня Федула Стахеева похоронила. Восемьдесят с гаком прожил. Напоследок ноги отказали. С кровати не вставал. Приду попроведать, Федул улыбочкой встретит. Говорит: смерть давно пограничный столб вкапывает на моей территории, да вкопать не может. И сияет глазами, и подмигивает. Хворь нутро разъедает, несколько глотков

жизни осталось, а старичок весел, словно готов в клуб идти, балалаечников слушать. Все мастерит-мастерит что-нибудь. Веретенце при мне строгал, шкуркой наждачной шлифовал. «Вот, – пояснил мне Федул, – подарочек Матрене готовлю. Старушка моя милая с прялкой не расстается, шерсть доит, ниточки вьет». Через два дня вкопала-таки смерть пограничный столб. Старичок сухонький, легковесный. Гробик почти детский. Говорила Матрена: «Перед самой смертью лукошко попросил и зерна. Насыпала ему пшенички. С подушек подняла, посадила. Он руку в лукошко. Поцеловал зерна, зажал в кулачок и стал пол пшеничкой засеивать... да все вправо, все вправо развеи пускал... так и помер...».

Вот она, сынок, тяга человеческая. Труд – вечная заповедь земли. Руки не для безделья природа дала. Уходят Федулы, землю вам поручают. Посчитай, сколько веков Русь стоит, сохраненная трудом и войнами. Пот и кровь – влага соленая. Она сохраняет жизнь и нашу землю. Война великая не сама по себе сгинула: народ наш свалил ее. Не позволил врагу замутить родники, ярмо на шею набросить. Войны, Василий, те же стихийные пожары. Затушишь – дальше жить надо. Наиглавнейшее мужичье дело – земля: пашни, сады, луга. Федул перед смертью лукошко с зерном попросил. Пшеничку поцеловал – не винтовочный приклад.

С войны мы на крыльях Победы летели. Ликовали: кончилась распроклятая! Берлин повержен. Рейхстаг стоит индюком общипанным. Колеса под теплушками выстукивают: до-мой, до-мой, до-мой. Один рябоватый ушлый солдат пристал к старшине: «Поделись, герой, медалями. Куда тебе столько – плитой могильной грудь давят». – «Снимай любую, – отбоярился старшина, – да заодно раны осколочные с ноги прихвати». Весело ехали. Общий котелок с вином, как братину, по кругу пускали. Мимо земли чужие проплывают, речки, а мне бросом в глаза поля авдотьевские, Васюган половодный. Изба

с бугристой лысиной. Охальник первой гильдии. Почему на войну кобеля не взяли – до сих пор загадка. Он бы лбишем танковую броню прошибал. Ну, ладно, учитывая выработку, снопы, суслоны, турнепс. Чё шмон по юбкам наводить? Подсыпался ко мне всяким манером. Заниженными трудоднями давил. Сторожихой на ток посылал, отбивал от общего бабье-го гурта. Облизнется, порычит от неудачи. Схватится за свою подручницу-сажень и айда пахоту замерять. Хлестала его по щекам – пальцы как по тесту шлепали. Раз на току подняла его перед бабоньками на смех. Говорю:

– Небюдкин, ты – гад, но в ад не попадешь. И на том свете чертей замаслишь. Обратишься к ним с такой речью: «Товарищи черти! Много о вас на земле всякой пакости наговорено. Лично я отношусь к вам благосклонно... парнокопытных уважал всегда. Мне бы хоть с краю, но поближе к раю. Устройте дворником аллеи подметать. Копытца ваши обрабатывать смогу. Шерстку расчесывать». Главный черт ответит: «Ты, Небюдкин, в колхозных активистах не числился: в твою пользу зачтется. Но каждый заработанный тобой трудодень мы превратим в адо-день. Минимум отработаешь надзирателем у котла. Местечко теплое. Следи, чтобы вар не выплескивался и никто из котла не вздумал выпрыгнуть. Дрова, уголь в нашей котельной экономя. Отправим тебя на землю денька на четыре. Привези кочергу, ножи, топоры. Клещи в кузнице утащи. Бери на заметку всех, кто чертей нехорошими словами поминает. Послужишь у котла – повысим в должности. Без работенки не оставим...» Ведь ты, Небюдкин, ползком, на карачках, но до рая доберешься.

– Я не до рая – до тебя доберусь! – закричал учетчик.

– Страшал петух барана, да сдох рано.

В чистых глазах Гориславы ни на минуту не потухает яркий свет. Рассказывает о давно минувшем, омертвелом в па-

Короткая настороженная тишина. Потом виноватый, плаксивый голос:

– Ой, да как я теперь мамке буду в глаза глядеть...

Свинарка Нюша не могла определить по голосу, кто из деревенских девок угодил в лапы одному из нагрянувших волков. Вроде ойкала доярка Дуся Мартемьянова... может, заведующая колхозным клубом Мила? Нет, эта в подобной ситуации ойкать не станет. Наверно, Дуська.

Тихонько прихромала Нюша к обрыву, глянула вниз. Но даже и в белую ночь ничего нельзя было рассмотреть сквозь молодые тальники. Нюшу возмутила чья-то противная женская покорность. Она перебросила скорый мосточек в свое быстролетное девичество. Представила над собой широкоскулое остяцкое лицо, раздутые ноздри, слюнявый протабаченный рот и поежилась. Она тогда исходила криком, царапала остячонку глаза и щеки, рвала на нем сатиновую рубашку. Он душил ее твердой, намозоленной веслами ладонью, изнурил борьбой, как паучина изнуряет попавшую в сеть бабочку.

Громко плюнув в сторону тальников, Нюша швырнула туда кусок дерна. Прислушалась. За тальниками было мертво. Только гармонь и гитара неуступно блажили в ночи. Не могли перепеть друг друга басы и струны.

Егорка в деревенском клубишке крутил кино. Поактерски мог читать длинные монологи из фильмов. Выбирал словеса про любовь, про веселую перебранку на гусарских пирушках. Когда рвалась изнуренная бесконечными сеансами кинолента, кто-нибудь из зубастых механизаторов кричал: кинщика на мыло! Егорка зажигал свет, кидал в квадратное окошечко кинобудки обтирочную ветошь. Вспарывал шумток в зале криком:

– Воткните в пасть болтуну этот кляп!

Однажды швырнул обтирку, и она угодила на лысину кол-

- Озимые взошли?
- Шелком зеленым лежат.
- Пойду плуги проверю.
- Готовы, звеньевой, плуги, бороны, жатки.
- Нет, идти надо. Рабочие ждут.

Покорно брела Ньюша за вечным полеводом, отводила его от ярного берега. Вкладывала в руки успокоительную березовую игрушку – сажень. И летело над мертвым полем: двадцать три, восемь, девяносто, одиннадцать...

С сеновала белая ночь просматривалась до глубины миров. Неужели за каждый миллиард прожитых мирами лет на небо восходило по звезде? Немыслимое летосчисление. Когда же забуксовало на большаке Вселенной наше земное колесо? По какой счастливой случайности оказалось в добрых соседях солнце? Представил на миг жуткую картину: его нет. Петухи протрубили подъем, но некого поднимать из-за хвойных вершин. Леденящий мрак успел расползтись по горам, болотам, долинам. Перемерзли до дна моря и реки. Навечно замолкли турбины гидростанций. Люди сожгли последнюю вагонетку угля. Последнюю бочку солярки. Теплилась и погасла огарком чья-то последняя жизнь на земле. Для Вселенной этот катаклизм ровным счетом ничего бы не значил. Мало ли она перетерла в метеоритную пыль планет-неудачниц?! Носятся по галактике их охвостья. Блуждают бесприютные кометы. Пронесются легкой дымкой разные туманности.

Но слава Солнцу! С неизменной точностью встает оно каждое утро, чтобы вскоре переродить его в день и к своему отбою явить земле вечер. Из всех случайностей в мироздании самой великолепной является соседство Солнца и Земли.

Нам подсунули, словно крапленую карту, библейскую веру.

Но по-прежнему с глубоких времен язычества вечной

лога. Чтобы не стукнуться головой о стропила, пригнулся и подошел к проему сеновала. Плотный голубоватый туман почти полностью скрыл унылую Авдотьевку, только торчали скворечники и никому не нужные теперь шестины для телеантенн. Деревушка покоилась на дне тумана, как на дне времени. Ни полей, ни поскотины, ни крыш. Подворье бабушки Гориславы стояло на береговом возвышении. Туман скатился отсюда, потопив заброшенные избы, огороды, бани и хлевушки.

Птицы пели нестройно. Иногда их веселый разнотон обрывался совсем. В такой момент абсолютной приречной тишины неожиданно ворвался всполошенный звук. Из глубины тумана неведь с какой стороны взметнулось тревожное: «Бумм-бомм, бумм-бомм!». Набатный гул, приглушенный голубовато-белым покрывалом, разбросанный эхом по всей округе, невольно заставил меня искать глазами место пожара. Но нигде не было видно огня. Туман сможет замаскировать дым, но пламя нет. И вдруг мелькнула мысль: Савва... железяка на его плече.

Поспешно спустился с лестницы, вышел за калитку. По тротуару в сторону бывшей конторы торопливо шла Ньюша, высоко вскидывая хромую ногу.

– Мой-то старый черт, – проворчала Ньюша, – встал чуть свет, вышел в подштанниках. Думала, по нужде, а он чё удумал. Весь белый свет всполошил.

«Бумм-бомм, бумм-бомм!..».

– ...Вчера под вечер память у него отшибать стало. Ходит, натывается на косяки, табуретки. Ковш на голову надел. Дала таблеток. Разжевал и выплюнул... Ох, горюшко мне с ним.

«Бомм-бомм-бомм», – посыпались частые мелодичные звуки.

– ...Вечером меня Савва спрашивает: почему народ на

куковывали одна другую. Справа от тропинки, возле густых кустов таволожника, взметнулись стройные молодые березки, раскачиваемые свежим утренним ветерком. Они словно собрались на девичник и не могли нашептаться между собой. Приозерная осока почтительно согнулась перед солнцем, посверкивая расплавленным серебром обильной росы. Исчезла из виду доживающая отведенный срок Авдотьевка. Перед взором открылся нерукотворный мир природы: осинники, стоящие под ветром точно в ознобе, заросли волчьей ягоды, старый, дуплистый, но не согбенный осокорь, сверкающее вдали карасевое озеро, впающее в кочковатый, изумрудный луг. Все здесь лежало с древнейших времен: озеро, осошная равнина, тугой устойчивый кочкарник. Все принадлежало небу, земле и солнцу, было возвращено их неусыпной опекой.

Зачавкала под резиновыми сапогами густая жижа. Захлюпала, запузырилась пахнувшая сожженным порохом застойная вода. Отдельные клочья тумана, желая уцелеть, беспомощно цеплялись за приозерные кустарники. Ветер игриво отторгал легкую бель, выводил на расправу лучам. Не хотелось даже переговариваться с Терешей. За нас громко бормотали болотники, кошунственно разрушая тихое благолепие утра. Сторонкой пронеслись кряковые утки. Они летели зигзагами, видно, успели побывать в охотничьей переделке. Оберегаемые инстинктом, часто меняли траекторию полета. Поставит ли на вас ружейная мушка-точка свой последний роковой знак препинания?

Тереша заговорил первым:

– Дикой стала наша дичь. Вон каким кандибобером прет. У всех наезжих охотников дробометы в два глаза. Понавезут патронов, сядят и сядят дублетом – вонь пороховая до деревни долетает. Мы на постой не пускаем охотников. Пакостники. Ондатру весеннюю хлещут, самочек выбивают. Сейчас подвесные моторы – звери. Рывкнет – нет версты. Им все плёсы

забыла. Хватится когда-нибудь и не увидит приречного сельбища. Всплакнет дождем, погорюет снегом. Сгноит последний венец последней избенки, превратит в труху последний воротный столб. На место гибели ветры швырнут семена сильных трав. Разумная природа внесет поправку в людскую неразумность: заселит пустошь своими жильцами. Отдаст им во владение святое место земли: никогда не смиритса природа, чтобы оно пустовало.

13

Однажды я приехал в Авдотьевку по первой воде. Самоходка боднула крепким носом ярк, своротила несколько стрижиных хаток. Соскочил на мерзлую землю, помахал экипажу. Капитан попрощался горластой сиреной.

По берегам лежал прикатанный выюгами снег. Торчали грязные глыбины льда. Май не совсем расковал землю. Морозы не откочевали в северную глушь, делали по утрам дерзкие набегн. Ветры с верховья и с низовья реки были одинаково злы и леденящи. Верховик вытряхивал из туч липкий снег. Низовик насылал ярый холодный дождебой.

Еще не полностью прошла пора снеготая. В низинах белели слежалые сугробы, оплавленные сверху до глянца. Отовсюду стремилась к реке верховая вода-снеговица. Любая земная продавлинка была для такой воды желанным ложем. Васюган собирал воедино из болот и лесов ручьи и ручейки, струи и струйки, лихо подхватывал грунтовые воды и день ото дня тучнел в берегах.

Недавно прошел нешумный ледоход, уступив место бурливому водополью. В новой свободной воде было много удалства, силы и прыти. С легкостью пушинок тащила река бревна, пни-выворотни и глыбины льда. Думалось: хваткая вода вот-вот сорвет с места незатопленные закустаренные

Улыбчиво рассматривая пахоту, показал хозяину большой палец. Он вывел тягач за огород, выключил двигатель. Зазвенела в ушах обретенная тишина. Фронтовик подошел к вездеходу, заглянул в душное нутро. Там находились тросы, ящики с запасными частями, ведро, паяльная лампа. В спальник мешок была закутана объемистая фляга: она исходила тихим шипением. По верному замыслу парней тепло ватного спальника, адская тряска положительно влияли на ускоренное созревание бражки.

До вечера Терентий Кузьмич перепахал еще два ж и в ы х огорода. Нюша увела Савву за поскотину, чтобы танк снова не напугал его. Мавра-отшельница никогда не видела тягача, который мог волчком крутиться на одной гусенице. Она часто возносила перед собой два пальца, размахисто крестилась сама и пятнала крестом железную чуду.

Вездеход не должен был простаивать из-за укутанной фляги, поэтому ошалело носился по умирающим дорогам, портил их спокойный травный вид. Василий бросал под гусеницы плахи, доски, жерди, колья: заготавливал родителям дрова. Они вдавливались в песок и грязь. Я посоветовал укладывать жерди и доски наклонным рядом на бревно и колоть их, наезжая гусеницей на горку. Раздавался треск, заглушающий рокот тягача.

Водитель и найденовский младшак трижды дегустировали бражку, делали весомое заключение: она все скуснее и скуснее. Тереша освеживал зарезанного барана. Горислава занималась стряпней.

К вездеходу торопливо шла Мавра-отшельница и настойчиво подманивала чуду к себе. Парни поняли: бабка зовет на угощение. Тягач борзо понесся за старовойской. Отшельница даже не пригласила парней в избу. Сурово и молча ткнула двумя пальцами на гору деревянногохлама, завалившего двор.

да столько же надо подруге за честную весть отдать. Отмолчался. Вослед за первой шифровкой – умерла жена – летит вторая: доступ к телу продолжается...

Мавра вырывала коленку из пальцев охальника: Рувим сдавил намертво. Отшельница взяла вилку и под столом ткнула в мясистую руку веселого рассказчика. Он поперхнулся словами. Боль не погасила напускной смехок. Притворно закашлял, поднял кружку левой рукой:

– Выпьемте, парни, за упокой души васюганской деревни!

– Ну и тост, – крикнул Василий. – Не хорони. Тут пока люди живут. Скоро мелиораторы нагрянут, произведут распаху полей. Лэповцы линию протянут.

– Пока деревня ноги протянула, – со злорадством перебил Вангулов. – Вон вы как косточки ей переломали сегодня – хруст стоял. Деревня моя, деревенька-колхозница. Была ты чиста, ну а стала навозница... Мавра, мы тебе зеленую и голубую краску привезли. Размалевывай поселение мертвецов. Занимайся малярным делом на общественных началах.

– Вот спасибочки, – проворковала отшельница, забыв о подстольной возне чужой руки и своей ноги. – Подновлю кресты, оградки. Вот спасибочки, Рувим.

– ...А ты – вилкой, – прошипел налитой Вангулов.

– Спасибочки, – твердила староверка, отодвигая освожденную ногу.

– Мавра, тебе кум – протопоп Аввакум, но ты от своей веры отрекись. Веру бичей прими: ешь, пей, деньги хапай да бабенок лапай. Ишь, к бражонке присосалась – не оторвешь. Тебе вино ни с какого конца не положено.

– Не упрекай, Рувимушка. Моя вера на горе замешана. Долготерпцы мы, за старообрядство гонимые. И мы тоже богочитание принимаем и аллилуйю поем. Пётра-то Первый крутенько брался за раскольников. При Екатерине-матушке послабление вышло. Царство ей небесное...

на дрова. Она еще огрызалась стропилами, щетинилась штакетником, укорно смотрела на божий мир темными глазницами перекошенных окон.

Мы проходили мимо сваленного заплота и повстречали Мавру-отшельницу. Серпом она подсекала рослую крапиву и складывала горкой стебель к стеблю. Поздоровались.

– С рыбалочкой вас! Дай, Тереша, карасика, ушку сварю. Она сорвала широкий лист лопуха, держала его наготове. Мы насыпали на него карасей. Я помог донести ворох крапивы до Мавриной избенки. Она положила на крыльцо карасей, схватилась за поясицу, застонала,

– К дождю клонит.

Зачуяв свежую рыбу, по двору заметались четыре разномастных кошки, боясь подходить близко ко мне. Раньше их не замечал. Бабка, читая мои мысли, пояснила:

– Тогда они в лесу охотились. Одичали совсем. Бурундуков ловят, крыс боятся. Так и крысы-то у меня – сплошные гитлеры. Сама их пужаюсь люто.

Стал стягивать с себя брезентовый жесткий дождевик. Кошки, напуганные странным шорохом, врассыпную. Смотрю – одна показывает голову из слухового окна, другая диковато глядит из-за опрокинутой бочки. Отшельница подозвала их особым подманом – ксю-ксю, швырнула каждой паре дикарок по золотой рыбине.

– Хоть и говорится: та рука не устает, которая последнее отдает, но чую – силы мои выработались. Подрубаю сейчас крапивку – стебли, как проволочные... На ум я много молитв знала, да забыть долеет. Вычитала в мудрых книгах: восьмой тысяче веков не кончатся, девятой не начаться. Еще и засуха великая наступит, и потоп, и новый антихрист народится, богом себя назовет. Христиане антихристу не покорятся, во леса уйдут. А лесов мало останется, и переловят их, христиан, по одному всех-привсех... Почему я по годам своим

от страха – от благого предчувствия. Тот же Аникей Пупырин голосом святого наставника вдвух в уши покойные слова: зачем плоть молодую, ядреную мором моришь? Сгинут годы, перетекут, аки в песочных часах, из верхнего сосуда в нижний. Раздастся в дверь стук клюки страшной, вложенной в дряхлые руки смерти... Это не падение твое, Мавруша, возвышение заблудшей души. Мы во лесах, во скитах потаенных вольности ищем. И плоть наша вольна, нам одним подчинима. Все ближе, ближе надвигается Аникей... Вот с воды сошел, посуху шагает. Светящийся нимб над головой звенит колокольчиком поддужным... Медовые, клейкие слова смолокура околдовывают, притягивают: пришел по тебя, Мавруша... я тот, о ком исстрадалась ты... Нас мало, гоньба идет на веру старую... множиться надо. Не во грех тебя ввожу, не бурю душе насылаю. Покорись зову плоти, не перечь ей...

Страшно Мавруше внутренним страхом души и тела. Теплая озноба-разлилась в голове и в груди... Свершил Аникей хваткое, докучливое дело. Обломился с головы нимб, мохом сухим искрошился. Видит Мавруша: лежит мужик на нарах пнем смолевым, портки в дегте и в бороде сучок торчит.

– ...Ты про это, дура, никому... молчок... было аки не было...

А под нарами пишали мыши, шуршали вонючими санными стельками. Не затяжелела тогда Мавруша от смолокура: бог пронес. Радешенька была: куда ей дите в скученную барачную жизнь? Засмеют, замучают издевками угрюмые трудармейцы, приставленные войной к тайге.

Тайком от подруг замеряла льняной веревочкой живот: узелок не отползал от пупа. «Хорошо, на одной мерке брюхо стоит, – утешала себя Мавруша. – По пятому-то месяцу вврохнулся бы уже...».

Багрила на плотбище сосновые, кедровые бревна.

Получала скудный весовой хлеб. Голод прожигал нутро,

доносишь до земли проповеди светлые, искренние. Каноны твои любому смертному понятны. Не забываешь весну на лето поменять, осень на зиму. Лучи твои гонцами мчатся, повсюду их встретишь... Придет ко мне смерть, об одном попрошу ее: пусть позволит последнее спасибо отшептать тебе, помолиться за веру твою ясную. С нею жила, с нею упокой смертный приму. Не сотворило ты, Солнушко, такую целебную травку, которая бы могла омолаживать. Вот и уходим с земли этапами, не застим долго свет вечный. Вера моя древняя, некараемая. Благодарствую тебе, Солнушко, за тепло летнее. За траву и грибы, вызволенные из землицы. Глядишь ты, наверно, на меня и думаешь: чего старая бормочет? Пора в загробье отходить. Отойду, милое, отойду. И ты меня тогда звоном лучей помани...

Такие монологи длятся подолгу. Бабушке приятно доносить до солнушка ясный свет чистой души.

Тугоголовые подберезовики, подосиновики попадались нам на каждом шагу. Нюша лихо срезала их ножом, бросала в зеленое легкое ведерце. Горислава подрезала грибы неторопливо. Очищала от прилипших хвоинок, листиков, травы. Шепталась с крепенькими, бравыми молодцами в разноцветных шляпках, ласково укладывала на дно берестяного кузова.

Разносился веселый стукоток дятлов, добывающих подкорный трудный корм. Наперебой заливались кукушки, в честных поединках перекуковывая одна другую. Трещали неумолчно дрозды-рябинники. Словно передразнивая ворон, кричали беспокойные кедровки.

Попадались сплошные заросли цветущего кипрея: над землей нависла светло-фиолетовая недвижная дымка. Дикie пчелы терпеливо обшаривали цветы, купаясь в пыльце медоносных растений. Горислава ловко ухватывала пчелок за спинку, прижигала жалом шею, бока, ноги Нюше. Сосед-

ну правит. Матерью зовут ее не зря, Родиха – одним словом. Посмотришь на небо – от звезды до звезды шажок. Лектор заезжий сказывал: верст небесных не счесть. Тайна всевышняя даже Юре Гагарину не открылась. А высоконоcko взлетел, по космосу прогулялся... Вот так, Нюшенька, живем-живем, колотимся-колотимся на земле и уйдем, не знавши, зачем на белый свет приходили. Скоренько жизнь прокатилась – куском масла по горячей сковороде. Не успевали лета считать. Мудра природа – ничего не скажешь. Весна свой порядок заводит. Зима свой. Вчера молодушками были. Сегодня в старух обернулись. Не фокус ли это? Время его ловко показало, и разгад не узнаешь...

– Ты, подружка, не студи голову тяжелыми думками. Еще с девок такая раздумистая. Другие бабоньки хлеб жнут, мужиков жмут, и мозги у них не набекрень. Нам не дано за бога домысливать. У него сельсовет большой. – Нюша постучала по своему темечку. – Ты, Славушка, всегда не в е р и х о й была. Твое солнушко даже Христа затмило.

– Да не будь его, – бабушка кивнула светилу, – какие бы Иисусы могли на свет появиться?

Давний спор подруг о разных верах обычно прерывался скоро. Меня они никогда не брали в посредники. Каждая имела стойкую, пронзительную веру в своего спасителя.

Местами ручей был почти полностью скрыт в зарослях череды и травы-резуна. От воды, от ближних кустов начинало тянуть сыростью. Налетели тучи, упрятали солнце. Лес стал сумрачным, настороженным. Реже и тише доносились голоса птиц. В темнеющей глубине ельника зычно и властно прокричал филин. Над лесом заходили дождевые тучи. Над нами тучами вилоься докучливое комаре.

Резкое превращение дня в вечер навело угрюмость на деревья, кусты и грибные поляны. Ветер перестал быть игривым, ласковым. Он прыгал с кроны на крону, приводил в тре-

пет молодой осинник, пригибал продолговатые веера густых папоротников.

Мы отправились домой. Не успели отойти от ручья шагов двести – крупные запальчивые капли испятали нашу одежду. Дождины дробились о прогретые листья и хвою – над ними курился легкий, раздуваемый ветром парок. Птицы умолкли. Только тягуче пел ветер, и в его однообразный мотив встревал бойкий шорох неожиданного дождя. Мы не стали искать от него спасения под разлапистой елью. Нюша шагала второй, бубнила в спину проводницы:

– Зачем дурно Христа помянула? Наслал мокрую бурю. Сейчас от большой обиды старое дерево на нас уронит.

– Не бойсь. Нам не от тайги погибель придет – от дряхлости. А мокру как не быть – сухмень неделю стояла. Дожжик нужный – травы на лугах подтянет. Ведь за косы скоро браться.

– Ох, не говори о сене – силов все мене. Бывало, гонишь прокос – грудь внатяжку. Верилось – весь луг насквозь без отдыха пройдешь и небо литовкой зацепишь. Муженек в силах был, косой махал, будто саженью луг мерял. Кошенина густая, прокосище – корову поперек ставь. Сейчас повдоль прокоса еле-еле уместится.

– Да-да-да-да-да, – поддакивал бойкий дождь, обрушиваясь на нас в прогалины между ветвей.

Нюша показала дождю язык, произнесла дразняще:

– Б-б-е-е. Не сахарные – не размочишь.

На подходе к деревенской поскотине встретил нас Тереша, держа на сгибе левой руки брезентовые плащи. Он нежно накрыл дождевиком Гориславу, передал брезентушки нам. Трогательная забота старичка привела всех в умиление. Жена сияла счастливым мокрым лицом: на нем нельзя было различить, где дождевухи, а где слезинки.

До вечера сыпали тучи дождевую зернь. Небо на западе

Неподалеку от стойких ног электрической опоры страшно и немо зияла пустотой выкопанная загодя могила. В нее мог лечь любой из последних пяти жителей Авдотьевки. Но они съехали с бросовой земли, оставив незанятой резервную могилку.

На кладбище со всех сторон напористо надвигались кусты и густущая трава. Отдельные стебли живучего кипрея успели подобраться к крестам, оплели их, тянулись между арматурных прутьев голубых и зеленых оградок.

Неподалеку от кладбища горячо полыхал рубиновый куст раскидистой бузины: неумолимое время зажгло вечный жертвенный огонь в память по всем усопшим нарымчанам и порушенным сельбищам.

*Томск – Пицунда
1986 – 1987 гг.*

хая сосновая грива. Подступает клюквенное болото: ягода, мох для конопатки стен всегда сгодятся. Полосы чернолесья чередовались с кедровниками. Ходили поселенцы по промятым охотничьим тропам, не смущались, что кто-то тут был до них, разводил костры, развешивал зачем-то на деревьях разноцветные ленточки и сохатинные рога. Здесь ступала нога человека, но имя ему было не пахарь. Кочующая голытьба искала вольную землю и нашла ее на светлом крутояре. Никто до них не застолбил здесь участок, не поставил сруб, не раскорчевал ни десятины земли. Попробуй, спихни теперь с обжитого места бородачей, успевших пропитаться запахами вскрытой земли, парового дегтя и рыбьего жира.

Выше по реке стоял все тот же нетронутый лес, тянулись необмерные взглядом болота, луга. Дивно всплескивалась на темной глади рыба. Чернели от уток озера. Шумела густая сочная трава. Встречалось много переплывающих реку змей. Верховод поселенцев Козьма Дектярев строго-настрого приказал не казнить их веслами и палками: каждая тварь допущена на жительство земное.

Поселенцев поражал непривычный цвет воды. Плыли, словно по крепко заваренному чаю. Эта диковинка открылась еще с устья, когда миновали многоводную Обь и на лодках, купленных у рыбаков, вошли в набежную темь. Думалось, что время упряталось до поры до времени в пучину свое предночье и выпустит его из берегов по сигналу звезд. Но странное дело: солнце долго не уходило на покой, и над северным объемным миром правил устойчивый, затяжной свет.

Лодки придерживались тихой воды, торопились миновать середину плесов. Совсем избегали подъярного, напористого водобежья. Там повсюду торчали ослизлые карчи, топорщились обрушенные оползнями деревья, и воронки свивали гнезда пористой желтой пены.

Не на погибель, на вольное безбедное житье вез послуш-

го обвинения председателя возненавидела Парфена. И Крисанф хорош: сидел, поддакивал отцу, запивая вранье подкрашенной самогонкой.

Новый председатель-ставленник перевел бывшего кладовщика Сотникова в разряд чернорабочих. Ключи перешли в руки Парфена. При новой колхозной власти он шире расправил грудь, нарядился в такой же комсоставский френч, обзавелся галифе. Парфен поклялся выжать из колхоза все привилегии, отомстить за то, что власти когда-то оставили от его крепкого хозяйства одни в ы ж и м к и. Игольчиков-старший костерил себя, что на алтайщине не обзавелся дружками-начальниками, не потчевал их, жмотничал, жалел денежки на угощение и подарки. Раскулачиванием – вот чем обернулось такое скупердяйство. В Дектяревке мужик разом прозрел и поумнел. Довольные угощением, приемом районщики увозили свежесбитое масло, круги домашней, крепко прочесноченной колбасы, меха, мотки шерстяной пряжи, ягоду и орехи. Не зря подмасливал гостям зажиточник Парфен – председатель испекся, всеми ключами от складов правит он, бывший поднадзорник и ущемленец в правах. Не бывать тому, чтобы всякая тварь вытирала о Парфена ноги, помыкала и гнобила. Далось в крепкие руки новое богатство, теперь его ни за что не упустит.

Предвоенной многоводной весной дектяревцы поражались уловом: грузнели от рыбы сети и фитили. По милости солнца льды и снега обернулись вечной водой. Река не захотела оставаться рекой, легко перемахнула границу левого берега, ударилась в долгие безоглядные бега. Ей нравилось верховодить над низкой сушей, парить над лугами вольным летом.

На широкодонном обласке Парфен с сыном поехали проверять фитили. Левобережное понизинье откатывалось к небесам. Местами синеватую даль застили голые тальники,

Крутился перед лицом черный прах сгинувшей избы, забивал ноздри, лез в глаза. Навалилась бесовская, едущая злоба, заставляющая до боли стискивать зубы.

За обгорелыми венцами амбара суетились куры, разыскивая уцелевшие зерна. Среди них живым клочком огня бродил горделиво петух. Маленькое пламя с гребешком напомнило Парфену о недавнем пожаре. Он схватил головешку, швырнул в форсистого петуха.

2

Острой двуручной пилой Игольчиковы валили сосны на новый сруб. Они давно заметили толстую лиственницу на стояки фундамента. Раскряжуют, обожгут на костре поверхность столбов, чтобы не портила гниль, не лакомилась жуки-древоеды.

Отец с сыном сидели на свежих пнях, дымили самокрутки. Кто-то ломился к ним по кустам. Парфен пододвинул к себе топор. Подбежала раскосмаченная Матрена. Переводя дух, выжала жуткие слова:

– Бе-да, му-жики... война.

Среди лесного июньского великолепия – молодой листвы, волглого, шелковистого мха, пьянящего багульника, цветов, птичьего разноголосья слово *в о й н а* сразу не было воспринято со всей обнаженной и страшной правдой. Крисанф поперхнулся дымом, раскашлялся: от натуги нос посизел. Молчали, не выпытывали посылную, переваривали услышанное. Парфен мозговал: погорельцев, чай, не возьмут – дадут отстроиться... в районе знакомцы есть, помогут...

Возле колхозной конторы бурлил люд. На лицах растерянность, недоумение: как могла объявиться гроза среди ясного, бестучного неба. Сухолицый, зыркастый военкомщик размахивал списком первобранцев. На сборы давались сут-

но стиснув зубами уголок полотенца, обмирала от колдовских медлительных рук деревенской повитухи. Не терпелось услышать первый вскрик. Рассеивался блеклый свет лампы-керосинки: избяное озарение первых минут жизни. Братики кричали наперебой. Они громогласным ором заявляли о появлении двух не лишних для земли ртов.

Заслышав плач, ошеломленный радостью отец хотел приблизиться к повитухе. Она шикнула на него и заставила выливать из чугунов в банную шайку теплую воду.

Принимая роды, телесатая баба без умолку сыпала словами: успокаивала, заговаривала боль. Когда благополучно удалось извлечь младенцев, свое тараторство переключила на них: «Ах, вы мои маленькие-удаленькие! Сичас мы вам пупешки ниткой шелковой перевяжем, да лишнееотрежем». Шустрым пальцем игриво задела у новорожденного промеж ножек. «...А вот энти пупешки мы перевязывать ничуть не собираемся, отрезать тем паче. Энти пупешки за милую душу девкам сгодятся...».

Сотворив вялую улыбку, родиха облизала сухие губы, попросила пить. Повитуха подала кружку клюквенного морса: «Выпей, милая, за появление близнецов». Крисанф, вылив из чугунов нагретую воду, сверлил глазами матицу, примеривался, куда вбить заранее откованный крюк для зыбки.

Мать ревниво оберегала малюток от прикосновения мужа. «Не смей с улицы подходить к зыбке... руки вымой, прежде чем брать крошек... Не гляди, не гляди – твоего тут ничего нет...» – «Хм! С ветру таких красавцев не принесешь. И нос мой и... пипетки. Одного в честь ихнего деда Парфеном назовем. Решено!». – «С кем решал-совещался? Будут они по-моему Петром и Павлом наречены – в честь святых правоверцев», – «Отыскались новоявленные апостолы. Им в будущем не проповедовать – хвосты быкам крутить придется да сено в лугах ставить».

Подступил август – месяц-зарничник. Вспыхивали безгромные молнии, небеса подолгу заигрывались сполохами. Матрена снова ломала голову над тайной высот...

Под вечер в председательскую каморку заявился насупленный Крисанф, бросил на стол ключи.

– Все! Кончено! Пусть склады принимает Сотников.

Председатель одернул френч, гулко припечатал ладонь к столешнице – пресс-папье закачалось.

– С каких пор кладовщик должен принимать генеральские решения? Тебя, тебя спрашиваю, взломщик моего спокойствия. С Сотникова подозрения не сняты за разбазаривание зерна. Забирай ключи и марш отсюда!

– Не могу переносить его пулевого взгляда. Палит в меня с самого возвращения с войны. Мужики болтают: Крисанфу кладовщицкая должность досталась не по шучьему – по сучьему велению. Тошно издевки слушать.

– Ты не хлопай ушами. Правь складами самолично. Я поставил, я сниму.

Тянулись колхозные однообразные годы. Тяготы одной страды сменялись тяготами другой, отягощая крестьян почти осторожным положением. Колхоз цепко держал подневольников, беспаспортников. Плывущие облака, вечное течение реки дразнили деревенцев свободой передвижения. Крисанфу давно хотелось забрать семью, покинуть нелюбимую деревню. Ранняя смерть матери, неизвестность об отце, отчуждение жены, колхозников сильнее замуровывали в стены кособокой избы, лишали покоя. Мужики пригрозили: сжульничаешь на весах – не сносить головы. И он верил: они не остановятся ни перед чем.

Матрена спала с детьми на широкой самодельной кровати. Несмотря на нудливые просьбы мужа, не перекочевывала на его душную перину. Под тяжестью хозяйственных забот, под желанными заботами о детях Матрена временами

переставала замечать существование мужа. Сделалась рассеянной, погруженной в светлую глубину материнской любви. Любой прыщик на теле апостоликов приводил ее в волнение. Постоянно касалась ладонью их лбов, проверяла на жар. Не обнаружив его, гладила, ласкала, целовала глаза.

Неожиданно для Матрены муж стал бредить по ночам. Поеживаясь от неприятного ощущения, мать боязливо обнимала детей; вслушиваясь в запальчивое бормотание, улавливала слова: тятя... пожар... не убивайте...

Утром укоряла:

– Заговариваться стал, хозяин. Что ни ночь, то бормотня.

– Тятя явился в сон, угольями раскаленными осыпанный. Спрашивает: хорошо ли стережешь избу? Не забывай первого пепелища. Как бы второго не было. Страшно на тятю смотреть. Пылает весь, точно из глыбы огня сотворен.

Без вести пропавший Парфен стал и средь бела дня являться. Мерцает голубоватым свечением, гримасничает. Дынеобразная голова качается по сторонам, на шейных позвонках не держится. Протягивает Крисанф дрожащую руку, пытаюсь пощупать странное видение. Пальцы, погруженные в н е ч т о, тоже начинают напиваться фосфоресцирующим светом. «Зачем прогоняешь меня из снов? – казнит сына неустойчивое видение. – Заклинаю: спасай избу и шкуру. Грех на нас лежит великий: людей безвинных по этапу пустили. Мести жди».

Отпылало видение, сокрылось. Сжалась в комок греховная душа Крисанфа. Жутко стало жить от предчувствия беды.

Долго не рассказывал духовидец жене о тайной встрече с отцом. Поведав пасмурным днем, услышал разгадку:

– Во плену твой отец, вернуться на родину не хочет. Грех – кладь тяжелая. Кто вынуждал вас честных людей виноватить? Выходит, вам с отцом при жизни ад уготован.

нудливой чередой колхозных и домашних дел. Написано на роду ходить в поводу – не избежать запряжки.

Впереди была вседневная обыденщина труда. Председатель отчитал вопленицу: подвела, баба! Навечно приговоренная к тяжелой участи свинарка почти не воспринимала произносимых на митинге горестных слов. Она думала о подрастающих сынах, о том, как скопить деньги на сатиновые рубашки, на ботинки, на многое другое насущное для жизни. Еще не погашен полностью прошлогодний налог, в страшных цифрах обозначен новый: неотвратимый, безоговорочный. Налог не скинешь, как фуфайку с плеч. От него не увернешься, не отбояришься. Спасибо дворовому хозяйству, личной подсобе. На колхоз приходилось только надеяться, на своем дворе – не плошать. Хлебай, баба, редьку с квасом, расставайся с мясом и молоком. Корми бесчисленных едоков матерой страны... Эх, деревня, не раз битая под дых, очнешься ли от долголетнего истязания?!

После буранивого марта, последних трескучих морозов наступила дивная оттепель. На солнцегреве частой каплей отекали сосульки, лоснились сугробы. С южной стороны тоньшели на крышах снежные напластования. Оседлав сухие звонкие сучки, дятлы выбивали далеко разносимые трещоточные звуки. Вовсю распелись синицы, долгим упрямым звоном торопили приход сплошного снеготая.

Детушки Петруня и Павлуша бегали в школу, учились по истрепанным учебникам. При зубрежке не выпускали из-под пальцев полустертые строчки, плохо понимая суть премудрых слов. Крисанф продолжал крепить оборону избы, боролся с плесенью в подполе и вел затяжную борьбу с крысами. Год от года множились плодильные твари, найдя себе приют под избой, хлевом, баней, под ровными поленницами дров. К зиме они сбегались по многочисленным норам в теплое царство подпола. Грызли кадушки, берестяные туески, мучной ларь

терялся, говорит: «У тебя, Верка, не в той местности дверка». И к весам – шерсть взвешенную снимать.

Бобылка что удумала? Зашла в склад, насторожила под своим сереньким платишком капкан. Висит дверца на сыромятном ремешке, лапу Яшкину ждет. Захотел озорник опять дояриху на ущуп взять. Капкан клац челюстями. Готово! Верка своими мосластыми коленками, как клещами, руку сжала. «Там ли, Яшенька, дверца, там ли ворота тесовые?». Весовщик неделю гирьки на весах левой рукой переставлял. Наши авдотьевские молодухи могли за себя постоять, слово-занозу без промашки всаживали. Отбрили тогда Яшку: «В другой раз будешь местность нужную искать – рукавицы-мохнашки натягивай. Лапу не закапканит».

Верка-доярка осрамила, она же помогла позже кладовщику. Приметила зоркоглазая: на одном мешке с шерстью песчаная пыль сидит. Вскрыли мешок, потрясли шерсть на холстину – песчаная россыпь полетела. Хитрец Гришаев через сито песочек васюганский просеивал, утяжелял шерсть.

В разговоре бабушка нетороплива. Каждое ее слово сверено с жизнью, накалено ярким светом правды. Тереша никогда не перебивает жену. Он упоен ее тягучей речью, по доброму завидует цепкой памяти.

Часы-ходики зорко следят за летним днем, за отпущенным ему временем.

Осколком темной ночи ходит по избе вразвалочку откормленный рыбой кот. Трется о ноги Тереши, благодарит рыбака.

После обеда Горислава любит поспать. В избе ни комаров, ни мух, но она все равно ложится под просторный марлевый полог. Идя к широкой кровати, извинительно произносит:

– Сон долететь стал. Дряхлею – погребом пахну.

– Поспи, Славушка, поспи, – успокоительным тоном провожает Тереша.

в кладовке. Взирались по стенам, прыгали на подвешенные мешки со съестными припасами, учиняли разбой в курятнике. Среди ночи звучно шелкали настороженные крысоловки: значит, какая-то ушлая прожора обхитрила ловушку. Иногда попадались. Утром охотник с безразличностью вытаскивал из-под пружины хищно ощеренную мертвую разбойницу. Крысы пиратствовали повсюду и успешно плодились в своих тайных отнорках. Мешки с овсом, отрубями были сплошь в дырах. Иногда, высыпая в ведро корм, хозяин вытряхивал загостившуюся в мешке крысу. Она опрометью сигала за цинковую посудину и в несколько прыжков достигала обжитой дыры.

Крисанф сжигал в подполе порох, подпаливал бересту и совал в норы. Газовая война не сократила крысиную орду. Апостолы Петр и Павел подолгу дежурили с рогатками около прогрызов в полу, стерегли нахальных приживалок. Иногда стрелкам удавалось попасть и оглушить пулькой особо смелую разведчицу, рискнувшую на вылазку средь бела дня. Крыса летела кубарем, притворялась мертвой. При подходе стрелков подпрыгивала, ощеривалась: мальчишки замирали на месте и в страхе пятились к печке.

Годы шли. Ветшала изба, нижние венцы изъедал липучий грибок. Председатели в колхозе менялись часто, ни один не свалил с дектяревых затыжную нужду. Игольчикова давно сняли с кладовщиков. Года четыре выколачивал рубли на разных работах, затем надолго засел с дробовиком сторожить деревенский магазин.

Кажется, с сотворения мира орали здесь петухи, слышался собачий брех, гремели телеги, постукивали бадейки.

Со страниц газет замелькали непривычные дотоле слова – культ личности. Народ не верил, что кто-то может потревожить живучее имя, с которым еще недавно умирали на войне, загибались в тылу, делеяли надежду на скорый приход земного рая.

– Поговорим на улице. Какими ветрами, спрашиваешь, залетел сюда? Ветрами перемен. Газеты читаешь, радио слушаешь. Косточки вождю переменяют, Берию, Ежова трясут. Мы были исполнителями. Прикажут – любого за шкуру. Надо – за колючую проволоку. Надо – чик-чик. Во внутренних делах всегда строго. Всякая сволота по нашей земле бродит. Враги маскируются. По стране покатилась обратная волна: оправдывают ранее репрессированных. Следственные комиссии шныряют. Сюда не заглядывали?

– Пока нет.

Гость выпустил вздох облегчения.

– Помнишь, мы брали за поджог смолокурного завода Игната Гришаева?

– Хорошо помню.

– Если нагрянет следователь, будет разбираться по заявлению, подписанному тобой, стой на своем: поджог умышленный с целью подрыва сибирской промышленности. Ты же видел, как смолокур пол керосином обливал, зажженную бересту подносил?

– ...Своими глазами видел...

– Вот так и говори. На своем стой.

– Илья Абрамыч, вы сейчас в органах?

– Надоело. Ушел. Экономистом в тресте.

На лице гостя вздымался горбатый, сильно утолщенный внизу нос. Пухлые вывернутые губы были покрыты легким налетом синевы. Собачья служба былых лет подарила дурную привычку скусывать с губ частички мяса, гасить таким образом нервность. Ямки на искусанных губах затягивались нарастающими пленками, причиняя долгую, противную боль. И сейчас Илья Абрамыч будто ужежевывал что-то во рту, сплевывая изредка окровавленной слюной. От его широкой лысины кружком свешивались жидкие седоватые волосы, маскирующие обильную перхоть.

В курятнике переполох. Заметались хохлатки, с криком и квохтаньем разбежались по углам, взлетели на насест. Крисанф ловко набросил рваную фуфайку на росленьких цыплят. Умело завернув петушку голову под крыло, охотник пошел к чурке. С минуту жертва лежала возле топора – усыплялась. Усыпленную легче тюкнуть топором по шее. Не успеет очухаться – на чурку брызнет кровь, можно ошипывать тепленького цыпленка. Игольчиков любил отсекал головы курам и петухам. Короткую казнь вершил артистично. Отваленная голова петушка последний раз дико моргнула раскосым глазом. Конвульсивно дергались лапки. Тушку покачивало на окровавленной чурке. Предсмертная агония действовала на мужика возбуждающе.

Бульон не пошел на пользу. Не на шутку встревоженный муж готовил отвар шиповника. Открыл банку с лесной малиной. Мочил в холодной воде полотенце, растирал больной грудь.

– Матренушка, ты крепись, не давайся болезни... Ты у меня самая хорошая, самая добрая... Крепись, Матренушка.

Больная упорно отказывалась от врачебной помощи, ссылаясь на бабушку; за всю жизнь не съела пилюльки, не утыкнулась иголкой. Через двое суток кризис миновал. Дело шло на поправку. Матрена Олеговна привычно заматалась между прожорливой колхозной свинотой и личным двором.

За порой первоснежья по стариковским приметам через месяц должна была лечь зима. Но она затаилась, не насылала морозы. Прошуршала по реке шуга. За оттепелью очистились плесы, посверкивая гладкой, медлительной водой. Дектяревка парилась жидкими дымами печей. Перед ликом небес деревня лежала отверженным поселением. Ходили упрямые слухи: недоходный колхозник скоро закроют, словно речь шла о сундуке с крышкой. Сундук пока стоял на месте.

Визжала циркулярка на пилораме. Попыхивала печь в кормозапарнике. Тракторишки утюжили грязную деревенскую улицу, оставляя изжеванную гусеницами колею.

Ждущий возмездия Крисанф жадно слизывал суетливыми глазами газетные заголовки, строчки статей – не мелькнет ли где его имя, не вскроется ли дело о смолокуре Гришаеве. Полосы отмалчивались. Тревога на время притушевывалась. В это затишье души мужик решил перейти от обороны в наступление: сел за анонимную жалобу. Писал под копирку в райком партии, в газету. Чтобы не узнали по почерку, карябал аршинными буквами левой рукой: «Наш председатель разваливал колхоз. Доярки запились. На грязную, недоенную скотину жалко смотреть. Под снег ушло двенадцать гектаров овса. Председатель сам гуляка. Глушит самогонку с механизаторами...». От напряжения и необычной тяготы рука за деревенела. Радетель за колхоз на первый раз ограничился коротким, почти телеграфным сообщением. Главное – дан сигнал. Пускай башковитые люди в районе думают, принимают меры.

Разбираться по жалобе приехала комиссия. Под видом обсуждения плановых заданий устроили общее собрание. Гладкошекий, осанистый инструктор райкома спросил:

– Кто что имеет сказать?

Мигом поднялся красномордый, взъерепенный фуражир Портнягин, отбазлал с места давно созрелый вопрос:

– Молви, механик Куцын, тебе выговорюку по партийной линии залупенить, али миром порешим? Выставишь колхозному активу ящик водки.

Раздалось несогласие:

– Почему активу? Надо всему сходу.

– Гони всем.

– Пока в лавке водится...

Механик смерил крикунов презрительным взглядом.

лубочные доски. Строитель удовлетворенно тыкал острым концом лома в монолит – стена гудела.

Через три года бетонное чудище было готово. Бункер с несколькими потайными нишами протянулся метров на пятнадцать. В случае надобности через возведенную бетонину можно было попасть на улицу: люк с крышкой выходил около огорода.

Детям и жене строгий наказ: о бомбоубежище никому ни словечка. Постойщики подарили хозяину жаркую электрическую печку. Энергию печь-самоделка просто жрала. Мастер просушил бетонину: жара в подполице стояла африканская. Сюда не доносились даже раскаты грома. Ребята устраивали в подземелье засаду, прятались в нишах. Голоса летали коротким пугливым эхом.

В каторжной работе тонули тоска и страх. С устатку даже не хотелось тревожить бутыль со своегоночкой. Матрена Олеговна крестилась: слава Троеручице-заступнице, хозяин бросил пить.

Сколотив из струганых досок топчан, Крисанф в летнюю духоту отлеживался в прохладном бункере. Курил, бабахал кулаком по бетону, удивляясь проделанной адской работе. Его окружала настоящая неприступная крепость. Иногда чудилось: где-то рядышком, не то за стеной, не то под полом журчит вода. Напрягал слух до шума и звона в перепонках. Думал: пусть себе бежит. До лягушечьей канавы всего метра три... там стена воды, тут незатопляемое углубление... накося выкуси.

Обживал бункер с большей охотой, чем избу. Настелил, выкрасил пол. Купил в магазине рулон репродукций с известных картин, приклеил к бетону сосновой смолой. Над лежаком изнуренные бурлаки тянули грузеную барку. Напротив Серый Волк мчал по дебрям Ивана-царевича. Крисанф-царевич вслушивался в звенящую тишину бетонного мира,

– Мил-ляги! Я ввас всех уп-пою!

Тут же валился на лежанку, покрытую войлоком, спал беспробудно до заступления на ночное дежурство. Не отрезвев ладом, подневольник вина тащился к магазину, упрятав в кармане плаща четвертинку на опохмелку.

У магазина бороться со сном стало невыносимо. Обняв двустволку, засыпал на крыльце спиной к двери. Ненастной ветреной ночью у спящего пьяного сторожа утащили ружье и патронташ. Живую охрану взвалили на носилки, унесли на кладбище. Прислонив к кресту, накрепко привязали руки. Распятый Крисанф мычал, икал, но не сопротивлялся. Бормотал спяну: «Ммотря, оппохмели».

Под утро разбудил яростный собачий лай. Сторож выпучил глаза, непонимающе уставился на твякающую дворнягу. Распухшее лицо густо облепила мошкара. Тряхнул раскосмаченной головой – гнус не слетал с удобного сидала. Попробовал отмахнуться руками – не послушались. Перед глазами запестрели поблеклые венки, встали кресты, оградки. По сердцу полоснул весь ужас позора. Накрепко привязанные руки сковали оцепенелое тело. Сторож осмотрелся и не нашел ружья. С кладбища хорошо просматривался магазин. Дверь не взломана, окна целы. Это успокоило.

Псина разрывалась от злобы.

– Цыть, сука! – рявкнул распятый, расшатывая за спиной старый крест. Дерево слегка треснуло. Крисанф узнал необнесенную оградкой могилу деревенской полоумки Стешы, похороненной за колхозный счет.

Дворняга умолкла, стала принюхиваться к оттопыренному карману плаща.

– Учужала, гадина, колбасу. Освобожусь – отдам. Не гавчи только.

После выпитой и заброшенной в овраг четушки сторож не закусил. Ругал себя за допущенную промашку: не окосел

Бег времени угадывался по смене дней и ночей, по водополью и ледоставу, по севу и жатве. Апостолы Петр и Павел учились в городе, посылали родителям короткие весточки и постоянно просили денег. Коренные крестьяне уходили на пенсионный отдых. Колхозик год от года истекал силой. С отъездом сыновей в жизни Матрены Олеговны образовался глубокий провал. Свиарник теперь не призывал по утрам, не ошпаривал поросычьим визгом. Будильник не обрывал сладкий утренний сон. Завершилась долгая череда будней. Однако выход на пенсию отрады не принес. Подкатило тягостное ощущение близкой старости. Прожитая жизнь мерцала во мраке удаленных лет. Ее никогда не радовал личный мирок подворья, но по-прежнему занимала тайна солнца и вознесенных звезд. Душа не бунтовала против неизбежной разлуки с жизнью. Все так просто случалось с человеком: родился, пожил, помер.

Скованный немотой кладбищенский крест никому не поведает, каково умерцу в загробном пребывании... Оттрудилась, Матренушка, полеживай на постели в свое удовольствие. Дуроломили в колхозе, жилы рвали. К чему пришли? От долгов к долгам. От убытков к убыткам. Пели колхозному строю а л л и л у й ю, скоро а м и н ь пропоем. Невеселые думки накатываются при мытье полов, при уборке навоза. В сундуке залежались почти неношенные платья, кофты, юбки, пропитались нафталином. Мечтала съездить к морю Черному, муж-лукавец одну не пускал. Ехать вдвоем хозяйство не позволяло. На кого скотину, огородню оставишь? Могли бы подростшие апостолы заменить – отец не доверял им. Пуше всего пугался Крисанф дорожных расходов. Поедешь – плакала тысяча, она ведь рубль к рублю сбита. Копейка и то целковик бережет.

Пенсионеры старели вместе с деревней: неотвратимо навигалась ее кончина. В сгоночное время наскоро сколочен-

ние сердца ошеломило. Изменился, поновел неброский мир земли около умирающей Дектяревки. Вокруг нее и до самого полюса неба покоилось то, ради чего женщина вековала, молилась, страдала, трудилась тело. Лежала почти нетронутая миротворная природа, ниспосланная человеку. Раньше не так сильно гипнотизировало великое лежище звезд: им отводилась ночная загадочная жизнь. К утру звезды сливались с солнечным шаром и усиленным светом воскрешали землю.

В тайге, на лугах, у реки притуплялось чувство одиночества. Хотелось продления лета, тепла. Долгая зима мертвила все. С годами тяжелее переносился ее гнет. Матрена Олегова нетерпеливо ждала прихода весны. Напитанное сочной синевой мартовское небо, призывно-заливистый свист синиц, подтайка сугробов на косогорье, оплавленные следы зайцев за городьбой, броский цвет оживающего в сокоброд краснопрутника – все стало примечаться, тревожить той особенной щемящей тревогой, которая возгорается к закатным годам бытия. Заново рожденная с весной земля скоро начнет извечный обряд обновления. Изнуренное за жизнь сердце, включенное еще в чреве матери, достучит до последнего часа, и самая бурная весна не вдохнет в него воскресающую силу.

Она не верила в загробную ж и з н ь. Придет глухая загробная с м е р т ь. Остаток времени между вот этим живым и последним мигом будет подобен шепотке песка, истекающего из верхнего сосуда песочных часов на холмик нижнего. На кладбище тоже поднимется холмик.

Иногда воображение четко прорисовывало картину ее похорон. Гроб на табуретках... поднимут... вынесут... опустят в землю... В деревне нет вопленицы кроме меня, никто не отрыдает по умершей страстью истой плакальщицы.

Весна помогала прятать печальные мысли. В судьбе не насчитывалось ни дня позора. Жизненный путь собиралась свершить без покаяния. Жила в ладу с людьми и совестью.

Подняла на ноги апостолов. Отдала колхозу почти даровую энергию мышц. Не бросила мужа-сожителя. Деньги, барахло не копила. Жила впроголодь – не ныла. Сытость не затинула душу жирком. Приходи, смерть, с косой – чиркай: не боюсь. Столько накосила сена, столько прогнала прокосов, что тебе доверяю последний взмах...

Бодрилась на завалинке Матрена Олеговна, хорошо зная, что плотно спрессованные годы жизни стали стократ дороже и значимее. Сверкающая солнечными гранями природа конца мая призывала к радости, празднику сердца. Вот оно – светило. Вот он – лес, рожденный при его живом участии. Вот она – большая вода новой весны.

Подсел Крисанф, боязливо положил руку на плечо. Жена не сбросила, даже погладила волосатую пятерню. Мужу хотелось замурлыкать от приятного чувства, от редкой ласки лично-собственной Мотри. Он-то прекрасно знал, что был для нее чужаком, что только огромный запас долготерпения этой женщины соединяет их вместе.

Уходящее на покой солнце успело расплавить далекий вершинник леса, образовав полукруглый золотой пролом. Дворовый пес уткнулся мокрым носом в колени хозяйки, блаженствовал в переливчатых лучах.

От мужа пахло вином и луком. Жена давно устала зубатиться с ним, сидела отрешенная, тихая, полуусыпленная закатным светом.

– Я передумал...

Ни слова от жены.

– ...Передумал, говорю я. Детям триста рублей приготовил. Пусть катятся по Чуйскому тракту.

– Сердце не разорвется? Ведь триста целковых... рубль к рублю подгонял.

– Катись они, энти деньги! На засолку не годятся. На ломоть не намажешь. Пусть шикуют апостолы. После кон-

По долгим сатанинским зимам на Крисанфа наваливалась чугунная тоска. Без вразумляющей Библии давно уяснил быль о вечной суете сует. К чему отупляющая колготня жизни?! Родился, вырос, бился за хлеб насущный, получил незавидную пенсию. Жди, когда в знаменатель судьбы прикочует смерть, подведет жирную черту под твоим существованием. Это же удел червя в навозной куче. Возвращаясь к прошлому, Игольчиков искал ту раздорожицу, откуда был сделан ложный путь. Никак не хотел соглашаться, что подписанное клеветническое заявление на смолокура – жестокий приговор самому себе.

Он чувствовал себя в положении волка, обложенного красными флажками. Неужели все расчеты жизнь производит на пороге смерти? Если бы случайно изъять из головы часть мозга, отвечающего за покой души. Старик прибегал к самозащите, сделав подданным белого демона – самогонку. Винокур гнал ее редко, но в большом количестве. Обычно дожидался ветра, дующего на безлюдные болота: пусть крепкий дух барды разлетается по белым просторам, дурманит зайцев и лисиц.

Налитый в плошку первач испытывался вначале зажженной спичкой. Занималось разом голубоватое пламя, винокур ощущал ладонью приятный жар. Живая винная плазма веселила. Покрякивал, щелкал пальцами, причмокивал губами. Давно вычитал о вредных сивушных маслах, поэтому осаживал их на дно бутылей молоком, сметаной. Полупрозрачные сгустки походили на маленьких омертвевших медуз. Терпкий дух самогонки мастер отбивал корнями болотного аира. Коньячный цвет получался от растворимого кофе, им снабжали шофера с трассы.

Первая проба напитка напоминала священное действо. Знатоки отпивали глоточек, смаковали языком, ощущая, как по нёбу расползается почти спиртовая крепость. Проведя анализ

не ругайся грозно. Ты сама была такой – приходила поздно». «Прокатилось решето, прокатилось сито. Сорок раз поцеловал и то недосыта». «Эх, конь вороной, белые копыта. Когда вырасту большой – н а л ю б л ю с ь досыта».

– М-мот-ря! Спускайся сюда! – ухарски рявкнул из подполицы гулеван.

Ответа не последовало. Не выпуская гармошки, Крисанф протопал к пятну света на бетонном полу. Поднялся по лесенке, высунул голову из люка. Жена лежала на кровати, постанывала. За последнее время часто стало знобить. Применяла примету от лихорадки: умывалась, вытиралась изнаночной стороной подола – не помогало.

– Эй, Мотря, вставай!

– Провались обратно, без тебя тошно.

– Опрокинь лечебный стаканчик... бурлаки просят и я.

Отвернулась к стене Матрена Олеговна, стиснула зубы от закоренелой обиды. Боже, когда кончится семейное истязание?! Ползет осенними тяжелыми тучами беспросветная жизнь. Если бы не воспоминание о детях, хоть руки на себя накладывай.

Несколько раз на старика наваливалась белая горячка. Задышался, рвал на себе нательную рубаху, расцарапывал грудь. Окатывала жена ледяной водой, гасила нутряной огонь. Растирала, массажировала деревенеющее тело... Гармонист, ешь твою клеш... пропиликал жизнь, сотворил злодеяние, нагнал на душу страх. Теперь отсидничай в бетонине, пузыри мозги проклятой сивухой. Ненавижу тебя и... себя за допущенную в молодости промашку. Деньги – фундамент для счастья хлипкий. Где любовь, привязанность, обоюдная доброта? Детушки, хоть бы вы приехали, утешили страдающую мать.

Крисанф выползает из подполицы с початой бутылкой, садится чинно за стол.

– Давай выпьем, неграмотная жена, помянем молодость.

да перед партийными сановниками. Сама знаешь, сколько гнобили колхозников-навозников.

– Не вспоминай давнее. Я давно далась горю в руки. Ничто не в радость. Присуху какую, что ли, ты напустил? Такие парни за мной ухлестывали – от одного взгляда сердце загоралось. Ты крылья мои подпалил. Прожила век за холщовой мех.

– Не прибежняйся, и в соболях ходила. Лису рыжую на воротник добывал.

– Непуть ты непуть. Да хоть в шелка наряди, золотом осыпь. Ушла бы без раздумий в монастырь, да кто такую рухлядь примет? По детям тоже не жизнь. Тошно под старость прислужой быть. Собак на выгулку води, поломойничай, кашеварь, мучайся головной болью от городского воздуха. Скажи, старик, на кой леший мы деньги копили? Смерть ими не подкупишь. Перину не набьешь.

– Береженую копейку бог тоже бережет. Я раньше круглым дураком был – все о колхозе думал, о трудоднях. Пора и о себе побеспокоиться. Меня уже лозунгами да призывами с толку не собьешь. Все кругом х а п о м живут. Кто повыше чином, побольше рвет. Поменьше – нам дурачинам достается. Будет з н а т ь, будет и ч е л я д ь. Я азбуку жизни на весь алфавит прошел.

– Выродок ты. Купец в телогрейке.

– Лайся, лайся. Стерплю. Тыщи-то, они уважение в человеках вызывают. Слышала небось нарымскую приговорочку: деньги есть – Иван Петрович. Денег нет – паршива сволочь. Вот так-то. Денежки и величать заставят, и голову чужую пригнут. Ты меня не виновать, что копейку к копейке гвоздочками золотыми сколачивал. На колхозные пенсии не наживешься.

– Я дома за целый колхоз везла. В свинарнике рученьки совредила.

стал. Солидный портфель носил о двух замках. Мать за младенцем так не следит, как Портфель дозорил за своим дитя с потертой ручкой. Думалось: оставь он свое кожаное хранилище где-нибудь в ходке или на зерноскладе, и враз осиротеет мужик, покоя лишится. Я м а с т е р н о тогда косила, много снопов ставила. Бригадир отведет норму на два дня – за один управлюсь. Это у нынешних колхозничков вся работенка на левой руке – на часики смотрят, время стерегут, чтобы стрелки обед не проскочили. Тогда наши ходики на небе тикали: солнце влево, солнце вправо. От зореньки до зореньки трудодень добывала. Порожного времени не знала. Тружливая была. Всю домовщину на себе везла да по трудодням с почетной доски не снималась. На сносах была – полные ведра от колодца носила. Повитуха кулаком из окошка грозит, в пузо свое тычет. Отмахнусь, поправлю коромысло, дальше топаю. Допустим, завтра родить – сегодня навоз пошла вывозить. Нитку шелковую взяла. Думала: рожу на поле, все хоть пупенку перевяжу. Отвезла два воза, вернулась домой, тут и приспичило. На третий день после родин на полный гуж всю работню везла. Крыса моя (так Матрена Олеговна изредка называет за глаза своего старика) по домашности помогает мало. Жрет за троих. Он с молодости на еду падкий. Выезжала с ним в большое село на богомолье. Говорю: Крисанф, ты бы хоть к обедне много не трескал: в церкви Христа негодным шумом конфузишь. Поп подходил несколько раз, принимался. Пришлось стыдобу за обжору перенести. На всенощной батюшка толкнул слегка нечестивца, прочел нравоучение: «Ты, сын мой, не на конюшне. На улице брюхо опрастывай, а то святой дух кадила перешибает». Похлопал Крисанф бесстыжими глазами, достал из-за пазухи еще теплую с д о б н и н у и стал печенюшку жевать.

Старик мой верит: в рай попадет. Я ему: да кто тебе в рай дорогу прочистил? В раю без тебя столпотворение. Чтобы

туда попасть, надо загробную комиссию года три проходить. Его в первый же день забракуют. У т а й н о жил, доносы, но-нимки строчил. В жизни не все путь истинный проходят. Я вот за собой ни грешинки не знаю и то не мечтаю о райских кущах. Крестьянкой жила, крестьянкой помру. Сколотят хатенку из досок – вот тебе и весь рай. По молодости верила всяким загробным небылицам. Праведники. Грешники. То, се. Чепуха на постном масле.

Если на земле рая нет, под землей не сыщешь. Да и зачем он, когда мы к аду жизни привыкли. Помыкались в колхозе, на лесоповале – вспоминать тошно. Портфель и кричит на собраниях: дух из вас вон – жмите полтора плана! Ну и выпускали дух на делянах, на сенокосе, на жатве. Юбки наизнанку носили. Придем с молотбы, вытрясем, перевернем и для дома одежда готова. При Портфелии трудодень совсем зачух: ходила с наволочкой зерно по расчету получать. И тогда помогала, кто беднее нас жил. Последнюю копейку от кармана отобью, но милостыню подам. Давно отколхозились, а поверишь, до сих пор боюсь: появится вдруг под окошком Портфель и гаркнет – дух вон, гони полтора плана. Злые штучки-дрючки проделывали с нами и с землей колхозной. Деревни ссыпали, рассыпали. Скотину обкорнали. Покосы у черта на куличках отводили. Ломали косы и грабли по неудобьям, рассуждали: и последняя коровенка в тягость, пора сворачивать личное хозяйство. Давно свернули шею деревне, попробуй распрями сейчас. А все это от слепоты повинования. Начальство рявкнет, мужики крякнут и суют в мерзлоту кукурузу. Прикажут: сей заячий помет – русаки вырастут, колхозники и тут рукой махнут. Эх, была не была – начальству виднее. Вот до чего, паря, нас довели. Сейчас гайки ослаблять стали, да туго поддаются: ржавчина былых лет держит. Беда, коли дурак с ума сойдет. Второе горше, если у нормального человека ум похитят, впихнут вместо него одни призывы.

– Ты, Мотря, в политике не шарься, – подключается Крисанф Парфеныч. – Всегда были и будут мозгоправы. Распустил тебя шибко – словом, вольничать стала. Мне тятя по молодости правильно внушал: колоти изредка жену за непослушание. Пусть она, стерва, вспомнит, как раньше рожь на Руси молотили.

– Тронь – башку разmozжу. Поленом такой горб набью – всю остатнюю жизнь будешь ходить беременным со спины. Тебе давно пора последнюю мебель заказывать – гробовину.

– Сама в нее ложись.

– Придет время – лягу. От беды можно уйти, от смерти не удерешь. Посмотрим, как ты улепетывать от нее будешь. Начнут черти на углях жарить – наслажисься. Ты зачем порядочных людей з а к л а д ы в а л, напраслину на них наводил?

– Они супротив партии и народа шли. Колхозы обхотывали, вождя принижали. Кто им давал право такие частушки распевать: «Раньше ели мы котлеты, а теперь наоборот: на столе стоит картошка, мясо лает у ворот».

– Какое тут принижение? Тогда налоговщики лиходействовали. Не царское время на наш век выпало, а все пережили – барщину и оброк.

– Ста-ру-ха, доболтаешься:

– Сиди, пим дырявый. Знаю, кому говорю. Гость – мужик-нарымец. У него мать в тылу надсадилась, рано умерла. Детдомыш он. Не прелой дратвой шит. Старик, наторбил брюхо, вылаз из-за стола. Экая требушина ненасытная!

– За войну отъедаюсь. До сих пор голод сосет. Брюшко раздавайся, доброце не оставайся.

– Не в клячу корм.

Смотрел на Матрену Олеговну, слушал обидную ворчбу на старика и прослеживал мысленно поворот за поворотом ее долгую безгрешную жизнь. Тяжкий крест взвалила она и про-

несла сквозь долгие годы – крест верности нелюбимому человеку. Неужели так подействовала строгая бабушкина наука, было отдано предпочтение домострою и мужу-наушнику? Передо мной сидела праведница, ставшая жертвой, принесенной во имя крестьянской непоручной семьи.

Громко чавкая, хозяин аппетитно ужежевывал кусок свинины. Было что-то звероватое в его буром, остроносом лице, в темных суетливых глазах. На сморщенной дряблой шее исчезал и выныривал тупой кадык. Еще крепкие зубы доблестно расправлялись с мясом. По мере уменьшения в бутылке самогонки щеки, уши приобретали кирпичный оттенок. Белки глаз мутнели, покрывались красными прожилками.

– Гостек, приложись к стакану. Или б р е з г берет?

– У меня от самогонки изжога.

– Нуу?! Со мной дак ничего не приключается.

Жена утвердительно покачала головой.

– В твою луженую глотку хоть уксус лей.

– Верно, Мотря, заметила: крепка пасть, как советска власть. Не всякий мои напитокчики проглотит: глотка в терку превращается. Перегоночка что надо. Глотку, хошь знать, тренировать нужно. Лет восемь назад продавали у нас красное азиатское вино. Многие отравились, мне хоть бы хны. Сделал промывание желудка второй бутылкой, чуток пощипало под пупом – и шабаш. Закаляться надо.

В горнице на ножках стульев надеты винные пластмассовые пробки: крашенный пол меньше царапается. Из красных, белых, розоватых пробок старик делает аляповатые цветы – пластмассовые лепестки цветов смотрят мертво на палисадник, чуть покачиваются на медной гнутой проволоке. Не раз Матрена Олеговна расправлялась с букетами: швыряла в помойное ведро, в печку, но упрямый садовод брал ножницы, в з р а щ и в а л на комод, на окна новые розарии. За время магазинного дежурства он набивал карманы плаща пробками, поэтому недостатка в материале не было.

Здоровье мое давно хлябает. Непростуженного места на теле и не сыщешь. Дождь, грязь, холодрыга – турнепс копаем-дергаем. Видишь, пальцы крюками в разные стороны. Э-э-э, паря, колхоз давношних лет чуток получше каторги. Земля любит людей, из которых пот льется. Сейчас хмельное лить любят. Раньше так: умеешь пахать-сеять – свой человек в деревне. Позже пошло: умеешь пить – в почете, бригадиру почти родня. Погляжу, бывалочи, в поле на хлебушко – сердце щемица берет. Иду и в дорожную пыль слезы роняю. До чего дожили! До чего хозяйство довели.

Мне маменька в детстве говорила: на плачь так долго, на другую беду слез не хватит. Оказывается, у меня на всякое горе слез море. Ошиблись бабушка с мамой, когда говорили: деньги на любовь выведут. Нет, они доли счастливой не сделают. Я давно это в ум взяла. Убеждаю старика: гроб деньгами не оклеишь, трать, пока живем. Куркульничает, в бетонине понапрятал. Останется у нас скоро одно движимое имущество – собака. Мне и она не нужна. Крисанф грабителей боится. Любит, когда гавкает пес, всякого заходящего с открытой пастью встречает. Ходила к нам из клуба лет двенадцать назад девонька красная. Стройная, худая: чихни на нее – ветром сдует. Грудешки молодые, крепкие – головками поварешек выпирают. Ходила, на спевки звала. Из старичья хор ладила. Какие мы певаки? Потягиваем давно заученную песенку: гооспоодии, блаагослоовии. В войну никто по списку на песни не собирал. Сами в клуб бежали.

Сыны мои давно деревне спину показали. Агроном сбегал, а хлеба когда-то неплохие ростил. Приезжает по весне к нему секлетарь райкома, пытается: «Дашь нынче по двадцать центнеров на круг?». Агроном к нему с подковыркой: «А ты дашь на круг пять нужных дождей для посевов? Будут дожди – хлеба жди».

Живет мой сын Павел во Томске, копит на ко-пертиф.

крыльца: «Хочешь, Мотря, я луну кулаком торкну, вмятину сделаю?». И начинает поддавать луне, поливать ее матерковщиной. Слышалось ему – столб электрический чихал, аж чашечки фарфоровые наземь летели. Дорога на ребро становилась. Баня над согрой летала. Запился вконец. Иногда от нервов так глаза задергает – брови перетибаются. Горячка не раз приключалась. Все какие-то мохнатенькие уродцы перед ним пляшут, рожи корчат. Отбивается от тварей, швыряет в них что попало.

Заподыхает от перегонки, я ему голову, грудь мокрыми полотенцами обкладываю, виски редькой натираю, простоквашей отпаиваю. Вот так, паря, и деньки деревенские текут. Слушай печаль мою да на ус мотай-наматывай. Не желаю тебе такого старчества. В вине меру знай. Всяко крепись, не давай ему потачки. Скажу тебе: издробился нонешний мужик. На питье талант есть, на другое мастерство нюх потерял. Кто сейчас колесо о ш и н и т, пимы скатат, дугу ладную загнет? У прежних мужиков-земельцев любое дело из рук не выпадало. Мастеровитые были люди.

Задумалась Матрена Олеговна, качнула серебряной головушкой, словно обессилил ее подстерегший сон. Очнулась от короткого забытья, расширила влажные удивленные глаза.

– О чем я, паря, толковала?

– Крестьяне были мастеровитые.

– Этак-этак... Командует артельный начальник: «Берись, Матрена, дояркой работать», Берусь. «Иди на телят». Иду, и падеж долой. Лен мяли, кудельничали. Холсты ткали. Полушубки для бойцов шили. Пимы катали. Бабы моих лет все могли делать. В войну колхозам матерые планы подносили. Под налогами кряхтели, горбились. Принуд-займы вносили. Мало знала в детстве весельства. Задумаешься: заботы-работы на ум падают. Девкой-большухой стала, в клубишко бы на посиделки сбегать, рук своих замозоленных, темных

семь смертей напрасных. Восьмая – твоя. Засолодел от вина, но укорот глотке не сделаю. Хороший стакан сам к тебе подойдет, к плохому не подсяду.

8

В морозы бетонный склеп обрастал куржаком. Замазанные раствором трещины постепенно расширялись, стены обретали волнистость. В нескольких местах пришлось сделать подпорки. Бункер напоминал штольню, сосновые стойки и укосины заменяли крепь. Иногда крепеж опасно потрескивал. Хозяин не мог поручиться за дальнейшую прочность подземного убежища. Многотонные груженные машины, пролетающие по зимнику, сотрясали болотистую почву, тоже колебали бетонину, возведенную каторжной работой и кровавыми мозолями.

Рождение вечера и тьмы проходило ускоренно. Зрачками несметных глаз подсматривали за землей непонятные миры. В лучах солнечной славы купался остророгий месяц.

Старика преследовали кошмарные сновидения: четвертовали тупыми тесаками сыновья осужденного смолокура, поливали раны кипящей смолой. Гоготали, по-дикарски прыгали возле изуродованного туловища. Власть снов оказывалась сильнее Крисанфа: не мог пресечь их самопробуждением. Когда же разлеплял в темноте глаза, получая избавление от жути, долго не мог заснуть от молоточного стука сердца, от разных наваждений: на них была горазда бесконечная зимняя ночь. Просился на жительство в трубу неприкаянный ветер. Потрескивали избяные венцы. В подполице лопался бетон. Падали сбитые чрезмерной нагрузкой сосновые крепи. Храбрых крыс подхлестывал на разбой затяжной голод. Вгрызались в продуктовый ларь. Опрокидывали в кладовой банки. Кромсали утиные крылья, приготовленные для подметания возле печи.

ступили на землю, жить бы да жить нарымской деревне, а ее отшвырнуло время, как порванную калошу.

Лежит старик под ватным одеялом, никак не может согреть холодеющие ноги. Черным едким дымом наползают дьявольские думы. В ушах несмолкаемый назойливый звон. Пробует утопить его в большой подушке, но даже глуховатое левое ухо продолжает улавливать шум настырной звуковой волны. Чем остановить долгий прибой, мешающий заснуть? Раньше думал о скопленных тысячах, о крепком хозяйстве, о бетонном укрытии. Теперь и такие раздумья не приносят утешения. Деньги. Для чего они скоплены? Перейдут по завещанию сынам, они пузо на юге греть будут, проматывать родительские сбережения. Хозяйство? Скоро все уйдет под нож. Наготовим домашней тушенки года на три, а там будь что будет. Бункер? Не отсидишься в нем при атомной заварухе. Без бомб рушится, морозы да вода погибель несут. Как ни раскидывает умом Крисанф – н е л а д у х а в жизни получается. Он представляет себя в промозглой кладбищенской земле. А что, если и в загробье не перестанут посещать видения? Тело омертвеет, а душа-то какая-нибудь все равно останется. И вот в эту остатную душу, в пары от мозга поползет всяческая чертовщина загробных сновидений. Старик ознобно ежится, переворачивается с боку на бок. Явится и в смерть проклятый угольный смолокур, поднимет угрожающе руку и будет стоять перед тобой вечным немим укором. В гробу глаза не откроешь, руку к графинчику не протянешь. Никак не уяснит Крисанф: может ли в мертвое тело проникать дух, могут ли в мертвую голову просачиваться сновидения. Грамотешки мало, про материю человека трудно допетрить косным умом. Слышал краем уха, что материя вроде вечна... ежели так – значит, каюк спокойной смерти в домовине. Говорят: трупы сжигают... а если видения в прах-пепел перейдут и там тебя будут четвертовать сыновья сгинувшего смолокура...

Похрапывает Мотря. Ей что: сон крепкий, смертный. Не вскрикнет в ночи, не пойдет глотать холодный квас. Хоть бы проснулась, под одеяло мое нырнула. Нет, чертовка, по-прежнему брезгует общей постели. С молодости взяла моду чураться, так и тянет бабью политику.

Сон одолел старика под утро. Явилось отчетливое сновидение: сидит гармонист Крисанфушка в окружении деревенских зрелых девок. Наяривает гармонь «Очи черные». Над чистой голубой рекой стригут воздух береговые ласточки. Райская природа приречья располагает к озорным думам. Гармонист присматривается к улыбчивым молодкам: кого бы сегодня отбить от гомонливой стаи, увести по шелковой траве за цветущие черемухи. Оттуда льется пьяный запах, даже издали видны грузные ветки, усыпанные лепестковыми висюльками. Глаза останавливаются на станистой Матрене. Она единственная из всех девок не подпустила к глазам улыбку. Это разжигает парня ярким огнем желания. Под перебор гармошки шепчет: моя, моя, моя.

Вдруг все исчезает, они остаются одни. Крисанфушка застегивает ремешки над мехами, берет гармонь-веселуху под мышку, правой рукой ухватисто обнимает податливую Матрену за стройную талию. Идут вдоль яра к черемухам. Река молодости катит внизу упорные воды. Тропинка хорошо утоптана... черемуха все ближе, ближе. Гармониста удивляет, что недавно мягкое, теплое тело девушки начинает холодеть и наливаться незнакомой дряблостью. До подхода к черемушнику гармонист не глядел в лицо сговорчивой Матрены. Когда сорвал духмяную ветку и, повернувшись, протянул – ледяная оторопь остановила руку. Перед ним стояла дряхлая старуха-вековуха, ненавистно смотрела на гармониста округлым гранитом глаз. Густо морщинистое, будто изжеванное лицо девки-оборотня тряслось, заостренный подбородок касался верхней обескровленной губы. Крисанфушка попытал-

обходимости. На нефтяной север привычной водной дорогой потянулись срочные грузы.

Стоял погожий теплый день середины мая. Прилетели кукушки, задорно переговаривались с верхушек деревьев. Матрена Олеговна сидела на врытой скамейке, глядела с яра на новое воцарение воды. Отсюда, с высоты птичьего полета, красиво смотрелось залитое левобережье. Придет срок, войдут в берега озера, речки. Луга будут ждать покосников. Расшумится от нетерпения осока. Осыплет семена пырей. В ворохах давно некошенной умершей травы будут снова мыши.

Заросшие тропинки косарей занесло песком и илом. Давно свалены водой балаганы. В колесах заброшенных конных граблей застряли коряги, палки... поставили деревне палки в колеса, сселили крестьян. Водоворот сселения оказался сильным, закрутистым. Из укрупненных поселков тоже течет народ. Трудно остановить упорный поток.

Земля будто отделилась от людей, зажила своей давнишней свободной жизнью. От затяжных раздумий Матрену Олеговну стал печалить веселый пейзаж.

Вскоре к берегу подошел быстроходный белый катер связи. По земляным ступенькам поднялся сухолицый, пенсионного возраста мужчина, поздоровался.

- Игольчиков далеко живет?
- На самом краю.
- Телеграмма ему. Не передадите?
- Переда-а-м, хозяйка ведь его.
- Совсем ладненько. Распишитесь вот тут.

Буруня за собой высокий вал, катер отчалил. Матрена Олеговна развернула листок, прочла: «тов. Игольчиков конце мая находитеcь дома следователь Синицын».

- Дома швырнула на стол бумажку, укорила:
- Достукался, доносчик!

Буквы плясали в глазах Крисанфа, никак не вытягивались в строчку.

Бежит Васюган, ловит каждое слово бойца последней войны. Не крепка у воды память, да крепка у солдата. Струится река среди зеленого однообразия болот, лугов, мимо залесенных увалов. До самой Оби с пути не собьется. Зимой будет пробираться на ощупь подо льдом и под снегом в долгой, нудной темноте. И тогда не нарушит векового притяжения, не запамятует, куда надо стремиться, чтобы соблюсти вечный закон вечного движения.

Терентий Найденов тоже не сбился с пути жизни. Он не искал иного добра, чем то, которое давал колхоз на Васюгане. Приверженность к нелегкой нарымской земле была сильной. Множество иных краев повидал Терентий Кузьмич. Видал такие земли, где даже угрюмые камни выжимали из своих щелей яркую зелень упрямых растений. Там за одну неделю обрушивалось на поля и леса столько тепла и солнца, сколько не подарит все нарымское лето. Скупа на тепло земля сибирская. Чего недодает северное солнце, охотно дарит русская широкозадая печь. За окнами наперебой пересказывали новости странствий ледяные ветры, а запечные сверчки славили устойчивое тепло чисто выбеленной кирпичной махины. И забывался юг, виденный в военных походах, монотонный шум настырного прибоя, горячее солнце с обрушительным ливнем лучей. Другие ветры успели спеть много песен, но в голове сапера Найденова постоянно звучала долгая прогolosная песня северных ветров. И даже в вое снарядов улавливался вой затяжной нарымской пурги.

От курка винтовки Терентий ни разу не намозолил указательный палец. Ноги мозолил и не раз: дорог выпадало солдату больше, чем патронов. И чем больше стелились они перед ногами – большие и малые, проселочные и асфальтированные, лесные и луговые – тем отчетливее виделась послепобедная железная дорога домой. Часто вставала наяву и в снах стальная долгожданная дороженька до Томска. Она

Проигрывая, никто не злился, не ворчал. Семейная идиллия не нарушалась ни окриком, ни насупленным взглядом.

Недремные ходики изливали со стены радость от устоявшегося бытия пенсионеров. Они поддакивали кому-то: «Так-так, так-так». Временами Авдотьевку окатывал, доплескивался до каждого угла избы крутой вал вертолетного гула. Налетит, взбушует тишину и укатится за Васюган. Там расставлены дозорные Севера – буровые вышки. Тайгу и болота расклинили бетонные и гравийные дороги. Встали вышки-высоковольтки. Терпеливо и упорно вицеживают нефть станки-качалки. Каждое месторождение имеет свое имя, но место рождения жидкого золота одно – глубь земли. Недра платят людям не подати. Отдают нефть в обмен за великий труд.

– Вот и славненько, закрыла рядок, – возвестила Горислава, устанавливая бочоночек на последней цифре 71.

Поставила, перекрестилась.

– Шустрая, – похвалила Нюша.

Ей показалось, что хозяйка наложила на себя крест двумя перстами.

– Ню-ша, ведь я так сроду не молилась. Для нашей настоящей мольбы подпоры не хватает – третьего пальца.

– Прости – показалось. Слепнуть стала.

– Табачку понюхай.

– Больше ничего понюхать не дашь?

– Вывелось. Из-за внука не держим. Прикатит с трубы, обнимет флягу с бражкой и начнет, как с невестой, по избе кружить. Пока всю не выпьет – не отступится.

– И к нам захаживал, пальцами с порога сигналил: мизинец в пол, большой – в потолок.

– Следопыт наш внук. Повесь флягу на рожок месяца и там найдет.

– Хорош парень. Болота ско-ватором грызет. Дружки-приятели трубу ташат.

– Ты что отсиживаешься, солдат ветеранный? Маврушку нашу кобель заезжий поедом ест, заступиться некому. Бери ружье, пойдем выселять!

Сожитель нож оселком точил. Овечке делал ласковое внушение: «Побе-бе-кала, дурочка, хва-а-атит... старуха соблюдает пост, а мне питаться надо сытно. Я брюкву жрать не привык. Мавра, иди перекрести овцу, резать будем».

Вот тут и нагрянули Терентий с Ньюшей. Найденов держал двустволку наготове, как винтовку перед атакой. Ньюша вилами вооружилась.

Перво-наперво отвязали напуганную овечку. Увидав вооруженный отряд, Мавра торопливо прикрыла правый вспухший глаз, замахала руками, наложила палец поперек губ. Мол, не троньте мужика, не начинайте спор.

– Ерунда! – взвизгнула Ньюша. – Он у нас сейчас запляшет.

– Руки вверх! – скомандовал Терентий, остановившись в метре от тунейдца. – Воткни в крыльцо нож и марш за ворота!

– Терешка, не дури! Статья есть за нападение.

– Есть статья и за избиение, Ты кого кулаком тронул? Пенсионерку беззащитную. Следователя вызовем из района. Он тебе перцу на хвост сыпанет. Придет из тюрьмы сын Маврин, ноги тебе выдернет.

– Бабка, у тебя сын в тюрьме?!

– Да сын, – подтвердила Ньюша, наступая с вилами. – Заступник ее.

– Так бы сразу сказала. Все подследственные да тюремные – братья мои. Прости за удар. Озлила. Ну, постойся сама, какого хрена полюбовника голодом моришь?.. Убери, дед, пушку! Смотаюсь сегодня из вашего логова. Иконники-законники! Съежишься тут с вами, от тоски взвоешь.

После отъезда сожителя Ньюша упрекала Мавру:

больше, чем Красотку. Ни разу хворостина не погуляла по бокам и спинам буренок. Откроет хозяйка калитку – сами идут в стадо на шелканье пастушьего кнута.

Вызвал однажды Найденова колхозный партийный секретарь, усадил в кабинете рядом.

– Терентий Кузьмич, ты у нас в передовиках ходишь. Вот подай пример личный – сдай коровенку. Сам знаешь – строгая установка. У тебя две дойных коровы, нетель, овцы. Не много ли?

– Ни одного литра молока на землю не вылил. Лишнее государству сдаю. И шерсть. И масло.

– Понимаешь; установка. Личные хозяйства отмирать постепенно должны. Что же мы – опять к кулацким дворам поворот делаем, а? Не о тебе речь. Посмотри, у других что творится: скотобазы развели. Социализм от кулаков открылся. Мы к близкому коммунизму дорогу торим. Домашние скотобазы – колдобины на нашем пути. Вчера из района вернулся. Жмут на все лопатки. Свиней, понимаешь ли, сдобными булками в городах кормят. Сдай одну коровенку, все сенов меньше ставить. При личных хозяйствах коллективизм колхозный рушится.

Долго и нудно долдонил в кабинете парторг. Терентий Кузьмич вполуха слушал его, взволнованный таким неожиданным предложением. Красотка и Веснянка на время затмили заваленный бумагами стол колхозного партийного секретаря, почесывающего небритый подбородок. Личные коровы – родные, прирученные, с в о и – будто забрели сейчас в кабинет, уставились на мужиков и проговорили чело-вечьим голосом: «Вы что, опупели?! Хотите разлучить нас? Зачем?».

Терентий Кузьмич, словно вразумленный веским доводом Красотки и Веснянки, громко спросил парторга:

– Зачем?

бежит за обидчиком. Вешали Шалуну на лоб обрезок доски. Она прикрывала глаза, мешала глядеть вперед. С опущенной башкой бычина выглядел свирепее. Уставится в землю, роняет в грязь пену и тягучую ноздревую слизь. Крутит башкой, стараясь сбросить ненавистную деревяшку. Подойдет к любовью городьбе, колотит о жерди доской, пытается забросить ее за рога. Перетирал о колья веревку, сбрасывал березовый обрезок или расщеплял о столб.

Вздумали подпилить рога. Пять мужиков во главе с Терентием Найденовым связали Яшку по ногам, повалили возле кузницы на землю. Принесли ножовку по металлу. Рога казались чугунными, мужики думали, что обыкновенной ножовкой их не укоротить. Терентий Кузьмич распорядился:

– Тащите столярную ножовку. Я зимой сохатиную лопатку разделявал – опилки весело сыпались.

Стали пилить. Один человек, ухватясь за концы рогов, пригибал башку Шалуна к земле. Трое держали связанные ноги. Савва – Нюшин муж – уселся верхом на двурогого бегемота: правый бок вздымался и оседал, как кузнечные мехи. Яшка конвульсивно вздрагивал, дрыгал ногами, елозил тяжелой башкой по утопанной земле.

Пильщик не рассчитал, взял слишком далеко от острого конца левого рога. Сперва из-под ножовки сыпались мелкие вонючие опилки. Потянуло запахом жженных костей. Но вот прыткие ножовочные зубья задели живую роговую ткань: брызнула густая кровь. Бычина рывком отбросил ножовку и человека, ухватившегося за рога. Нестерпимая, никогда не испытываемая боль влила тройную силу. Ноги заходили под людьми стальными шатунами паровой машины. Яшка пригибал их к животу, отбрыкивал в стороны. Старые веревки стали разьежжаться у копыт, махриться и лопаться. Савва – хозяин драчливого Яшки – сколько мог держался за длинную бычью шерсть. Потом кубарем скатился с разбушевавшейся

ГОРИСЛАВА

1

– Деревушка наша, сам видишь, примрёт скоро. Чё людей погнало по белому свету? Чё покинули они обжитую землю, сельбище, пашни, отбитые у тайги долгим и упорным корчеванием?

Давно-предавно осталась я сиротой. Мамка моя с капитаном речным сшушукалась, по первой лихой воде в Томск сбежала. Отец с горюшка и вина задавился. Оставили меня горемычить, в чужие руки кинули. С досветок по вечернюю темнынь на ногах. К колодцу, в хлев, в поле – бегом да бегом. Шустрой росла – челночком вертелась. Хлеба подовые пекла – слаще пирога были. Ворочаю по чужому дому работы – на ухваты и сковородники кошусь: хозяин-угрюмец легок на расправу был. Все ему не так, все не этак. Кричит: почему самовар плохо вычистила, столешницу не чисто выскоблила? Напраслину наговаривал. Желчь его донимала, вот и отыгрывался на сиротке. Горько жилось, не сладко елось. И надумала я утопиться.

Напоила-накормила с утра лошадушек, коровушек. Уважила напоследок – овса без меры насыпала, сена вволю дала. Ешьте, родные, вспоминайте бедную Гориславу.

Подошла к проруби – голову хмельком обдало. Запьянила близкая смерть. Память отшибать стало. До воды шаг, так он ведь последний.

Раздумка взяла: как, думаю, в прорубь бултыхнуться – головой или прыгом. Хотелось сразу под лед уйти. От страха

осинник-жердняк, прибредут к воде дружные тальники, забелеет на видном месте створный знак – всем пропоет струями памятливая река.

Начнет отставать от баржи-скотовозницы просторный луг на берегу – животные уставятся на него, пожирают глазами. Бык Яшка давно так плотненько не стоял среди авдотьевских коров. Не протиснешься – окружили кольцом. Жуют, кашляют, мычат, толкаются, поднимают хвосты. От воды наносит прохладой, ветерком, но комары и пауты здесь беснуются не меньше, чем на пастьбе.

Баржа приткнулась возле неширокой протоки. Ее берега утопали в сплошных зарослях тальника, смородинника и шиповника. Устье протоки было забито бревнами-топляками, коряжником.

Катер стоял долго. По низинам начали растекаться, потоплять воды и травы плотные туманы. Над стадом летали стрекозы, ловили комаров, мошку, объедались ими, усевшись на коровьи спины, на горбыльник ограды и покрытую кровельным железом шкиперскую будку. Вместе с туманами с близких болот текли запахи багульника, торфа, несло устойчивой вечерней сыростью. Оттуда летел мириадами кровожадный гнус.

Животные чесались друг о друга, расхатывали горбыльное ограждение, беспрестанно шлепали хвостами. Шалун отжал боком Красотку к стойке, приколоченной к борту. Дважды попытался забросить на нее передние ноги. Корова отставляла зад, лягала нетерпеливого Яшку.

В срок опустилась белая миротворная ночь. В такое чудное время земля и небеса по-особому смотрят друг на друга, ведут тихие переговоры. Оставленные с глаза на глаз, дорешат ли они за людей участь природы и жизни?

На катере спали. Спали и в шкиперской будке. Близкие болота по-прежнему насылали сырость и новые звенящие рати.

зарабатывал в поте брюха своего. За случку с колхозными и личными коровами Нюше выписывали зерно и комбикорм, платили по тройку. Пастухи следили за Яшкой. Оказывал буренке любовное обхождение – ставили хозяина коровы в приятную известность. Потомство от Шалуна ценилось. Телята, бычки были невосприимчивы к болезням, быстро росли, набирали вес. Много и неуслеженных пастухами утех и знаков внимания оказывал в стаде Яшка. Почему же сейчас Красотка неучтива с ним?

Бугай бился башкой в горбылины у борта, повернутого к берегу. Когда быка дразнили мальчишки, швыряли в него камнями и палками – он свирепел. Теперь быка дразнил низинный, закустаренный берег, насылающий тьму гнуса. Выводила из себя неуступчивая Красотка. Поистине бычье упрямство точно привязало Яшку к черно-пестрой полутораведернице.

Яшка в деревне ломал рогами калитки. Высаживал одним махом рядок штакетин в палисадниках. Хозяева, потерпевшие непредвиденный урон, не несли за праведные труды Шалуна на случке положенный тройак. Яшка забирал в долг разбоем, крушением заплотов и ворот. Трещали под его башкой-наковальней пряслины, расшатывались, кренились воротные столбы. Однажды бугай перевернул телегу с двумя флягами молока. Все сходило ему с рог, как с рук.

Звоном звенела темнота ночи, гудом гудела от комарья. Оставленные на их съедение животные скользили по заляпанной палубе. Оступались, нещадно колотили хвостами свои, чужие бока и морды. Катился над гуртом воинственный клич, исторгаемый неумолчным гнусом. С недалеких болот сильнее тянуло дурман-травой, торфом и гнилостными испарениями.

На катере горели разноцветные огоньки, гипнотизирующие Яшку. Иногда он забывал о жалящем гнусе, о палубной

Предчувствуя беду, Катенька громко позвала паренька. Он разжал сцепленные зубы, крикнул: «Катя... я уже слез».

Изучая в школе военное дело, Катя не раз перевязывала раненого Гришутку. Накладывала шину, касалась пальцами икры, колена. Парнишка взвизгивал от смеха: «Катя, щикотно. Бинтуй быстрее!».

Девочка с трудом оторвала неподатливую осень бересту, туго обмотала колено, стянула косынкой. Часа дваковыляли до деревни втроем: девочка, пострадавший и черемуховый посох. На него Гриша опирался, как на костыль.

Костоправом в Авдотьевке был старший брат Гориславы Евлампий. Считался он так же непревзойденным мастером по прутяным поделкам. Плел легкие короба для кошевок, для телег-навозниц. Делал лукошки и красивые хлебницы из тонкого краснопрутника. Пальцы у Евлампия были сухие, длинные, под цвет ивовых прутьев. Старик заготавливал прутняк весной. Мял, гнул, распаривал, простукивал молоточком. При надобности расщеплял широколезвенным ножом. Прут к пруту подгонял неторопливо, в полный притиск. Смастерит шарообразную корзинку, поднимет за черемуховую ручку, опустит для испытывки на пол. Корзина мячом запрыгает возле ног. Довольный старик мнет в руках прутяную красавицу, как мнут арбуз при выборе. Подставляет к ней ухо, из которого торчат длинные сивые волосинки. Уловив тихое поскрипывание таловника, Евлампий облегченно возглашает: «Ягоду, грибы просит. Возьмет – не выпустит».

Евлампий долго ошупывал вывихнутую ногу мальчика. Шелвел коленную чашечку, пятку, шиколотки. Стучал пальцами по сизо-красной голени. Не будь рядом Катеньки, Гриша застонал бы от ломоты, наойкался. Костоправ не церемонился с ногой. Причиняя малую боль, готовил мальчика для большой, когда потребуется сделать сильное, единственно верное движение. Сухо шелкнула коленная кость. Ногой обла-

– Ящерицу на завалинке видел.

– Их тут полно. У нас и гадюшка под крыльцом прижилась. Тереша хотел в лес утащить – не дала. Сначала она на кота шипела, а кот на нее мурчал. Перестали дуться. Пусть живет... Пошли мы однажды весной с братцем Евлампием – царство ему небесное – за краснопрутником для корзин. Весной прутник гнучий, соковитый. Идем. На тропинку муравка успела лечь. Смотрим – черная гадюшка ползет. Евлампий хотел перерубить – топор из его рук вырвала. Топнула ногой – змейка юрк в траву под желтые головки мать-и-мачехи. Со змеиногубивца грехи не спадают. Иной грех не только на гадюшку списать можно, но и вовек не отмолить. Но бывает и не грешен, да повешен... Мне ли браткины проказы не знать? Блудничал. Два тележных колеса из колхоза упер. Чужому добру не говори «тпру». Нарезали с Евлампием прута, домой вертаемся. Хоть и грузные вязанки, но к деревне всегда шагать легче. На том месте, где змейка проползала, брат запнулся, упал. Мать нехорошо помянул. Разозлился, швырнул вязанку. Поднял, дальше пошли. Я иду – груза на спине не чувствую. Точно напусто шагаю. Думаю дорогой: не иначе мне змейка-спасёница помогает. Вот и говорю: любая козявка солнушку, земле угодна. Отродясь ни паучков, ни ящерок не трогала. Избяные бревна жуки пилят-точат. Сверчки запечные свиреют. Пусть. Моему слуху от них услада. Иной раз и телевизор не включаю. Лягу на кровать, смотрю в потолок и слушаю. Для меня поют сверчки. Себе бы так усердствовать не стали... Евлампий в то лето руку топором порубил. Не змейка ли подстроила?

– Хорошие балалайки твой брат делал, – включился Тереша. – Раньше струн мало было, так он тоню-ю-ю-сенько кишочки нарезал и натягивал на гриф.

– Осьмой годик, как Евлампий в соседнюю деревушку

дойдут последние теплые деньки – прощальный кивок лета. Потекут, потекут листья с деревьев. Земля весь слив примет. Не надо нам, Мавруша, болеть. Мы пока земле нужны снаружи. В нее всегда успеем. Наш календарь жизни давно на убыль идет. Беси с нами не справятся. Мы стойкие. Колхозной жизнью укрепленные. Нас не всякий молот на наковальне расколотит. Успокойся, родная, успокойся.

Мавра перестала дрожать. Поглаживание головы, успокоительная тирада бабушки Гориславы подействовали на отшельницу исцеляюще. Она оглядела Терешу и меня красными воспаленными глазами.

– Ах, беси, беси! Не дадут мне житья. Согрешения ведь мои не шибкие. Чего пристали ко мне? Ты, Славушка, хорошо ли раздавила чертенка?

– Места мокрого не осталось.

– Вот спасибо. Села Святое Писание читать – беси оборзели. Глядят из углов, грозятся. Меня в обморок кинуло. Очнулась – беси на шее. Ишь – жуком обернулся? Крепко ли ты его пристукнула?

– В пух и прах изничтожила.

– Вот спасибо... вот спасибо.

Наверно, июльская духота, истома довели Мавру-отшельницу до беспамятства. Вид у старообрядки болезненный. Подпрыгнуло, наверно, высоко давление, да свалилась на шею напасть – жук-древоточец. Мне рассказывали Найденовы, что Мавра не раз прибегала спасаться к ним, гонимая из своей избы бесами. Пряталась под кровать, за печку и даже в пустой ларь, откуда еще не успел выветриться комбикормовый запах. Беси и за нешибкие согрешения не давали житья и покоя староверке. Выбегали из углов. Настигали в сених. Подкарауливали в стайке и в кладовке. Для их устрашения отшельница чертила печным угольком на дверях и окнах восьмиконечные старообрядческие кресты. Но на-

С тех пор и зачастили беси. Они всегда являлись в избенку пешим ходом. Излюбленным местом их пребывания были темные углы, сени, подкрылечье, чулан, баня. Ангелы и архангелы слетали с небес и потолка. Отдав отшельнице тихий, властный приказ, воспарялись туда же.

Гляжу на эту страдалицу, на скорбную измученную мать земли, и невольно сжимается сердце. Не много отпустила ей Богородица житейских радостей. Молитвы, старопечатные книги, природа, глубокий омут веры – ее свет, скрашивающий существование.

Горислава совсем успокоила отшельницу. Сидела она на лавке тихо, положив сухие руки на смятый, давно нестиранный передник. Глубоко задумалась. Может, о сыне, что сидит в тюрьме за провинку. Может, о новой долгой зиме. О том, что опять придется идти на постой к Нюше. Сидеть бесконечными вечерами, мусолить игральные карты, Вытаскивать из мешочка лотошные бочонки. Слушать и слушать убийственное завывание зимнего ветра за стылыми окнами.

9

Три лета назад наезжали в Авдотьевку бородатые парни. Ходили по избам, просили продать иконы, книги, написанные церковно-славянской вязью. Долго вертели в руках, разглядывали бронзовые подсвечники, медные створчатые иконки ювелирной работы. Предлагали Мавре такие деньги, какие она не накопит и за год, получая не заркую колхозную пенсию. Ни с чем уехали бородачи. Никто не продал ни распятия, ни икон, ни книг. Приезд скупщиков насторожил отшельницу. Уходя из избы, стала прятать Святое Писание, толстенную Библию, требник, иконы в сундук. Положит на дно, завалит тряпьем и уходит по грибы, ягоду.

Мавра тянулась к Гориславе, как цветок к свету. Побудет рядом несколько минут, заронит в душу не божью – человеческую благодать. На ветвистом древе жизни Найденовы были крепкими, жизнестойкими побегами. С сотворения колхоза до его кончины не отрывались от артельных работ и забот. Горислава считала: праведная жизнь состоит не в услужении богу – в служении земле и людям. В последние годы существования колхоза не везло на председателей. Появлялись присыльные из района номенклатурные штрафники. То бабник заядлый, то виношник. То радатель своему двору. Строили мало. Надои – козьи. Если спросят в райцентре какого-нибудь авдотьевца «Где работаешь?», отвечал:

– «В колхозе «30 лет как нет урожая».

Ударная стройка нефтяников ударяла по нарымским хозяйствам. Молодые притягивались к ней, как металлические опилки к магниту. Оставался пока непо потревоженным зерно-рождающий черноземный пласт – старожилы, создатели колхоза. Но и этот пласт постепенно будто резали дисками, отваливали по частям. Не справится закоренелый крестьянин с само-дурством присыльного председателя – семья перебирается в райцентр, город, подается в леспромхоз, на нефть. Падал, валился колхоз. Уходили на пенсию те, кто успел провести исторический спор с кулачеством, кто выпотел на пашнях и лесозаготовках. Сколько могли, держали Найденовы в деревне сынов. Старшак Григорий на Колыму с семьей махнул. Младшак Васька переметнулся в передвижную механизированную колонну: она резала крепкими плугами бросовые задернованные и закустаренные земли. На бывшие поля напускали даже пнекорчеватели. Лезли по уши в болота, нарезали водоспускные каналы. Срезали язву лугов – косматые кочки.

Приезжал на побывку младшак, ходил по избе козырем. Бросал в отца обидные слова:

– Батёк, еще из артели не утек? Не надоело в дерьме ко-

виделась: Горислава на крыльце и Гришутка-первородок. Он в тылу не баклушничал. Сгреб меня при встрече – косточки хрустнули. Стою с ним грудь в грудь, думаю: никогдашеньки не расстанемся больше. Будем землю пахать да невод в речку заводить. А он навар денежный колымский иметь захотел. Погнал за ним, поле труда, как поле боя, оставил. Учти, Васька, закатится колхоз в тучу – и мои детки в том повинны будут. Между нами стариками и между беглецами колхозными широкая межа пролегла. Дерн на меже крепчает. Колючник разный прет – осот да молочай.

– Распашем! – усмехнулся младшак. – У нас плуги-други надежные.

– Вертайся, Васька, вертайся. Зачем землю колхозную шельмовать? Она нас вскормила. Васюган вспоил. Смех-колонна твоя год-другой поковыряет пустоши, потопчет болота и смоеется куда-нибудь. И вас, дураков, сорвет. Будете перекасти-поле да перекасти-луг. Я тебе передам бригадирство. Всеми кормами управлять будешь. «Волгу» ведь обещаю в подарок.

– Надоело, батя! Зае-зае-заело тебя на этом колхозе, как иголку на старой пластинке. Не будет мехколонны – нефть есть. Вон город новый северный на попа ставят. Работенки везде – по ноздри. Я пока знаю одну беспронгрышную карту – карту страны. На любую новостройку ставку делай – не прогадаешь. Я не лодырь, работы не трушу. Сольют авдотьевский колхоз с другим или, по твоим словам, спишут, под уклон пустят – значит, на данном этапе жизни он не нужен. Сейчас крен на хозяйства крупные. Всякие колхозики-заимки только в ногах путаются. Нам в мехколонну сторож нужен. Пойдешь? Денег с надбавками, с накрутками не меньше будешь получать, чем в колхозе.

– Нет, сынок, на бездельную должность я не потяну. Если детей при деревне не усторожил – грош мне цена. На этот грош никакие накрутки не нужны.

высказался Тереша. – Не облетает стороной – напрямки прется. Внук сказывал: мы на нефтях сидим. Может, придет наш Васька скоро с друзьями да и резанет деревню бульдозерами.

– Не посмеет. Мы тут живем.

– Прикажут – посмеет. Просеку за корчевками под ЛЭП прорубили. Буровую вышку где-нибудь поставят. Видал их – силища! Посмотришь на верхушку – шапка на затылок катится. Земля – не доска, центровкой не возьмешь. На два-три километра буром колят.

– Сегодня не первое апреля, чё сказку рассказываешь? Три километра. До Черничного болота столько. Неужто такой путь под землю стоймя опустить можно? Васька придет – врет-врет и ты ему подвираешь... три километра...

– Верно, – поддерживаю хозяина. – Есть скважины значительно глубже.

– Чё туда нефть залезла? Лежала бы подо мхом, подходи, черпай ведром. Мороку только людям создала... Пойдем, Анисимыч, к Нюше. Захватим ее да на могилки... переселенцев попроведать надо. Тереша, пойдешь с нами?

– Ступайте без меня. Сетенку довезу.

Мы вышли на крыльцо. Полуденный жар схлынул. С болотной стороны тянуло легкой прохладой. У первой крылечной ступеньки на тротуаре свернутым черным кнутиком лежала гадюка. Приживалка даже не пожелала уступить нам дорогу.

– Грейся-грейся, – поощрила змеиное нахальство Горислава. – Кот оленивел, мышей не ловит. Она мышкует. Славная ползушка.

Неужели гадюка не пряталась от вертолетного гула, принимая его за гром?

Подходя к избе Нюши-хромоножки, услышали ее рас-

Белым видением прошла по плесам самоходка, груженная буровым оборудованием. Ватерлиния осела почти до воды. Видя, с каким упорством лезла на быстрину реки эта ломовая лошадь, Нюша постеснялась перегаркнуться с речниками.

За последние годы мимо Авдотьевки сновали тупоносые теплоходы-толкачи, самоходки, катера, ведущие на поводу баржи с техникой, бетонными и металлическими конструкциями, опорами ЛЭП. Давно ждала обновления северная земля. Тремя ее тузами были лес, пушнина и рыба. Появился новый туз черной масти – нефть. Главную ставку делали на нее. В нарымском крае велась не крупная игра – крупная работа. Квадрат за квадратом прослушивалась сейсморазведчиками болотистая и таежная земля. Вырастали вышка за вышкой. Фиксировался пройденный километраж бурения. Пустые скважины обескураживали поисковиков, но не лишали веры в будущие открытия.

В Авдотьевке останавливался на лето экспедиционный десант. Шустрые бородачи в энцефалитках бренчали на гитарах, горланили песни. Прочли антирелигиозную лекцию, обрюхатили молодую доярку. Парни обменивали тушенку и сгущенное молоко на свежее мясо и огородную зелень. На день уходили в далекие маршруты, шныряли по тайге, мяли резиновыми сапогами болотный мох. Белыми ночами по-прежнему положили деревню магнитофонной канительной музыкой, бренчанием потертых гитар. На берегу возле прясел слышались девичьи вскрики, смех, возня. Десант не дремал. В тихую размеренную жизнь деревни он свалился не с неба – выгрузился табором с широкопалубной баржи. Не растратив силы на изнурительных маршрутах, ухари успевали устраивать потасовки. Синие вспухлины скрывали под темными светозащитными очками.

хозного бухгалтера. Всплеснулся смех. Степенный солидный страж артельной кассы побагровел от обиды. Повернулся лицом к кинобудке, бросил комок ветоши в аппаратную. Проманулся, не угодил в одну из двух дыр.

– Эй, культурник! Ты скоро и гранаты швырять начнешь.

– Тебя бомбой не оглушишь.

– Чего?!

Но киномеханик уже потушил свет и выпустил из недр кинобудки конусный световой столб и надбавил звука. На экране с обворожительной улыбкой появилась Любовь Орлова. Все вмиг забыли Егорку и разобиженного лысого буха. Вблизи Васюгана экранным половодьем текла «Волга-Волга». Шлепал по волжской воде старомодный колесник. Разворачивалась иная жизнь, иные страсти-мордасти.

И вновь в отведенный час взрывалась у поленицы Егоркина гармонь. Никто, как раньше, не отгонял лопухом от лица гармониста надоедливых комаров и мошку. Никто не приплясывал рядом, не вздыхал под печаль басов. Прибегали пацанята, утекшие от загулявших родителей. Стояли, ввинчивали в носы грязные пальцы.

Чесали пузо, ноги. Постоят, поглазекуют на одинокого гармониста и стрельнут по песку к гитарной музыке. Тамлюдно, весело. Бородачи новые песни горланят. Многие слова непонятны ребятам и оттого обретают загадочность, веют сказкой.

Первой отбилась от веселого табора Дуська Мартемьянова. Подъюлила виновато к гармонисту, встала в сторонке, молчит. Егорка тоже рот не тревожит. Трехрядка громче прежнего старается, славит Подгорную широкую улицу. Даже луна заслушалась, немигающе воззрилась на воду, берег, ровную поленицу. Смотрит заинтересованно на гармониста и на дояриху. Внезапно Егорка оборвал игру. Пфыкнул

паренек чувствовал себя посрамленным. Налетела экспедиционная орда, так девки разом в полон ей пошли. «Теперь вы у меня повечеруете, – рассуждал киномеханик, – умолять будете – не пойду... А Дуська-шалава, заладила свое: Егорк, Егорк... Допрыгалась. Брюхо стала засупонивать. Слушки по деревне не ходят – летом летают... нну, бабы!».

...И это все в прошлом... промелькнуло тихой грезой жизни. Отплакалась, отсмеялась деревня. Кого-то снесла на кладбище. Иных стыд заставил покинуть Авдотьевку. Другие уехали в город грызть гранит наук, крошить об него зубы. А годы тем временем крошили деревню.

Придя с кладбища, направился к бывшей механической мастерской. Затравенелая дорожка неторопко ползла мимо полуразрушенной кузницы: время не вытравило из нее запаха окалины и каменного угля, сожженного в горне. Возле черной развалюхи из травы торчали зубья бороны, валялись обручи, тележные колеса, обрубки металла, проволока. Сохранился станок дляковки лошадей. Поднял помятую дегтярницу, она хранила терпкий смолевой дух.

Около механической мастерской ржавой сопкой покоился металлолом. Коленчатые валы, шестерни, обрывки тракторных гусениц, рессоры, топливные насосы, кузова машин. И на это кладбище каким-то чудом забрел иван-чай, пророс возле опрокинутой тракторной кабины. Сквозь стружку от токарных станков пробивалась густая крапива, пустив в землю поистине металлические корни.

Заглянул в нутро мастерской. Удивился, увидев пригорбленного Савву, неторопливо ступающего по расколотому во многих местах бетонированному полу. Под ногами шатались куски бетона. Старичок ходил по мастерской, заглядывал в углы, швырял гайками в пробегающих крыс. В белых кальсонах, в белой нательной рубаше Савва походил на привидение. Тесемки кальсон болтались по полу, цеплялись за разный

сознание в полевом лазарете. Видит: надвигается санитарка со шприцем. Солдата затрясло, изо рта запузырилась пена.

Нюша пичкала старика пилюлями, снотворными лекарствами. Тихая, безвредная беда не отпускала. Несколько лет назад Савва стал охапками рвать и сушить багульник. Летом спал в кладовой на раскладушке. Низко над изголовьем висели багульниковые венчики, усыпанные белыми пахучими цветами. Дурманивший запах пропитал кладовку, выбивался в сени, залетал в избу. От дарового болотного лекарства Савва ходил осоловелый. У Нюши от такого запаха раскалывалась голова. Все сносила ради болезного немтыря.

Изредка стариков навещал сын Эдик. Коллеги по лаборатории, где он работал, называли его Адиком. Называли шепотком, за глаза. В глаза просили деньжат до аванса, получки. В долг он охотно не давал, приговаривая многозначительно: берешь чужие, отдаешь свои.

Эдик – широколобый, жидковолосый увалень – получил в наследство от бати родимое пятно на шее, похожее на ползущего клопа.

Эдик третий год пыхтел над какой-то ничего не значащей для науки диссертацией. Название она имела наимудрейшее и наитруднейшее: от одного прочтения мог помутиться рассудок.

– Опыты требуют денег, – говорил высокообразованный сын, выгребая почти все стариковские сбережения.

– Учись, Эдик, учись, – поощряла мать. – Я-то, дура, думала: после университета ты будешь сплошной профессор.

– Буду, мать, буду. Дай срок. Лишь бы мое открытие никто не заарканил. Воровство в науке. Чистый разбой. Мысли в сейфе храню. – Эдик постучал себя по каменному, полированному лбу. – Боюсь, во сне проболтаюсь, посеми с женой в разных комнатах спим. Говорят: муж и жена – одна сатана. Дудки! Две сатаны. Вон у Хомякова баба своему полюбовнику мужнин секрет выдала. Тот уже докторскую шпарит.

чистой верой является Солнце. Что перед ним разные Иисусы, Будды, Магометы?! Оно – высокий светлый бог, властелин, пророк, чудесник. Оно – жизнетворящее чудо. Вечная, нетускнеющая икона со святым ликом.

Много раз наблюдала Горислава: стоят на коленях под темными иконами старцы и старухи, вышептывают молитвы у зажженных лампадок. В тусклой молельне молчаливые святые заступники внимают гнусавым покаяниям, ревностно следят за усердными поклонами, за двумя настороженными пальцами, выписывающими кресты-размахан. Чем больше жизнь ввергала старообрядцев в мирские грехи, тем дольше, запальчивее были оправдательные молитвы. Горислава знала почти всю подноготную немногих староверцев деревни. Знала, кого тянуло к блуду, воровству, вину, куреву. Удобно: нагрешил – замолил. Душа вновь чиста, как река после парных летних туманов. Жизнь и вера велели: все делай по правде, а люди этой правде устраивали темную, душили и мяли ее, как хотели.

Своему вечному ясному солнушку Горислава молилась стоя. Восток зажигал нечающую лампадку сам. Мольбищами для бабушки были луга, лесные поляны, выруба. Захочет – помолится в огороде, захочет – у стога сена. Не хмурь в глазах – улыбка. Не шепелявит слова – доносит их до слуха солнушка с родниковой свежестью. Ее вера была без лукавства и притворства. Не вызывала у светила сомнений в правдивости, искренности. Горислава жила в трепещущем мире чутким ростком природы. Говор дождей, гудение пролетных ветров, шелест утиных крыльев, немота радуг и звезд, тихое половодье луговых и лесных цветов – все жило под охранной грамотой природы, все приводило язычницу в умиление и восторг.

Никуда дальше райцентра не выезжала бабушка Горислава. Не видела паровозов, мостов через реки, глубин до-

молодости сам их на берегах расквартировывал. Охотники тушевались – не знали по каким дробью палить. Не раз в обманную птицу стреляли... Наши – найденовские – в Сибирь из Расеи притопали. Курские мы. Пошептал дедушка отгрешные молитвы, ото лба до пупа крест положил и в путь-дорогу. На Куршине он офеней-коробейником был. Товаришко мелкий сбывал вразноску. Таскал по деревням платки, серьги, наперстки, книжки дешёвые. Скоморошничал, где народишко на улыбки щедрый. Отпустит шуточку и сам же похочет, если никого на смех не подпалят. Доходился мой дедушка – до Нарыма дотопал, никто остановить не мог. Здесь и сейчас угрюмцы не перевелись. В ту пору народ тайну под бородами держал. Дедушка нарымца в четверг шуткой попотчует, он аж в субботу улыбнется.

Коробейничество дедушка оставил. По тайге много не находишься, рысям да медведям серьги да иголки не сбуть.

Нарымцы обучили дедушку деготь гнать, смолокурничать. Смолка, смолка, и от нее спине солко. Поворочай-ка пни. Пнёвую колоть дедушка рядами в ямах умащивал. По-вытапливал с а л о из пней, ох по-вытапливал. Проскипидарился, просмолился. Комарье над ним не летало: дых перехватывало у гнуса от дегтярного деда.

В конце января наваливаются на землю афанасьевские морозы. Под один такой мороз пожаловал к нам деревенский знахарь. Баит: «В одной из смольных ям бёглая ведьма отсиживается». Дедушка шумкует: не пушу к яме. Знахарь: колдуньям пособиствуешь... Пошли. Знахарек Селиверст – мужичонка лодырный, вранливый. Народ пужал. За добрые и недобрые предсказания брал хлебом, молоком, мясом. Спрашивали этого конопатого мужика: «Почему берешь еду за недобрые предсказания?». Отвечал: «Темные вы людишки. С того и беру, что предупреждаю. К беде вы

возле береговой тычки виднелся опознавательным знаком. Он погружался, выныривал. От него катились зыбкие круги. Видно, недавно в сеть попался крупный карась и делал бесполезную попытку выпутаться из хватких ячеек.

Тереша развернул обласок, поставил бочком вдоль первой снасти, где ходил ходуном кусок легковесного пенопласта. Мы стали перебирать пальцами тугую капроновую дель. Засверкали золотые слитки карасей. Рыба обычно запутывалась наджаберными закрылками. Неторопливо выпутывали карасей, забыв о злющих комарах, нависших роем над рыбаками. Дойдя до нижней кромки широкоячейной сети, увидели живого нырка, совсем недавно угодившего в ловушку. Вот кто заставлял приплясывать поплавок.

Утка запуталась головой и крыльями. Пришлось долго повозиться, освобождая ее. Тереша положил нырка на дно долбленки рядом с литыми прыгающими рыбинами, проговорил:

– Оклемайся малость, отдышись да и лети восвояси. Вот так иногда до трех штук в сеть угодят: чирки, гогли, шилохвости. Но больше нырки лезут.

С минуту пленница лежала недвижно, распластав шею на мокрой лопасти весла. Прыгающие караси заставляли нырка вздрагивать и хлопать крыльями.

– Можно взять добычу, – сказал Тереша, – да Славушка обидится. Ни готовить, ни есть утопленницу не будет.

Неожиданно утопленница вскочила на ноги, расправила крылья, подпрыгнула и вывалилась за борт. Поплыла медленно, с оглядкой. Родная стихия воды желанно приняла в свое лоно.

Живучие караси-лапти на дне обласка притягивали взгляд. Подпрыгивали, вскидывали головы и хвосты, переворачивались с боку на бок.

– Разве я уеду куда от такой красоты, – многозначитель-

ки свела четыре длинных поленицы дров. В запасе оставалось мало. Я проверил бензопилу, заправил бачок бензином. Моя давнишняя дружба с Найденовыми была крепче старой заводской «Дружбы» с тупой, изработанной цепью. Ничего, сейчас все равно полетят опилки из пористых избяных венцов, воротных столбов и жердей. Дров кругом – завались. Долго хватит топиться несколькими печам почти исчезнувшей деревни. Везде торчат стропила, ошерились пороги, зияют пустые окна. Надо помаленьку расчищать завалы. Мавра-отшельница подняла возле родной избенки деревянный террикон: у Авдотьевки хлама не убыло.

На избяных бревнах зарубки, цифры. Поднимали венцы с первого до последнего, метили, где южная сторона, где северная. Обреченная деревня лежала на все стороны света. Подступайся с любой стороны, отваливай бензопилой чурку за чуркой.

Начну со школы. Бревна потолще, подлиннее, их не так хватил гнильца. Заглянул в пустую глазницу широко-го окна: зал для физкультуры. Трехногий спортивный конь с прорванной кожаной холкой притулился к выгорбленной стене и тупо глядел на голую штукатурную дранку. Не сразу сообразил, откуда взялись в спортзале простой крестьянский плуг, прялка с поломанным колесом-крутилом, самодельный ткацкий станок-кросно, всякая хозяйская утварь времен коллективизации. Школьный музей. Ему отвели в зале дальний угол. Стояли крепкие, еще годные для сеноуборки трехрожковые деревянные вилы. У грязной стены помятый медный самовар. На его узкую трубу надет ссохшийся рваный чирок. Перешагнул через подоконник, как через порог, подошел к самовару. Стал рассматривать медали. Они потускнели. Отколупнул со стены известку, раскрошил в пальцах, смочил слюной. Надраил одну из медалей. Сквозь позеленевшую медь проступила буква Т. Весь остальной рядок букв был

Дюжие парни сбросили с самоходки на ярком сколоченные скобами шпалы: по четыре под каждую гусеницу вездехода. Водитель тягача лихо сплюнул на палубу, забрался в кабину, включил двигатель. Деревня, отвыкшая от дизельного рокота, вздрогнула от неожиданности.

Борт самоходки стоял почти вплоты к задернованному ярку. Вездеход медленно сполз по шпальным сходям, стесанным по краям.

Водитель высунулся из кабины, глядел победителем на недоуменных пенсионеров. Собачка Мавры-отшельницы жалась к ее ногам, боясь взлаивать на стальное страшилище. Ньюша теребила кромку плюшевой потертой жакетки. Савва оперся на березовый посох и мутными, усталыми глазами рассматривал неожиданных речных пришельцев.

– Ничё, батя, конь, а?! – ликовал возле тягача Василий. – Махнем твой огород первым: землю в перину превратим.

– Мы его наполовину вскопали.

– Зачем торопился. Обещал ведь.

– Ты много чего обещаешь. Чем пахать собрался – гусеницами?

– Плуг в школьном музее для чего? Подцепим и айда! Горислава долгим, ненасытным взором глядела на возбужденного сына.

– Вася, как здоровье внучат, жены?

– Ничё. Пишат и визжат. Баба стройной стала: обнимешь ее и вдобавок свою спину почесать можешь. Мы к вам на денек. Дальше плыть надо. Техника экспедиции. Кореша мои дали тягач напрокат.

Кореша стояли на самоходке, ждали сигнала.

– Мать, у тебя есть чё-нибудь? – Василий показал пальцами красноречивый жест, известный на всех широтах земли, особенно на российских.

верю: черта за рожки не держала. Колдуны-ведуны попадались. Повелось в деревне: Секлетинья – колдуниха, Селиверст – знахарь. Ну и пошло-поехало. Когда народ в один рот, трудно и свой не разинуть. Ничего не ищи, внучок, на небе. Всего путного и беспутного вдоволь на земле. Всякие людишки водятся. Покойный знахарь пойдет, бывало, травки лечебные в лесу собирать, сам глухарей из чужих ловушек вытаскивает. Угодил раз ногой в зубастый капканище. Нога в клюку высохла. Умер. Травки, нашёпты не помогли.

И-и-и, Анисимыч, сколько я за жизнь разной всяковщины послушала-повидала. Жила и свято, и клято. Побирušничать приходилось. Поданный кусок слаще ворованного. Иголки в пироге подавали – все было. Привыкла пирожок надвое разламывать – увидала иголочку. В молодости зоркоокая была. Табак на понюшку поздно брать стала. Нанюхаюсь – слезы бегом бегут. Позорчает око – далеконок видит. Вдали что у нас? Луга, тайга, поскотина – вот и вся мир-околица. Мой вечный храм – солнушко. Куполов много кедровых, сосновых. Им покиваю и дальше живу. Живу, радуюсь земному и небесному. Мне и солнушко подсобляло, и колхоз. Придет иногда ко мне Нюша поплакаться; «Тоскливо жить на свете становится. Скоро срок подойдет – остужусь. Еще бы хоть пяток вербных воскресений встретить. Не-ет. Видно, подходит к концу пасха жизни моей. Кто-то все шепчет и шепчет: разговелась, Нюшенька, пора и честь знать. Земля других едоков рождает. На всех хлеба не напасешься – уходи в могилку...».

Успокаиваю Нюшу: «Много дум вмешает бабий ум. Терпи, родная, последние лета жизни. Они самые сладкие и самые горькие. Ты меня от проруби отвела в сиротстве, поэтому живешь долго за такое благодеение. И дальше живи, пенсию получай. А тоску по куску за палисадник брось».

Кот у Гориславы – живая головешка. Лапу дружбы мы-

Водитель тягача прыгнул на дерн, с присвистом прошел вокруг допотопного орудия земельного труда. Вдруг вихрастый парень задрал голову, поставил под лучи устья широких ноздрей. Раскрыл рот, лицо сморщилось, и он оглушительно чихнул. Вороны, сидящие на городьбе метров за пятьдесят, подпрыгнули, как от ружейного выстрела. Василий удивленно крутнул башкой:

– Ничего взлай! В здоровом теле – здоровый чих. – Водитель достал разводной ключ. Гайки и болты, припаянные друг к другу ржавчиной, прокручивались в отверстиях.

– Да-а, напашем таким музейным экспонатом! – злился найденовский младшак.

Кое-как укрепили предплужник. Подцепили плуг тросом, поволокли к огороду.

Мы с Терешей в две наточенные лопаты успели вскопать сотки три. Черным пухом лежала наша перекопанная и разрыхленная граблями земля. Неужели ее сейчас примется топтать страшный т а н к? От него ретиво улепетнул немняемый Савва.

Мы разобрали звено городьбы. Огненноголовый парень включил малую скорость. Василий разбойно крикнул: «В борозду!». Пахота началась. Это было явное истязание огорода. Предплужник и лемех прыгали по гусеничным вдавлинам, по утрамбованной снегами огородной земле, оставляя за собой неглубокие кривые полосы. Крестьянский сын Василий Найденев забыл, что на ручки плуга надо давить, что он сам не врежется в землю.

Хмурый Тереша стоял на крыльце. Смотрел, как поганят его отведенный под картошку огород. Тягач дошел до нашей копанины и жиманул ее литой массой. Старичок замахал руками, закричал:

– Сто-ой! Наза-ад!

Было поздно. Гусеницы осели на огородной мякоти.

– Она и на земном ложе в свое царствие не плошала.

– Царица есть царица. Владычица над всеми нами, грешными. Ты, Рувим, не знаешь пословицу: не та вера свята, которая мучит, а та, которую мучат. Над нашей верой сколько веков изгалялись, но мы простOVERцами не стали. ДвУверие шибко народ мутит, с толку сбивает. Спасибочки власти новой: отшила от себя все веры. Живите, мол, как хотите. Молитесь, как бог на душу положит...

– По мне хоть фигой молись, хоть кулаком. Уткнешься в свою старую церковную продукцию, мусолишь книги, пропитанные пылью и нафталином. Я никакие книжки, кроме сберегательной, не признаю.

– Зря. Сейчас бы я все отдала, чтобы почитать «Историю о страдальцах соловецких», «Стоглав», «Кириллову книгу», «Большой катехизис», при патриархе Филарете напечатанный. Духоборцы за веру страдали, на костер, на плаху шли.

– Да что от вашей веры осталось – пшик один. Старичье по заимкам бородами трясет. И курят, и пьют, и... все остальное. У бичей тоже бороды лопатой и зубы прокурены. Скажу любому староверу: помолись тремя пальцами, дам тройного одеколona. И помолится. Подумаешь, обряд – два пальца в ряд.

За Мавру заступился отставной танкист:

– Вангулов, чего ты на чужую веру взелся?! У бабки хоть такая есть. А ты – махровый неверец.

– Какой есть. Не обратно же в... брюхо лезть. Я только в зарплату верю. Чем больше – тем краше.

Нюша громко стукнула дном пустой кружки по столу:

– Тти-хха! Тут постарше вас люди есть, да скромно помалкивают. Тереша, солдат ветеранный, скажи что-либо пофронтовому. Пусть послушают.

Младшак подтолкнул локтем отца:

– Давай, батя, сказани речугу.

– Речь не речь, но слово молвлю. Вот тут о вере говорили. У бойцов войны она тоже была. Единая, крепкая – вера в победу...

– Вер-рна! – поддакнула Нюша, наполняя пустые кружки.

– ...От стен Москвы до стен рейхстага дошли со светлым образом Родины. В нее и только в нее надо вкладывать всю веру сердца и нутра...

– Вер-рна!

– ...Кто в деньги верит, кто в книги старопечатные. Я предлагаю тост за кровное единоверство в силу, судьбу народа и Отчизны! Ур-ра!

Как по команде все встали.

– Тебе, батек, не грех большую трибуну поручить. Мала-дец!

Нюша выпила, поцеловала со чмоком донышко кружки и плавно обвела рукой все застолье.

– С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Пусть взорвется что попало, лишь бы не было войны.

– Вот это по-нашему! – возликовал Вангулов, подкидывая на ладони кусок мяса. Ему не терпелось прогорланить свою частушку. Он переждал смех, говорок корешей и сыпнул на всю избу:

– Как схороните меня – оставьте в крышке дырочку. Придет милка но могилку, потрясет за пырочку.

Мне показалось: кто-то торопливо шагал мимо палисадника; вздрогнул от неожиданного дружного смеха. Вне застолья оставался в деревне только Савва. Нюша дала ему дозу снотворного и оставила крепко спящим. Неужели отлученный от общей компании старичок проснулся и пошел лунатично бродить по тихой Авдотьевке? Я встал из-за стола, спустился с крыльца и заглянул за угол избы. Савва воровато крался вдоль городьбы. На его голове, надетый шалашиком, болтался мучной куль. Зачем понадобилась ему маскировка?

Старик пригибался, оглядывался по сторонам. Не сразу я сообразил: крадется к танку. Сквозь бревна, доски и жерди подобрался к нему. Увидев грозную силу в окопе, Савва подикарски заплясал возле пойманной жертвы, высоко взбрыкивая длинными кривыми ногами. Присел на корточки и стал выкладывать под нависшей гусеницей костер. Проворно собирал вокруг щепки, палки, обломки жердей и заполнял ими все пространство от земли до блестящих омертвевших гусеничных траков.

– Эй, Савва! – крикнул я, пытаюсь отпугнуть поджигателя, не дать исполниться дерзкой затее.

Увлеченный сбором древесного хлама, тихой Савва не расслышал моего окрика.

Зашел в избу, шепнул Нюше.

Она уронила из-под себя табуретку, и, несмотря, на хромоту, мигом пролетела над скрипучими половицами найденновской горницы. Я боялся посвятить в тайну парней. Подгулявшие, они сейчас понесутся к тягачу и неизвестно чем все кончится для больного фронтовика. Нюша одна сумеет его образумить.

Вскоре на улице раздался взрыв.

Мы выбежали на крыльцо и увидели ворох густого черного дыма. Нюша была на полпути к танку, плотно окутанному пороховой гарью. Из зловещей смрадной завесы выбрел шатающийся Савва, держа наперевес тяжелый огородный кол. Он был страшен своей решительной, на все готовой фигурой. Даже жена резко замедлила размашистые шаги.

Большими прыжками растерянный водитель обежал стороной грозного старика и понесся к тягачу. Дым рассеивался. Можно было рассмотреть ползущие по броне змейки огня. Подбежав, отставной танкист схватил лопату, стал швырять на пламя волглую землю, перемешанную с осколками стекла. Парни помогли затушить огонь пиджаками и рубашками.

чьи хоры славил щедрый мир нарымского лета. Чем ближе мы подходили к деревенским суходолам, тем гуще и разнообразнее становился травостой. Кончалось раздолье осоки, накатывался темно-зелеными волнами гибкий пырей. Трещал под сапогами крепкостебельный дудочник. Качались задетые дождевиками упругие темно-бордовые головки кро-вохлебки. От близких сырых кустов тянуло приятным запахом черной смородины. Броская, яркая зелень, налитая влагой и солнцем, жила коротким счастьем летнего бытия. Перед нами лежала тихая земля, подверженная вечной зависимости от небесных законов. Каким боком не катиться земле по вселенной, она не минует всевидящего солнца, будет сообразовывать долгую жизнь только с ним. В солнце не затаен великий огненный рай. Оно способно оживлять цветы и реки, давать каждому из нас равные шансы на жизнь и каждому отпустить один миг на смерть.

Шагая в раздумье по травам, отводил глаза от помятой вездеходом деревушки. Неужели она родилась и жила только для того, чтобы вынести на себе тяжесть коллективизации, гнет тыла, проскрипеть на земле ставнями и колодезными журавлями, прореветь над похоронками горячими бабьими слезами? Неужели так шибко упала в цене отбитая у болот и тайги пашня, что ее можно оставлять на пожирание татарнику, молочаю, репейнику и лебеде?

На глазах людей, неба и Васюгана хирела с каждым годом Авдотьевка. Плескучая волна сплошных реорганизаций разметывала приречные сельбища, отрывала сеятелей от урожайных полей, рыбаков от ловистых водоемов, охотников от добычливых угодий.

Колхоз нищал. Его окрестили планово-убыточным. В районе планировать убытки могли более искусно, чем бороться за прибыль. Ползет хозяйство по наклонной – никакие вожжи не удержат. Облеченные властью чины любили

появляться в деревне внезапными набегами. Посевная, луговая страда, уборка урожая диктовали наезды разных службистов, уполномоченных, лекторов по распространению каких угодно знаний: от борьбы с клещевым энцефалитом до космической тематики. Упускалось из виду доскональное знание человека-труженика: сердцевины, стержня нашей жизни. Не находилось времени внимательно рассмотреть этого труженика, производящего запланированные убытки. Так не вязалась с делами словесная трескотня на пленумах, собраниях, сходках. Подготовленные речи дистиллировались, процеживались через начальственное сито. Оставались цифры крупные, слова бойкие, планы весомые.

С бледных, побитых дождями и снегами лозунгов, плакатов глядели на крестьянский мир неизменные призывы: догоним, увеличим, сократим, выполним... Однако из месяца в месяц, из года в год колхоз не догонял, не увеличивал, не сокращал, не выполнял то, к чему призывали слова на досках-лозунгах. Рубанок стирал старый призыв, киноварью писался новый. Возложенная агитмиссия считалась честно выполненной.

На покоробленных щитах фанеры художники-самоучки творили бойкими кистями медведеподобных свиней, многосаженную кукурузу, коров с трехведерным выменем, пшеницу с колосьями по пеналу. Наглядная, вернее, неприглядная агитация годами мозолила глаза у конторы, ферм, зерносклада, на деревенском раздорожье. Какой-нибудь ушлый школьник пририсовывал цветным мелом очки дородной чушке, два горба пузатой корове и пышный бант над репицей ее метельчатого хвоста.

Деревня теряла силу, лишалась жизнетворящих соков. Тот период Тереша Найденов называл отлучением мужа от земли. Перед нашим взором лежала и отлученная от земли Авдотьевка. В прошлый май тягач не успел ее извести

Тереша пытался бастриком вернуть беглянку на родное подворье, но та крошила клыками конец березового орудия и хищно сверкала непримиримыми ртутными глазами. До коренного – зимнего снега – проходила вольнопасом Маврина каторжница и сама забрела в стайку. Бока округлились. Щетина залоснилась. Можно было лечь в голодную зимнюю спячку.

И сама-то Мавра – божий человечек – питалась невесть чем. Положит в рот сухарик и мусолит его языком, посасывает, как леденец. Боярку, черемуху, калину съедает с косточками. Мучается запорами, принимает слабительное, но и в другой раз не выплюнет ягодные ядра, проглотит их целиком, не размалывая на зубах.

Нудные земные заботы отшельницы, никчемная суетность затажной жизни разом обрывались перед ликом пухлых книг. Радостно и самозабвенно погружалась она в ушедшее время, скрытое за красивой вязью церковнославянских слов. За этим, словно кисейным покровом, кипели иные страсти, открывались иные истины. Там был мир заветов и молитв – широкий, доступный сердцу страдающей женщины. Был мир чьих-то древних деяний, восхваленных теми, кто при лампадах постигал их неукоснительную правду и таинство. Краснословный, боголепный клад, охраняемый рисунчатой кожей книжных обложек, медными схватцами, застегивающими книгу, был рядом. Открой кладезь мудрости, загляни в него. Много непонятого для Мавры, даже голову болью обносит. Но она твердит и твердит вычитанное, пристраивает на свой жизненный лад. Шепнула ведь Богородица, вняла покаянию Мавры: блудница да будет целомудренной.

Давненько явилось отшельнице видение: идет рослый смолокур Аникей Пупырин по ливе майской, аки по суходолу, еле-еле воды касается. И ореол золотой над его курчавой головушкой неотлучно за ним следует. Обмерла Мавруша не

душицы бабушка никогда не возвращалась домой с пустыми руками. Плавным движением по стеблю сверху вниз легко снимала с кипрея упругие продолговатые листья, укладывала в полотняный мешочек. Срезала ножичком, собирала в пучки лекарственные растения, сушила под навесом на сквознячке. В сенах, в кладовке таких веничков лежало и висело великое множество. Черёмуховую кору, корни болотного аира и шиповника, луковицы лесной саранки, плоды боярки, черники, голубицы, марьин корень – все припасала впрок бабушка Горислава. От многих недугов находила нужные средства для деревенских больных. Уносили от нее травку, корешки, настойки, мази от зубной боли, лечила от кашля, поноса, головокружения, бессонницы. Найденовская изба – незакрываемая аптека – притягивала к себе страдающих геморроем, одышкой, насморком, грыжей, глистами, болезнью суставов. Врачевательница щедро раздавала мази, порошки, сделанные из кореньев, листьев, поила кедровым бальзамом, травными отварами. Они изгоняли разную хворь.

Бабушка готовилась к выходу в лес, словно собиралась в большой, светлый храм. Надела чистое серое платье. На посеребренную голову накинула новый платок в синий горошек. Движения были плавные, чинные, подчеркивающие важность и торжественность предстоящей встречи с родным, желанным лесом.

На раздорожье нас поджидала улыбчивая Нюша. В руке пластмассовое ведерко, в нем удобный самодельный нож для подрезки грибов. Горислава выше своей давношней подружки на голову. Рассказывала воспоминание из детских лет:

– Была маленькой, маманя пугала: будешь сердитой – не вырастешь. Ни на кого в сердце обиду не держала. Вот и тянулась.

Нюша подсмеивалась:

– Ты не из-за этого вымахала. Ты всегда за солнцем подглядывала. Тянула к нему головушку, как подсолнух.

БАГРОВЫЙ ЗАКАТ¹

Повесть

1

Перед войной Дектяревка раздалась вширь, потеснив та-
ежную сторону. Восемь лет назад нагнали сюда раскулачен-
ных. Поскотину под застройку им не отдали: повоюйте с ле-
сом, покорчайте пни, расчистите завалы. От сосновых срубов
посветлела деревня. Игольчиковы возвели многооконный
пятистенок. Пяти послесельных лет хватило им, чтобы воз-
родить зажиточное хозяйство. В надворных постройках слы-
шались мычанье, блеянье и хрюканье. Крепкоскулый, при-
земистый Парфен привез с Алтая упрятаные под пимную
заплатку деньги, потихоньку пускал на обзаведение хозяй-
ства. Хотел торговать в соседней деревне лошадь – побаи-
вался, что и здесь навлечет на себя немилость властей. Пожа-
луй, вновь тряхнут двор, спросят, отчего так скоро поднялся
на ноги и припеваючи живешь.

В деревне изба избе скоренько пересказывают все ново-
сти. Давно ходили крепкие слухи, что из понизовских сель-
бищ обряженные в форму люди увозят на дознание председа-
телей колхозов, рыбартелей. Берут счетоводов, смолокуров,
фуражиров, мельников. Угодила даже доярка, обвиненная в
умышленной порче двух стельных коров. Дознаватели пожа-

¹ Повесть «Багровый закат» впервые опубликована в г. Колпашево: Колпашевское полиграфобъединение, 1992 г.

ки. Игольчиков старший негодовал: его отправляют на войну вместе с сыном. Тут что-то не так, недоразумение закралось. Ничего, в районе выяснится. Собирая котомку мужу, Матрена не испытывала жалости. Душа даже не взбунтовалась от такого омертвления сердца. Изба исчезла, Крисанфа забирают на фронт – спокойна... навалилось тупое, омерзительное равнодушие. Вспомнилась пошлая песенка, подходящая к случаю: «Жена мужа на фронт провожала, насушила ему сухарей. А сама потихоньку шептала: унеси тебя черт поскорей».

Вскоре муж вернулся из района с бронью. Парфен, Сотников, другие первобранцы понеслись навстречу свинцовой судьбе.

Кантуя, ошкуривая сосны, Матрена перебирала в памяти безрадостные месяцы супружеской жизни. Мало находилось просветов, все было заткано плотными многослойными тучами. После пожара жилось несладко. Припасы почти все сгорели. Парфен где-то уберег от огня денежную заначку, она и выручала.

Подбираясь вагою под смолистое бревно, женщина чувствовала, как от натуги холодит и сжимает живот. Матрена не задумывалась, почему она до сих пор не затяжелела. Ей просто не хотелось иметь от Крисанфа ребенка. И она по-мужичьи ворочала бревна, надсажалась, вытравливая беспробудно спящее чувство материнства. Жила, вставала с петухами, ложилась спать в пересменку суток. Позже явится запоздалое раскаянье, она будет слезно просить у икон, чтобы боги ниспослали ей р о б е н о ч к а.

За деньги и водку Крисанф звал на помочи оставленных мужиков – не шли. Отказывались под разными предложениями. Приходил Матренин отец потюкать топором, скоро выдыхался и под дикий кашель стыдливо отваливал от сруба. Слабосильная, плоскогрудая свекровка тоже была плевой помощницей. Покрутится, нагребет щепок в мешок, поохает,

колодец, огородить под выпас участок в кочкарнике. Трава здесь высокая, сочная. Не надо гонять спасенную корову на поскотину. И свинье вольготица. Пусть пашет рылом землю, выискивая съедобные коренья. Скотине можно выкопать для водопоя яму. Отстоится питье – речки никакой не надо. Даже в самую жару около прилесья ощущалась прохлада от сыромошника, кудлатых рослых кочек и раскидистых кустов.

Для пробного облета рано закружились нетерпеливые белые мухи. Крисанф еле-еле упробил четырех стариков помочь поднять листовничную матицу. Крякали, тянули веревки, были насуплены. За помощь не взяли ни копейки, не выпили за подсобу предложенной водки. Молча пришли, молча ушли, пугая Крисанфа забастовочной немотой.

Под ранние крепкие морозы управились с потолком, наметали на него для тепла сена, придавили досками и перебрались в новую избу.

После крещения пришла в Дятляревку первая похоронка. Вскоре за ней явилась новая казенная бумага, извещающая, что Парфен Игольчиков пропал без вести. Солдатка тупо глядела на машинописный текст. Могильное слово пропал плясало перед глазами. Таинственная пропажа Парфена терзала томительной неопределенностью. Убит? Не учтен в списках? Выпала кара зверского плена? Глыбой свалилась весть-обруха. Матрена видела полоненную горем свекровку, с двойной силой тащила домашний воз.

После ухода на войну отца Крисанф все чаще заговаривал с женой о детях: «В м е с т я х постель давим, а малышек – тютю». Отбояривалась Матрена: «Не знаю, почему полая... эта природа не для нашего ума». Забылось, затянулось тенетами дней, что ворочала в чужом доме ведерными чугунами, большими охапками таскала дрова, что свекор не давал роздыху на покосе и скотном дворе, а распяной муж торкал в живот чем попадя. Природа не так заботилась об уме женщины, как

о ее теле. Она оберегала от натужных трудов. Но мужская природа и порода смотрела на бабу-работницу со своей дворовой колокольни. Мужиков не трогало чужое мускульное расточительство. Они не допускали мысли, что баба не сможет исполнить данный ей обряд родин, бабью справу. Иная жена – п о д о л ь н и ц а приносит нагульного ребенка. Матрена верна, как солнышко земле, даже в думы грех не пускает. Легко сказать Крисанфу: рожай. Есть, видимо, повелитель посильнее, чем муж. Правит, дозорит за судьбой. Надо смириться, уповать на его.

В февральский ветродуй умер отец. В гробу лежал краше, чем был в последние тяжелые месяцы болезни. Обмытый, убранный бумажными цветами покойник казался дочери спящим. Не верилось в вечный сон отца. Всей тяжестью обрушилась на Матрену явь неподвижности и смертной немоты. Тяте не шевельнуть пальцем, не постонать, не погладить дрожащей рукой по голове. Стоящий на табуретке гроб, почти детское изболевшее тело в нем были последним видимым пределом. Скоро могила сокроет его черты. Предстоящая повечная разлука с отцом встала со всей неотвратимостью и мукой. В груди давно вызревал жуткий стон, накапливал страшную силу. Он вырвался громом, заставив вздрогнуть мать, бабушку, братишку и деревенцев, пришедших разделить горе. Стон-воплъ подхлестнул волну стенаний. Она покатилась по горнице, ударяясь в стены, двери, обметанные по косякам плотной изморозью.

Никогда так не голосила Матрена по умерцам. Надо было воочию увидеть обрушную беду в родном доме, чтобы от ее опаляющей молнии всеохватно воспламенить страдающую душу. От настойчивого поучения смерти на Руси родилась еще одна вопленица. Некоторые бабоньки не вынесли шквального рыдания горемычной Матрены. Подхватили вой, заголосили, схватились за волосы.

Сломить упорное сопротивление жены не удалось. Апостолики жили-поживали в широкой зыбке. Дружно прикладывались к материнной груди, и она часто путала – Петр или Павел сильнее теребит правую любимую сиську.

Навязчивая мысль о непорочном зачатии втемяшилась крепко, окатывала дурманом внушенного обмана. После рождения близнецов в Матрене не зародилось искры любви к осоловелому от счастья мужу. На радостях ухмеленный кладовщик несколько недель не обвешивал деревенцев. Принимая на склад овечью шерсть, мясо, свежесбитое масло, был болтлив с бабами, заискивал перед мужиками. От фронтовиков отводил стыдливо глаза. С Крисанфом здоровались через губу, неохотно вступали в разговоры. Инвалиды плевали под ноги. Возведенная отцом стена отчуждения не рушилась – росла. Парфену удалось скovyрнуть доносом председателя. Сын приложил руку и поганный язык к аресту смолокура Игната Гришаева, обвиненного в умышленном поджоге затерянной в тайге смоловарни. Закорючистая, но разборчивая фамилия – И г о л ь ч и к о в уколола большее шила, приговорила к явному навету – в р а г н а р о д а.

В нарымских тайговниках было много разбросано всяких промартелей, смолокурных заводиков с примитивным, изношенным оборудованием. Готовили смолье, драли бересту, рубили пихтовую лапку. Жгли-томили в закрытых ямах уголь для кузниц. Наполняли бочки живицей, дегтем, скипидаром. Стойко держался в тайге смольно-скипидарный дух.

Рослый, густо обородаченный Игнашка Гришаев приходился дальней родней арестованному председателю колхоза. Игнат, схваченный за дикую напраслину, не сразу дался милиционерам. Ему пытались заломить руки за спину, тряхнул плечами – двое дюжих парней повалились с ног. Успев схватить топор, крикнул: «Порушу, гады! Подваливай смелее!». Один из парней схватил оглобельную заготовку, с размаху

Наказ голубого бесплотного отца – спасай избу и шкуру лишил Крисанфа покоя, пропитал страхом. Перво-наперво разложил по укромным местам топоры. Молчаливые охранники и защитники должны были спасти от всяких непредвиденных нападений. Самый острый светлощекий топор лежал в изголовье, повернутый топором к двери. Пришлось несколько раз прорепетировать выхват топора из-под подушки: рука за доли секунды успевала сжать топором за тонкую шейку сгиба. Мужик отлаживал оборону до мельчайших деталей. Крючок на избяной двери показался слишком хлипким. Заменял его на большой, кованный. Хранимые ранее в одном ящике молотки, долота, отвертки, шилья разнес по потайным углам. В нужный момент всегда окажется под рукой защитная сталь. Когда гремела во дворе цепь и хваткий кобель носился под проволокой от стайки до воротного столба – Игольчиков был спокоен. Такой волкодав в обиду не даст. Неутепленная на зиму конура способствовала чуткому бдению пса. Пусть честно сторожит надворные постройки, избу, зарабатывает мослы и объедки.

В согре сорочье и воронье, слетаясь на какую-нибудь падаль, поднимали гвалт. Раздраженный Крисанф не переносил птичьей свары. Хватал со стены дробовик, торопливо всовывал патрон. Выйдя за ворота, бабахал в падальщиков. Катился над кочками ворох дыма, в ушах долго не смолкал гром. Пусть знают в деревне: кладовщик вооружен, ежели что – пальнет по любому врагу.

Глас огнеликого отца слышался отовсюду, торопил предпринимать спасительные меры. Снаружи избы из пазов свешивался пучками мох. Хозяин лопаточкой вколотил его меж бревен, до пятого венца замазал углубления густой глиной. Он придирчиво искал уязвимые для огня места. Покрыв старой жестью тес на завалинках. Содрал с поленьев в дровянике торчащую бересту. Загородил двумя рядами жердей сто-

денный вживе усатый дядя замер в рамке... Замер где-то теперь в гробу, не пробуждая тревоги сердца, не сжимая спазмой горло, не вызывая самобегущие слезы.

Спецпереселенцы держались плотной кучкой, тихо переговаривались, мечтая о благих переменах в жизни и судьбе.

Напористые лучи солнца плясали на председательском скуластом лице. Он задрал голову к солнцу, точно собирался прочесть на нем важные, данные к моменту слова. Проникнув в ноздри, лучи щекотали мясистый, угреватый нос. Свербеж сделался невыносимым. Подкатывался предательский неуместный чих. Желая его предотвратить, зажав в горсть приплюснутый выступ, председатель слегка приглушил непотребные звуки. Вышло даже что-то похожее на зарождение подступившего рыдания. Раздалось всхлипывание, глубокий стон. Конфуз незаметно переходил в стадию открытого выражения горя.

Митинг открылся...

Со смертью Сталина не кончился белый свет. Лежал он от Дектяревки на все четыре стороны, подпираемый куполами, дымами избенок, снежными наметами. По утреннему подморозку дорог скрипели сани с навозом. В кузнице устало бухал молот. Из денника, где гуртилась вялая колхозная скотина, доносился требовательный голодный рев. Матрена заходила в свинарник, открывала клетки. Вислопузая голодная чухня готова была грызть ее высокобортные галоши, напаянные на старые, трижды латанные пимы. Распикивая ногами щетинистую братию, женщина с трудом добиралась до кормушек. Не успевала вытрясти из ведра распаренный корм – закипала яростная возня возле корыта. Мелькали клыки, тряслись рыла. В уши вламывался истошный визг. Свиноматки в отдельных клетках вели себя степеннее. Поросята жались в кучу, воюя за удобное место у истерзанных сосков. Матрена давно смирилась с подневольным положением, с

Желая подлизаться к жене, Крисанф величает ее Матреной Олеговной.

– Брось телячьи нежности, – отрезвляет жена. – Зовешь Мотрей, так и дальше шпарь. Меня в колхозе за ладную работу по отчеству зовут – достаточно этого.

К приходу хозяина готовы щи. О муже Матрена Олеговна думает меньше всего, надо в первую очередь накормить едоков-апостолов. Провались сейчас Крисанф в татарары – слезинки не уронит: их давно выжжет суховей совместной жизни. Скоро и скверно свершилось замужество. Внушала бабушка: стерпится – слюбится. Стерпеться вроде стерпелось, сердцем не слюбилось и не слюбится. Жулькает на стиральной доске подштанники, возьмет да и швырнет их в мыльную пену. Опускаются руки, обмирает душа, пропадает всякая охота доводить до чистоты кальсоны. Особенно когда попадет на гофрированную поверхность доски металлическая пуговица, противно загремит, заскребет сердце. Христос и Троеручица укорно смотрят на прачку-работницу, внушают: «Терпи, баба, терпи... чего тебе эта любовь далась... живи да молись, да в ноги мужу вались».

«Легко сказать: в ноги вались. Не валится. Крисанф – мужик двурушный, двудушный. Бивал меня, вколачивал покорность. Уйдет на ночную сторожку, думаю: господи, хоть бы совсем не вернулся. Грешно, Троеручица, такие мысли в себя вбирать, но что поделаешь...».

Появление детей окончательно отдалило мужа: его Матрена Олеговна стала называть х о з я н о м, словно находилась на постое скаредного, занудливого мужика.

Четушку он берет в магазине для отвода глаз. Самогонки дома – залейся. Водка – она, падла, в цене кусучая, убийтись только. В подполе в укромном местечке бутылки своегоночки. Она имеет градус позабористее магазинного питья. Порой отсиживаются на пробках-затычках крысы, пятнят пометом стеклянную тару.

продавать вахтовикам спиртное. Власть денежной выручки брала свое. Однако дорожная братия дело знала твердо, была по утрам, к а к ш т ы к. По-военному занимала кабины и продолжала вести на север зимник, нужный под грузопоток.

Игольчиков продавал дорожникам молоко, картошку, сало. Изредка оставлял ночевать загостившихся парней. Шумоватые постояльщики наливали хозяевам вина. В отличие от жены Крисанф не отказывался. Дорожники возбужденно говорили о будущем городе Быстринске. Быстрина закрутит рабочих в глубокой воронке труда. От города побегут на нефтепромыслы новые пути-дороги, дел будет – пруд пруди.

Хайластые вахтовики в забывчивости сыпали за столом словесную nepотpeбшину. Матрена Олеговна дважды приструнила: хлебосольничайте, при детях да при иконах не лайте. Курил хозяин, смолили гости. Дым висел плотным туманом. После ухода шоферов, трактористов жена напускалась на хозяина:

– Чего привечаешь кочевых пьянчуг? Наскотинили за столом, убирай за ними сам.

– Нишкни, Мотря! Я от них выгоду буду иметь. Скоро машины с грузом пойдут. Обещали с цементом помочь. Вода болотная, грунтовая с весны начинает мучить. Буду подполищу бетонировать. Песку вволю, запасусь цементом. Такое заграждение сделаю – капля влаги не просочится. Крысам всеходы-выходы перекрою.

– Пусть цемент для города везут, он на стройке нужен. Под суд угодить захотел?

При слове с у д Крисанфа передернуло. Потянулся к недопитому стакану. Засаднила ошпаренная страхом душа.

Зимник ожил после новогодья. Гремели по нему тяжелые машины, дробился в стволах корабельных сосен свет фар. Отдельные лучи проникали в согру, вспыхивали над кустами и сугробами. По воле случая изба Крисанфа, поставленная на

не обременные честью, правдой, порядочностью. Водились и посейчас водятся кубышечные деньги. Они перетянут любую чашу весов. Скопидомство – выучка надежная, неоспоримая. Колхозная голодрань снова косится на зажиточный двор. Думали выжить из деревни поджогом пятистенника – хренушки! Поднялся новый дом, пустил бетонные корни.

Голова кишмя кишит ползучими думами. Встает перед глазами избитый дождями и снегом крест с могилки дураковатой Стеши. Возникает тывкающая собачонка. Сторожа озаправляет догадка: созлодейничали сыны смолокура Гришаева. Их кобель надрывал пасть. Гады! Укараулили пьяного, спящего. Выродки врага народа. Погодите, и с вами рассчитаюсь. И вдруг молния в мозгу: могли ведь и в речку с яра сбросить. Так глупо угодить впросак!

Электрическая печка быстро прогревала воздух в подполице. В тишине бетонных стен Игольчикову постоянно слышалось навязчивое журчание воды. Она словно подтачивала серую твердь, искала лазейку. Бункер, наверно, разрезал водоносные жилы, разлучил струи. Они торопились слиться.

Давно воспаленную голову стали истязать кошмарные сны. Являлся загубленный доносом смолокур, четвертовал Крисанфа тяжелым ржавым тесаком. Из ран вместо крови летели опилки... Надвигались на спящего монолитные стены, плющили в стиральную доску. На грудь прыгали лохматые крысы величиной с собаку, разгрызали когтями грудь, добираясь до сердца. Его на месте не оказывалось: зияло дупло. Страшным было то, что сновидец не мог оборвать этот ад. Картины кошмаров просматривались до последнего кадра.

Через квадратную крышу подполицы Матрена Олеговна слышала вскрики, жуткие стоны. В избе она часто обрывала чертовщину сновидений, спускаться в бетонину не хотелось. Пусть продолжается пытка снов, бесы знают, кого мучить.

ный колхоз разваливался фанерной бутафорией. По личным дворам прошел бум сокращения скотины. Недолго тянулась для страны пора мясоеда. По северным землям рождалась в муках пресловутая кукуруза. Раскорчеванные под поля чистины затягивал кустарник, цепко опутывало мелколесье. Скотные дворы обветшали. У механической мастерской ржавела раскуроченная техника. Плано-убыточное хозяйство погрязло в долгах: из финансовой трясины не предвиделось вызволения.

Введение паспортной системы в селе открыло шлюзы. Сперва хлынули спецпереселенческие семьи: позвала насильно отнятая земля. Мужики, крепко битые по рукам злыми законами, разуверились в правде. Не однажды преданное крестьянство долго не очухается от унижительной расправы, да и очухается ли вообще?

Больно было видеть Матрене Олеговне всеобщий развал колхоза. Председатель ходил ощипанным индюком. Бригадир не дозвется гуляк-механизаторов. Дойки срывались. Скотину косил падеж. У ферм горы невывезенного навоза: выплодились крупные синие мухи, отсиживались под лопухами, в крапиве. Разбитая водопойная колода у конюшни довершала бедственную картину.

Порою жизнь казалась Матрене Олеговне сплошной бессмыслицей, простым отсчетом тягучих, безрадостных календарных дней. Подходили праздники. Крисанф вывешивал на углу избы флаг, втыкая древко в прищипанную отрезок узкой трубы. Красные числа давно утратили новизну. Не веселили бравурные марши, каскадно падающие из репродуктора. Неужели так уныло действовало на крестьянку явное умерщвление деревни? Или вопленица поторопилась изнуоряюще отскорбеть за всех умерцев, не оставив в душе маленького уголка для житейских радостей. Лицо затянуло паутиной морщин. Из провалов глазниц тускло отсвечивали

Сыновья смолокура Гришаева не думали уезжать из Дектяревки. Наоборот – рубили новую избу, распахивали часть оставленного соседнего огорода, посадили картошку. Они ездили в областной центр, доискивались правды. Им сказали: дел о реабилитации рассматривается много, ждите своей очереди. Не терпелось узнать: по чьему наущению они лишились отца.

По-прежнему Крисанф царапал левой рукой анонимки под копирку, рассылал по газетам, в райком, в сельсовет: «Братаны – сыны врага народа смолокура Гришаева имеют лишние сотки огорода... свалили на избу и не заплатили за сосны... ти-ра-ризируют честных жителей деревни».

Не спешили теперь в забытую Дектяревку проверяющие. Обвиняя в лени местные власти, старик все же надеялся, что его писанину возьмут на учет, нагрянет когда-нибудь комиссия с проверкой. Не ехали.

Избу, выровненную кирпичными тумбами, опять повело в сторону закустаренной согры. Угол просел. В стенах бетонного убежища наметились трещины. Зимой мерзлота земли держала бункер в оцепенении. Весной и летом грунтовые воды, подтайка пошевеливали машину, осаживали. Росла щель между полом избы и верхом подземного сооружения. Иногда в присутствии подвыпившего отсидника бесстрашные крысы прытким скоком проносились мимо топчана, устремляясь вглубь бетонной галереи. Крисанф не упускал случая запустить в них тапчekom, огрызком огурца, даже стаканом.

Неторопливо текла к Оби сплавная река. Неторопко текла река дней, не принося покоя старому грешнику.

За пробным облетом робкого снега не замедляла явиться зима. По утрам немногие трубы Дектяревки нехотя выпускали квелые дымы. Кругом царило белое омертвление. Сугробы лежали ровень с городьбой. Рано темнело. Рано начинали кочевать беззащитные звезды.

жидкости во рту-лаборатории, винокур подставлял к стакану подаренную нефтяниками зажигалку, наливал кэвээнчику по ее высоте. От пробной дозы в груди проносился винный пал, словно и там забесновалось невидимое голубое пламя. Вскоре наступало временное очищение души. Все мерзкое, накопленное за жизнь годами, проваливалось в тартарары. Просыпалась жалость к самому себе, прощались грехи людISHкам. Вспомнил бригадира-полевода: не вернул занятый червонец. Простил человеку должок. Грешно сейчас требовать – времени прошло много. Да, может, и вернул десятку, сам запоматывал. Рассуждал вслух:

– Не отпетые же мы люди – Игольчиковы. Делились с соседями рассадой, мукой, цементом. Привечаем шоферов, бульдозеристов. Ни один голодным не уезжает. Ублажали гостинцами райцентровских знакомцев. Давали топленое масло, окорока, сушеные грибы, орехи. Райцентр – целое невеликое царство-государство. Там какой-нибудь прораб из строительно-монтажного управления выше министра, страховой агент нужнее генерала. Там свой собес, свое райпо, своя территориальная власть...

Опорожненный стакан и зажигалка наводят на свежую приятную мысль. Крисанф подставляет мерку, наливает вторую полстаканную норму. Из рюмок пить перестал давно: предательски дрожала рука, расплескивалось питье. Наполовину налитый стакан стоял неколебимо. К нему подступался без опаски опрокинуть или расплескать содержимое. Стан широкий, как у матрешки. Облапишь – не вывернется. Не то что у тощих рюмашек. Чтобы край стакана не стучал о зубы, стекло перехватывала нижняя оттопыренная губа. Дальше дело шло своим привычным чередом. Вторая порция первача взвеселила. Потянуло на частушки. Достал из-под топчана запыленную гармонь, разбудил мехи: «Эх, пейте вино, не спивайтесь. Что девочки говорят – не сдавайтесь». «Эх, мать моя,

– Нашелся мне грамотей! – Матрена Олеговна от такого упрека даже приподнялась с постели. – Я таблицу умножения не всю в уме прострочу, зато назубок знаю, в какие годы какие налоги на нас валили, из сколько литров молока кило масла выйдет.

– Из сколько? – с ухмылочкой допытывался старик.

– Не лыбся! Опоганил рот одним стаканом, другой пихай.

– Пошутить нельзя.

– Шутник выискался. Одна баба съездила в город да брюхо на ш у т и л а. Такую бякошную жизнь с тобой прожила – за што про што? Жила непашенная да некошенная, так ты, черт, расплужить успел. Связал-спутал меня, как повитель пшеницу. Каждый день из души моей п о д у ш н ы й налог берешь.

– Молодой была, так не ворчала.

– Молодое сало чадит мало. Не тряси увядшие годочки. Моя бабушка уставом домостройным приструнила. Под ее домостройщину и вековала с тобой. Под дудочку твою плясала.

– Ты и под гармошку наяривала – каблук ломала.

– Что мне оставалось делать – при штанах твоих ватных сидеть? Ты же из к и л о г р е й к и не вылезал. Пойду в клубишко, упляшусь, напоюсь с девками, сторона моя – дальница – вспомнится: Катунь, заречье травное и радуга во все небушко... Промаялась, пролаялась с тобой век, будто с девичьей поры жмыхом подавилась и по сей день он комом в горле.

Пытаясь извлечь из зубов кончиком языка застрявшее мясо, Крисанф кривит синегубый рот. Мясные волокна закрепи прочно. Подходит к русской печке, извлекает из ниши коробок. Не обкусав спичку с конца, сует в рот. Кровеня десну, пропихивает в зубную щель упрямую свинину.

– Гостек, давай все же выпьем... Здря отказываешься. Шарахнем по народной мерке – по стакану, жизнь слаше станет. После вина милее жена.

Матрена Олеговна пригвоздила старика взглядом.

– Балабол! Жена милее. Попыхтеть в постеле путем не можешь, человеку хвастаешься. И какая я тебе жена? До-гробница я. Снесу муку до гроба, разочтет нас жизнь по заслугам и делу конец.

– Шибко не задирай нос, Мотря. Вспомни, какой ты мне бабой досталась.

– Че заткнулся? Говори – какой?

– По-ча-той.

Ждал от Матрены Олеговны гнева. Думал: запустит со зла в старика чашкой, пластмассовым цветком или уродливой глиняной собачкой с комода. Она чакнула зубами, словно произошла осечка приготовленного резкого слова. Заговорила внушительно и веско:

– Радуйся, дубина, что за тебя пошла. Метил в купцы, попал в скупцы. До сих пор над каждой копейкой трясешься. Эта малярия на деньги когда-нибудь тебя доканает.

– По завещанию все тебе оставляю.

– Без твоей завещательной бумажки проживу, с голоду не помру. Ох, и надоеднй ты старик! Нудишь-нудишь век: початой ему досталась. Худой осудит, добрый рассудит. И не стыдно тебе перед человеком? – Глянула на меня. – Залил шары на свадьбе, пьяной-распьяной в постели был. Утром обвинение готово – до меня с кем-то с п о д о л и л а.

– Молчи! Чернилами красными от греха откупилась. Думала – проведешь меня. А гостек что? Пусть слушает, всю скверну жизни впитывает, знает мое поучение: не верь бабьим сказкам... Бабье сдается на милость победителя, даже не поднимая кверху рук.

– Расскажи-ка лучше Вина-мину, поучитель ты этакий,

– Меня, Мотря, могила покоробит.

Задумался виношник, щелкнул на столешнице яичную скорлупу и затянул нудным, скрипучим голосом: «Понапрасну ломал я решеточку. Понапрасну бежал из тюрьмы. Моя милая родная жenuшка у другого лежит на груди...». На последней строчке певец так захайлал, словно с другого берега реки перевоз просил.

– Заглохни, леший! Перепонки не чугунные.

– Не ты одна в артисты вышла. И я на спевках отличался. Бывалочи, с Гришухой кузнецом затянем «Дубинушку» – зал «эй, ухнем» подвывает. Мы с Гришухой одногодцы. Его господь раненько в царство небесное взял. Жил, что не жил.

Шкодливый, хитромудрым парнем рос Крисанфушка. Выслеживал, на каких лавочках-беседочках рассаживались влюбленные парочки, заранее потемну мазал их коровьим пометом. Вляпаются ухажеры и молодушки, чертыхаются. Бегут к речке отмываться. Шкодливец спрячется за кусты и хохочет по-лешачьи, фубукает, волком воет. Сыпал увалень серу на учительский стул. Мазал дегтем ворота. Бил по стеклам из рогатки. Матерился всегда к р у т о й матерью. В года вошел, не бросил богохульствовать. Матрене Олеговне иногда хочется сматюгнуться на старика – смолчит. Подумает: дай пропущу гадкое слово, все богом зачтется. Крисанф никогда не пропускал случая облаять порядки, пустые магазинные прилавки, людей, мешающих жить, приворовывать и ловчить. Даже поминая кого-то, вставлял язвительно: «Ох и сволочь была... царство ему небесное».

В Дектяревке слыл дельцом и скупердяем. Про него говорили открыто: этот оправится, посмотрит под себя и подумает – не сгодится ли на квас. В сенокосную страду на луговом стане привязанная к кусту кобыла припятилась к берестяному кузову, где хранились съестные припасы, набурлила туда. Заглянул косарь в кузов – плавают шаньги по-

ехидные словечки: два друга – хомут да подпруга. Не оглянулись даже. Пусть балаболят.

Мы с Ганей деревенские, колхозных земель сыновья. По его жизни Ока текла. По моей – Васюган. От рек люди выходят добрее, уживчивее. Курит Бивин, на меня испытно смотрит. Выпустил из ноздрей струйки дыма, спросил:

– Пошел бы ты со мной, Терентий, в разведку?

– Пойду.

– Спасибо на добром слове. Думал – откажешься. Ты один согласился. Все отнекивались. Думаешь, война растянется?

– Любой гадалке точно не ответить. Видел сам, что на узловых станциях творилось. Не прогулочка будет, если заявлено во весь голос: Родина в опасности. Ты женат, Ганя?

– Не успел. С маху не хотелось. Жениться – не бревню отесать. Душу к душе не вдруг подгонишь. Невеста есть – дочь пасечника. Призывали меня в конце июля. Кругом – цветень. Травы от медовых рос гнутся. Помогаю на пасеке, медогонку кручу, вдруг пчела в глаз ожгла. За день до отправки на войну это случилось. И стало меня тяжелое предчувствие томить. Думаю: пчела точку показала, куда пуля-дура присвистит...

Помню, тогда и я резко оборвал Ганю. Сказал ему:

– Не за свою шкуру трясись, Бивин, – за землю отеческую. Трусливый заяц первый лисе в зубы угодит. Не с плачем на битву идти надо – со скрежетом зубовым. Кто, кроме нас, Родину из беды вызволять будет? Всю силу, накопленную от русской земли, призови на помощь. Правота, Ганя, на нашей стороне. Не звали мы разбойников, сами поганцы пришли. Чья стенка возьмет – от нас зависит. По Европе фашисты с бравой музыкой шли, по нашим дорогам с траурной поплетутся. Сколько ни быть войне, крепко знаю – нашей победой кончится. Плата за победу одна – множество смертей. Но ты не к ней, к жизни готовься. Метче бери врага на винтовочную мушку...

Никакой весне теперь не растопить оснеженную голову Матрены Олеговны. Мороз долгой жизни покрыл знобкой изморозью гладкие волосы.

Старик заглубился в бетонное подземелье, ушел от солнечного света и света людских глаз. Заберись Игольчиков даже в самое нутро преисподней, он и там не нашел бы покоя своей запятнанной совести, защиты от скверных дум. Всккивал с лежанки, лунатично шастал по избе, прислушивался к ветреной ночи. Без топора и электрического фонарика на двор не выходил. Темень за сенной дверью стояла антрацитовою стеной. В звуках ночи мерещилась всякая чертовщина: кто-то крадется вдоль завалинки... подсовывает под стожок сена просмоленную паклю... стоит за углом, выжидает удобного случая, чтобы полоснуть по темечку топором. Страх старика передавался Матрене Олеговне. Рассказывала:

– Смотрю, не вижу никого... чую: кто-то ходит, скрипит половицами... шаги ближе, даже воздухом избяным наносит на меня. Я к печке. Тянусь за клюкой, кто-то руку мою отводит и... шерстью касается. Не иначе нечистая сила поселилась под нашей крышей. Впору хоть избу оставляй.

Мудро людьми говорено: ложка к обеду, слава ко времени, совесть повечно при себе держи. Меня никогда голод к воровству не толкал. Всяко жила. В муку толченого моха и коры осиновою добавляла, но руки в добро колхозное не запускала. Старик меня не понимает. Смеется: «Ты, Мотря, за просто святой можешь стать». Зачем мне святость, лишь бы клятости от людей не было. Конечно, кладбище всех замирит – воров и судей, подлецов и честных. Не скрою: верую в бога. Не охамил он меня ни разу, не упрекнул ни в чем... но жить тошно. Страсть порой задавиться хочется.

Мой старик с детства ушляк: прокатит на палочке верхом, за провоз деньги попросит. Украл в вагоне кошелек с деньгами, припечатал к скуле, платком привязал. Его обы-

скивают, по карманам шарят, он скорчил рожу страдальческую и картавит: «Ох-оушки, зубы проклятые замучили...».

Хозяин сидит у протенка под численником. Вспомнив давнюю проделку, ухмыльнулся:

– Самая удачная операция в моей жизни... дурни! Кошелек у щеки, они по карманам шмон наводят... А на меня, Мотря, не ворчи. Жизнь под уклон скатилась, все ерепенишься.

– У тебя гнусаря научилась.

– Нас с тобой могила развенчает. Нам осталось последнюю мебель закупить – два гроба. Поворчат, правда, люблю. Такая пакость жизни перед глазами прошла, такая свистопляска – упиться не грех. Волтузили бедную деревню, мяли бока, ломали ребра. Крестьяне горя изрядно на кулак намотали. Какой чин ни заявится в деревню – норовит мужика учить. Распетушили вконец колхозы. Вши на нас и то реже нападали, чем начальство. Провели бы сейчас такой опыт; оставили деревни в покое лет на сто, чтобы ни одна канцелярская крыса нос в нее не совала. Мужики возродятся. У них еще семена для продолжения рода остались.

– Че бубнишь про то, что было?! Нонешняя власть угодна крестьянину. Я вот из войны случай вспомнила. Пришли ко мне сборщики, говорят: вноси, Матрена, в оборонный фонд фуфайку. Отвечаю: нету, сама в лохмах хожу. Пошли сборщики в сельмаг, купили стеженку. Сдали за меня, в конце года высчитали за нее. Вот как было. Коли война на всю страну надела, мы не отлеживались. Ходили в рвани, вставляли поране. Ребятенки ходят по деревне синюшные от голода. Матери им молоко ложкой делили. На корове, бывалочи, пашешь, на корове боронишь. Подсядешь к ней молочко забрать, глянет на тебя – шилом уколёт. Была я заядлой колхозницей. Ни от какого труда не отрекалась. Все налоги, поставки, займы вносила. Война – тратчица известная. Все для бойцов отдавали, для фронта. Госпиталям шиповник, клюкву, чернику

вконец изношенным рукам. Пощечиной деревенскому вековечному труду звучат нынче слова – получает колхозную пенсию. Есть простой перевод обидных слов: мизерная пенсия. В чем повинен этот долго остающийся без папшпортным деревенский люд? Сколько я знал и знаю холеных, напыщенных пустоболтов, бумагомарак, номенклатурщиков, которые в услужили себе нормальные пенсии, в несколько раз посolidнее колхозных, до обидного малых денежных вознаграждений за многолетний потрудодеенный бой на полях и фермах. Похоже, что отеческая бюрократическая машина – видимо, первая стойкая модель вечного двигателя с самым минимальным коэффициентом полезного действия. Машина-машина снабжена прочными запасными частями: дыроколами, скоросшивателями, папками, скрепками, пишущими машинками. Плодится чудовищное количество директив, указаний, инструкций, сводок, отчетов. Бумагозасорители, чиновники всех мастей и рангов спокойно доживут до полных пенсионов. Они не будут стесняться своих рук, не доведенных до дефектов благодаря кабинетному теплу и плевой работенке по бумажной части.

Руки Матрены Олеговны – надземные самородки. За долгую жизнь они блистали трудом, теперь под налетом времени землисто-желты. На тыльной стороне кисти рук шелушатся, словно над трещинами-морщинами топорщатся потускнелые золотинки.

Христос и Троеручица в углу тихи и покорны. Они никогда не стеснялись удобно сложенных рук. Научились молча, безучастно выслушивать молитвы, скорби хозяйки. Издавна приучили крестьянку к терпению и смирению: терпи, Матрена, ты вечная заложница на горькой земле.

Старушка-вековушка тянет тонкую словесную нить сухим, однотонным голосом:

– Было это, паря, в великое говенье. Обметала куржак в

сенках – простыла. Тело в пост ослабелое, вот его и подстерег мороз. Лежу под тулупом – лихманка трясет. Крисанф спрашивает: «Сама одыбаешься или за врачихой на кошевке слетать?». Говорю: «Сама. Не впервой болезнь-трясуху с тела сваливать». Травными отварами оборота простуду. Еще покачивало от слабости, я к печке, к горшкам. Забодала ухватом чугун – поднять не могу. В глазах вместо одной три заслонки плывут. Думаю: сейчас кончусь. Села на пол, холодком от двери потянуло. Остудила лицо, отдышалась, опять за ухват. Посадила чугун в печь, слышу: коровенка базлает. И закрутилось домашнее колесо. Колдунник Крисанф кричит: «Кто за тебя трудодни выколачивать будет?». Бегу воевать трудодень. Не про нас, сталинских колхозников, сказано: лишь бы пень колотить да день проводить. Колхозный день тягучий, потнючий. Мы пни не колотили – выворачивали их на корчевке березовыми вагами, ладошки лопались. Пашню у тайги отбирали – не хотела давать. По третьему разу пахали поле, отбитое корчевкой, – корни лемехами выворачивали. За иной корнище зацепится плуг – понукай не понукай на лошадей, с места не стронутся. Вытаскиваешь из-за пояса топор, подсекаешь смолевый отвил.

Такая бычья работа скоро баб с т а р ю ч и м и делает. Мне сорока годков не было – груди на животе висели. На ногах жилы синие вспучились, тело костоломило. Нарым, сам, паря, знаешь, – край лешачий. Тут всякая с о с л а н ь живет, гнус подкармливает собою. В нашей полумертвой деревне охочих до земли мужиков совсем не осталось. Сивушников много: им и дворняга – добрая собеседница.

Я в тесноте, в лихоте нажилась, притеснимой была. Не раз говорила Крисанфу: «Не вводи меня во грех кабалой, ненароком пристукнунибудь-чем», Пакостный кот поостережется день-два и за старое. Ему грамотешка от школы дана. В кладовщиках, в учетчиках ходил. Р е в и з ь ю магазину

– Что верно, то верно: гостей-захожан почти всех отвалил. На рюмочку корешей много. Заявился как-то один гостенек, я ему плесь чаю без сахара. Он: «Хозяин, что-то у тебя чай несладкий?». Я ему: «А ты как чаек мешал – по часовой стрелке или против? – «Кажись, против». – «По часовой надо, по часовой». Вот так с ними толкую. Иной муж христардничают весь день, у бабы на бутылку просит или питьевую заначку вымаливает. У меня – ни-ни. Я сам управляющий. Приказываю Мотре: не пискни! Ничего, что семейная жизнь с молодости покачнулась. Я и в наклонном виде стою, не падаю. Жужжат, жужжат в книгах – обоюд, любовь, согласие, нежность. Тьфу! Бабу держи в узде, не будет позор... подолу. Домострой знал, чему учить.

В деревне на меня тыкают: скупердай. Есть малость. Скупость – не глупость. Я мужик-зажиточник, каким и отец мой был. Тут много охотников совет про мою душу устраивать (косо поглядел на Матрену Олеговну, прилегшую на кровать). У всякого языка хозяин есть. Дело, значит, хозяйское – пусть разнослюват. Не скрываю: глаза у меня завидушные. Нажились при артели, горсть зерна боялись взять на току. Апосля из-под комбайнов машинами себе возили. Нынче, пока нового Ежова да нового Берию, как полканов, на народ не спустишь – порядка не жди. Это даже странно, что за полвека новые Берии не народились. Где-нибудь они есть, да притихли до срока. Выжидают, приглядываются, вынюхивают, чтобы в нужный момент нынешних врагов народа к стенке ставить, по тюрьмам гноить. Сыщутся расправщики, обязательно сыщутся... побрякает еще страна. Сейчас сесть есть на кого, ехать не на ком. Народ не слеп, видит, где главное хапужество идет, на каких столах пир горой, на каких оглодки доедаются.

Жулье-ворье не переводится. Люблю лихих молодцов по этой части. До чего ловкие шельмы попадают. У нас одно

ся бежать. Дряхлица проворно ухватила его за штаны костяной рукой, обдала ядовитым шепотом:

– Сыграй что-нибудь веселенькое – попляшем напоследок.

Короткий переход по тропинке, две-три минуты спрессовали годы от молодости до старости, превратили жизнь из ожидаемого счастья любви в жуткую предмогильную трагедию. Крисанфушка-ухажер собирался отшить страхолюдную жилищу словами: «Ты чего, бабка, чего пристала?» – язык онемел.

– Играй, дубина! – сирым голосищем взревела ведьма и поддала под зад тяжелым коленом...

Старик взметнул испуганные глаза. Перед ним стояла Матрена Олеговна, стыдила:

– Увалень! До обеда собрался спать? Тащи дрова. Трясу его, трясу – ни в зуб ногой.

– Спасибо, что разбудила. Такой красавицей явилась ты во сне – слезы от умиления текли.

Лицо э т о й Матрены от лица т о й отличалось так разительно, что с э т о й, еще сравнительно молодой Мотрей, старик готов был идти на край света.

После длительных запойных дней на старика нападала дичайшая тоска. Весь давно обесцвеченный мир умещался в гудящей голове. Становилась на ребро жизнь-копейка, крутилась волчком. Подступала выворачивающая душу тошнота существования. В мозгах, расплавленных самогонкой, гудел прилипчивый мотив песни «Горе горькое по свету шлялось...». Напрочь расстроенный сон тлетворнее всего действовал на винокура. В тишине бесконечной ночи выревало желание самоустраниться из проклятой жизни. Чего проще подняться с постели, перекрестить спящую Мотрю, снять со стены ружье, зайти в хлев да и жахнуть в сердце. Крисанф представил развороченную выстрелом яму в груди, стиснул

лин, из тайги и от рек. Фронты растянулись на громадное расстояние.

Командиры говорили: слева и справа от нас такие-то армии. Сила против врага выставлена немалая. Должны мы выстоять, фашистов сокрушить, Москве победу принести. Самохвальство фюрера нас всех возмущало и злило. Чего захотел гад – устроить парад фашистский перед Кремлем. Кто потерпит такое надругательство?! Даже Ганя Бивин на привале промеж ног ладошкой похлопал: вот, мол, вам, фрицы поганые!

Над нашими позициями немецкие самолеты сбрасывали листовки. Бумажки уверяли: нет больше у русских столицы. Скоро на ее месте море будет. Пучина проглотит все, что звалось и величалось Москвой. Листовки нас не расслабляли. Они оказывали обратное действие. Росла ненависть к захватчикам. Крепло чувство мести.

Ганя от меня ни на шаг. Обхаживает, как девушку – неудобно даже. Схватит мой котелок, бежит к полевой кухне за кашей. Свернет самокрутки, одну мне подает и огоньком поделится. Думаю: ну вот, и дружком обзавелся. На войне первейшее дело – сдружиться. Война ведь на всех нас вихрем налетела. Кого от плуга оторвала, кого от станка токарного. Приехали мы, слились в роты, батальоны, армии. Мужики с Дона своих донских отыскивают. Сибиряк сибиряку рад. Осетин – осетину. Ну и нас с Ганей по крестьянской закваске друг к другу потянуло. Быстро сроднились. Тоже старался услужить парню. Его бритву опасную на своем ремне правил. Сапоги починил ему. Из дома я прихватил с собой шило, гвоздики, моток дратвы. Груз для солдата не велик, но важен. Война – не мать родна, сам за собой пригляд води. Ниточку, иголочку имей да молчать умей, приказ командира внимательно слушай...

зубы. Нет, лучше капроновую веревочку на шею. Конец удавки привязать к спинке кровати, гладкая петелька под весом головы сама затянется... покойно... хорошо. Прямо в постели все кончится.

Выпивает несколько порошков снотворного лекарства. Вскоре голову обволакивает теплым туманом. Сон и явь приходят в равновесие. Они колеблются, не могут перетянуть друг друга. Плывут перед глазами оранжево-красные круги.

«Жизни уже нет, – одними губами внушает себе старик, – она куда-то свернула с раздорожицы, ушла насовсем».

Ночь длиннее дороги до звезд. За окнами метелит. Взвойный февральский ветер не волюнит, подливает тоски и отчаянья. Есть хороший обух, которым можно оглушить голову – самогонка, но страдалец пока воздерживается от удара. За ним последует второй, третий... опять мерзкий запой, опять закрутится хорошо смазанное тележное колесо. Хочется выйти из рабства вина хоть на неделю-другую, пожить с чистой, свежей головой, наладить сон. Но и сон тоже не в радость. Станут лезть в башку удавы, бесы, страшилища. Кошмарные сновидения особенно настырны после затяжных возлияний, словно винные пары обретают в голове различные уродливые формы и отыгрываются на жертве.

Запнешь – наступит пора беспамятства. Будет ходить лунатично по избе, натекаться на стены, биться головой о косяки, рыдать и материться. Случалось: одевался, брал двустволку и шел на охрану несуществующего магазина. От него осталась развалина, сломанные ящики, бочки да битое стекло вокруг. Не раз замерзал сонный, отмораживая пальцы рук и ног. Чуткая сердцем Матрена Олеговна спохватывалась, запрягала лошадь, вызволяла бедолагу из лап мороза.

«Жизни уже нет, – шепчет страдающий бессонницей Крисанф. – Деньги – прах. Убежище – прах... Все прах прахом...».

Наступила ранняя капризная весна. За веселыми оттепелями делала короткие набегі недалеко ушедшая зима. Снова мороз гранитил дороги, доводил до испуга избыные венцы. Солнце возвращало земле задолженность, осыпало золотом света. Блеклые ранее небеса напивались синевой. Напивался синевой лед на реке. В заберегах вовсю пошумлила обрадованная вода.

По оврагу торной дорогой неся ручей. В вымоинах бурлили прыткие водопадики, подбрасывая брызги и взбитую пену. Вербняк у воды успел осветиться серебром раскрытых почек. Весело заогнился кожицей краснопрутик: его молодые жизнестойкие побеги торчали пучками из скудной суглинистой земли.

На задернованные поля Дектяревки, влекомые инстинктом весны и жизни, слетались стаи гвалтливых галок. Бежали с прискоком по тихим, скованным просторам омертвелой пашни.

Стоя у икон, Матрена Олеговна истово молилась за покинувших деревню и мать апостолов. Живут в городе, дышат прогорклым воздухом, пьют кранную, захимиченную воду. Птиц и то тянет на родину. Сквозь окна слышен их радостный крик возвращения... Образумь, Троеручица, Петра и Павла, возверни хоть на лето домой.

– Не гнуси, старуха, без тебя тошно.

– Проклятый, старичина, порушил святую молитву. – Сдернута резинка с пальцев, сложенных для мольбы. Пальцы еле-еле состряпали фигу. – Вот тебе, дьявол, не завтрак! Готовь сам!

Словесные перестрелки ведутся каждый день. Ходят насупленные, молчат часами. Плотина молчания прорывается и...

Прошел степенный ледоход. Тупорылые леспромхозовские катера потянули к запаням плоты. В не вымершие пока приречные поселки самоходки повезли продукты первой не-

Убрав со стола, помыв посуду, Горислава обратилась к подруге:

– Расскажи, милая, как ты за конями да овцами ходила. Анисимыча интересует колхозная давнишность.

– Вспоминай не вспоминай – орден теперь не вырешут. Поколотилась возле артельной скотины. Конюшила, упряжила. Перед войной колхоз двадцать семь конематок имел. Стерегла лошадушек пуще глаза. Ездовых ругала, если по их вине на спинах лошадей наминки-натертости находила. О каждой травме председателю докладывала. Получила за год от всех конематок по жеребенку. Долгоногие, крепкие – любо смотреть. Доняла председателя – конюшню новую построили. Стойла просторные, светлые. Лошадушек до сей поры люблю. Приедет погостевать внучка, прошу: почитай «Конька-горбунка». Любушка читает звучно, слово на слово не лезет. Давно техника под коня подбиралась и подобралась: извели лошадушек. Так вот и живем: ни одной дуги на Авдотьевку не осталось, ни хомута – напяливать некому... Ладно. В сторону ушла от колхоза. Видит председатель мое рвение по лошадушкам, вызывает в контору, говорит: «Нюра, овцы плохой приплод дают. Становись на овечек, выправи дело». Что оставалось делать? Сказала: «Пойду на овец». Ослушка нигде не ценится. По ранешной мерке колхозный председатель – генерал в армии. У него еще словцо с языка не спорхнет, чуешь нутром, что приказать хочет. И пошла я до овец. Зима стояла – лютее не надо. Мороз трещит. Бревна трещат. Овечки жалобятся. Насчитала восемь охромелых: ревматизм донял. Принесла густого дегтя, натерла суставы, ноги. Несколько раз в день массаж ног больным овечкам делала. Если кого понос бьет, пою отваром шиповника и черемуховой коры. В овчарне холодно. Подойду к шерстистой овечке, запущу пальцы в завитушки. Погрею руки, снова лечу.

При любой работе мы с Гориславой сроду к а р а у л не

головами. Залетные дикие пчелы ползают по цветам с лентой. Часто оступаются на согнутых, мохнатеньких ножках. У дуплистого, дряхлого осокоя стоят на погнутом колесе ржавые конные грабли. Высокий пырей, перемешанный с кровохлебкой, почти скрывает брошенную допотопную технику. Несколько стеблей пырея проникли сквозь дырчатое сидение граблей.

Авдотьевские пенсионеры стригут литовками околобережные лужки. Травы не лепечут под солнцем: нарымское лето быстро выводит их из младенчества. Ветер обучает сибирскому говору. Налетят резкие порывы ветра, разбормочется осока возле прелого остожья, потом разом поникнет, словно впадет в забытие. И снова разморенная тишина. Не поймешь – она ли звенит или комарье передразнивает застойную тишь.

Течет Васюган, прислушивается на ходу к берегам, к птичьим тараторливым посиделкам. Выгонит из кустов кусучая мелкота зайчонка, сядут отдохнуть на песке чайки – все интересно воде при ее однообразном движении. Выползла из-под валежины гадюка утолить жажду. Большекрылый мартын выхватил из мелководья рыбешку, заплывшую погреться в парной воде. По илистым отлогостям голенастые кулички пишут лапками недолгие письма. Пройдет самоходка, напустит на берега волны, смоем птичьи отметины. Или явится предсказываемый Маврой дождь, сотрет куличьи автографы, перемешает с песком и илом.

Васюгану любо от воли воды и воли трав. От самого верховья до радостной встречи с Обью травы шествуют за водой по крутым и пологим берегам, раскатываются по светлым луговинам: над ними трепещет, рассеивается марево. Упругие струи текучего теплого воздуха выносят к поднебесью зорких коршунов. У каждого безмерные владения – обиталища луговых мышей, зайчих с пушистыми длинноухими выводками,

– Что – зачем?

– Зачем зорить личные хозяйства?

– Зо-рить?! Так понимаешь установку свыше?! Опомнись, бригадир. Настроеньице твоё мне не по духу.

– Мне подобные установки не по нутру: мужиков по рукам долбанем. «Сани да дровни – те же ровни», – говорил мой дед. Сегодняшний колхозник – не ровня кулаку. Я за личной скотиной хожу не в ущерб общественной. И тебя ведь не назначаю сено косить. Сам до белых мух пластаюсь.

– Вот именно – до белых. Костыми скоро ляжете поперек личных дворов. В клуб на лекцию никого не дозовешься. Под расписку приходится в очаг культуры загонять.

– Плохо греет очаг, раз на его огонек никто не идет. Да и лекции какие у нас читают? После третьей фразы в сон клонит. Наговорят семь верст до небес и все лесом, а лесок этот давно под пилу ушел.

Парторг грузно поднялся с кресла, стукнул тяжелой ладонью по столу.

– Мы, Терентий Кузьмич, на полпути к коммунизму не остановимся: нынешнее поколение при ём будет жить. Это тебе не баран чихал. Едино-началие было и будет. Единоличники отомрут, в осадок обществу выпадут. Тут мутить воду не надо! Я от тебя не баламутства жду – поддержки. Ну, походит мужик немного напуганный, растерянный да и сдаст лишнюю скотину. Куда ему деваться – мужику нашему: с установкой не поспоришь. После мужик спасибо скажет. Благодарствую, мол, избавили от лишних хлопот. Сам бы не догадался домашнюю скотобазу сократить. Сдашь одну корову?

– Обе дам, – с ехидцей выпалил Терентий Кузьмич. – Потом буду по деревне с бидончиком бегать. В магазине ведь нет молока.

– Будет. И мясо будет. И яйца.

Яшка не знал предела буйству и упрямству ни в бычьих баталиях, ни в ухажерстве. Многие бычки-раскормыши ходили в деревне со следами его дьявольских рогов. Напрасно мальчонок на берегу выкрикивал звонко: «На колбасу! На колбасу!». Шалун минует мясокомбинат. Он предназначен одному приобскому совхозу для улучшения племенного дела.

Зимой темнота ночи надвигается на Васюганье быстроходом. Вот квелое остывающее солнце отрешилось от земли, скрылось в щупальцах далеких островерхих елей. Темнота спешно прибирает под свое покровительство все, недавно принадлежащее свету дня. Полчаса назад можно было разглядеть на осинах погрызы лосей, увидеть на березах несколько стойких листьев, не поддавшихся ни одному осеннему ветру. Вскоре перед взором зачернеет сплошной неразличимый ствольник.

Белая ночь надолго затаивала в себе слабое люминесцентное свечение. Новые сутки успели перейти незримую границу Времени. Теперь в их владении была земля. Им принадлежало и небо с его открытыми и неоткрытыми мирами, куда не попасть и за миллиарды световых лет. Земная природа переживала короткую световую ночь, ее не волновало никакое зазвездье.

В отведенные часы белая ночь оборачивается ночью черной, но ненадолго. Яшка не спал. Его злило упрямство Красотки. Бугай взреывал, шпынял рогами коров, молодняк, неокрепших соперников. Дважды пробовал продавить башкой верхнюю горбылину загородки. Она пружинила, толкала назад. Чесался изъеденный гнусом лоб. Шалун так им крутил и терся о бортовую стойку, что оставлял на сосновом столбике завитую в колечки черную шерсть. Где знакомая стайка? Где хозяйское ведро с теплым пойлом, в котором непременно плавали размокшие хлебные корки? Хлеб насущный Яшка

воздуху. Заметив спешащих навстречу хозяек, Яшка и Красотка побежали к ним. Корова хромала, но не отставала от Шалуна. С грузного, готового лопнуть вымени, срывались в пыль крупные капли молока.

Одичалый Яшка крутил башкой, не переставая базлатъ. Ньюша побоялась подходить к нему близко. Горислава крепко обняла смиренницу за шею, со слезами запричитала:

– Д-да, мил-лая ты моя! Д-да, хор-рошая ты моя!

Вестъ, что производитель с Красоткой каким-то чудом вернулись, мигом разнеслась по деревне. Стали гадать: не затонула ли баржа? Не поднял ли Яшка бунт на скотовознице? Колхозники с часу на час ждали возвращения своих бычков и коровенок. Ходили бабоньки, стонали: а если какую животину медведь задрал? Или тряси́на слопала?

– Как же быть теперь? – спрашивала мужа Горислава. – Квитанция на руках и кормилица дома?

– Ну и что? Пусть теперь у приемщика башка пухнет. Сдавали целую, невредимую корову, пришла инвалидка. Может, нога сломана?

– Щупала. Вроде целая. Шутка ли – через буреломник, чащобник тащились. Болота кругом, топи.

– Язви их, эти заготконторы! Принять и довести путем не могут. Три дня недоеной была. Молоко самосбросом лилось.

Красотку заперли в стайку. Горислава бегом за подойником. Долго доила беглянку. Смазала йодом все раны, натуго перебинтовала на сгибе больную ногу.

Явилась Ньюша, всплеснула руками:

– Шалун-то наш со стадом удул. Вот ухажер неотлучный. Дала ему пойло, буханку хлеба искрошила. Выжрал и тѣку.

– Си-лен! Моя красавица дрожит вся. Не заболела бы. А клещей нацепляла: раздутые, противные. Тереша их щипцами давил, отрывал.

Картошка по кулаку. Лесопильня тес, брус, плахи давала. И горбыль не пропадал. У ранешних хозяев будто по три глаза было: все узреют, ничего без призора не оставят. Не скрою – не сразу мы с колхозом оброднились. И новая рубашка к телу притирается. А тут на тебе: артельный труд. Бедняк в кулак свищет, а кулак бедняка ищет, охмутать хочет, в работники забрать. Время прошло: задули кулака, как свечку. Не сразу погас.

Была в колхозе Доротея – славная артельщица. Как и Нюша – безотказница в трудах. Доротея из семьи откольников. Попов не признавали – старцев слушались. Доротея молчать научилась раньше, чем говорить. Съест артельную чашку супа или каши, к общему котлу не подойдет, добавки не попросит. По глазам вижу – голодная. Слюну сквозь горло пропихивает, но в сторону артельного котла даже не посмотрит. Судачили о ней: гордячка, норов кержачий показывает. Нет. Дело в другом: жизнь среди прочих премудростей научила главной заповеди – терпению. Наука – доука, но кого надо доймает. Открыла тогда мне у проруби Нюша глаза: терпи. В беде петь научись. При радости песня сама из горла выкатится.

В деревне нашей – Авдотьевке – прибылых людей жило мало. Приедет кто на наши пепелистые подзолы, поживет годок-другой и понужнет отсюда искать земли пожирнее. Но и чернозему пот нужен. В Нарыме не каждый окорениться может. Эта земля не всякому в руки дастся...

– Не притомила ли тебя, Анисимыч, восминками своими?

– Век бы слушал такие восминки.

– ...Вот и выходит по моему рассказу: если жить, то тужить приходится. Васюган наш по самое верховье деревушками был обставлен. В прошлый ледоплав на сизой льдине проплыла мимо Авдотьевки гнилая гробовина. Из бокового

их удовольствие чешу. Временами страх нападать стал. Вдруг комиссия, обман вскроется. Ведь посадят. Насела на председателя: вноси в списки всех рожденных. Руками замахал: дура набитая! Дальше – больше... Убрал меня со свиней. На группу коров поставил. В свиарнике через месяц падеж ахнул. И свиньям подход людской нужен. И овечкам. И коровкам. Они меня в упор знали, любили.

Вокруг кладбища густо разросся иван-чай. Стройный, узкоголовый кипрейник навис над землей фиолетовой дымкой соцветий. Это был тоже замечательный цветник, и я невольно залюбовался им.

Горислава перехватила мой восхищенный взгляд.

– Мавра землю вокруг кладбища разрыхлила да семян кипрея натрясла в копанину. Вот и выдурил ванька-чай. Теперь по осени семена ветром на могилки заносит. Нам пропалывать приходится мелузгу кипрейную. Ох и настырник ванька-чай! На корчевках, на вырубках, на пожарищах – первый щеголь. Пчёлкам – лакомство. Вон как пчелуют в цветах. Цветочки целуют. Красота земная! Мне тятя давно говорил: ищи мудроту в книгах. А книги-то с кого списаны? С людей да с природы. Вот и училась я по этой азбуке. Вон кофтенку семена череды, выдерну одно, остренькие рожки разглядываю. Проходила я мимо, боднула меня череда, семена на мне оставила. Я отошла в сторонку, стряхнула их – глядишь, и потомство новое черединое появится. Смотришь, иное семя в пушке, иное с крылышками. Каждое себя под ветер осенний подготовило... Посмотри вот, Анисимыч, мураши ползут на березу. Одна партия вверх. Другая вниз. Аккуратненько, без заторов едут. На ходу переговариваются. Вон слабенького на себе сильный мураш тащит. Как у людей. Тереша рассказывал: он бойца, дружка своего сапера Ганю, раненого тащил. Где ползом, где на загорбке. Спас. Медалью отмечен.

– Кого ошпарил? – не поняла мать.

– Шпарит, говорю, диссертацию... докторскую пишет. А жучок в науке, ох, жучок колорадский! В науке, мать, шулерства хватает.

– Ешь, сынок, ешь. Бледен шибко, будто олифой смазан.

– Наука мозги сушит. Такого суховейчику подпускает – извилины коробит.

– Ты, Эдька, в детстве прокудливый был. Грешники мы с отцом, думали: в тюрьгу загремишь. А ты, эвон, в профессора метишь.

– Мечу, мать, мечу. По головам чужим, но взойду на кафедру, как на трон.

– Зачем по головам? И у других, поди, мозги иссушены в труху. Хрупнут под ногой – беды не оберешься.

– Пусть! В науке на широкой столбовой дороге тоже многих столбняк хватает. Карабкаться надо, ползти до сияющих вершин.

Карабкался, полз. Наука сбросила его даже с малой вершины вместе с пустопорожней диссертацией. Злые коллеги бросали вослед: помереть тебе, Адик, лаборантом!

В очередной наезд сын напустился на отца:

– Зачем меня после контузии заделал? Неясную голову дал? Кто просил?

– В честь... победного... дня.

– По-о-обедного, – проворчал сын.

– Паши землю, не лезь в профессора.

– Мое дело.

– Мы с матерью столько денег на тебя ухлопали: двадцать машинок «Зингера» можно купить. А ты какую машину изобрел?

– Темнота ты, батя! – отмахивался сын, набивая трубку душистым табаком «Золотое руно». Красивая трубка с вырезанной из вереска головой Мефистофеля осталась со времен

Посмотрела далеко на заречье, не переставая сыпать зерно воробьям.

– Поздно начнем нынче сенокос. Хороши у нас луговые уголья. На травных наших еланиях росы выпадают медовые. Чистые-пречистые, будто кто жидким серебром травушку обрызгал. Подойду к капелюшечке, наклонюсь. Себя внутри ее вижу: космы седые, плат серый. Дивлюсь-дивлюсь: человек в пузырьке крошечном сидит. Рядом шмель капелючку пьет: нутро студит. И так в лугу дивно, так покойно... смертоньку отдалить хочется.

Шаг за шагом, день за днем прохожу нашими общими тропками и дорогами. В болотах бабушка знает наперечет все о к н а – трясинные места, ягодные палестинки. Прямехонько выведет на чернику, клюкву, морошку. Она не завязывает, как Мавра-отшельница, узелки на платках: узелки давно завязаны на цепкой памяти.

Мы условились сходить завтра за грибами, побродить по дальним вырубам, где велись лесозаготовки в войну. Может, не з а в т р а, уже сегодня? Наверно, прошла молчаливая пересменка суток и скоро ночь покатится под уклон. Спичек нет – посмотреть разбег стрелок на ручных часах. Да и зачем оно, время, здесь, на свежем сене?! Стропила стайки прочно удерживают дырявую крышу и весь продырявленный высоченный свод. Ты сам – частица времени, ее секунда, миг. В какую сторону отбросит нас маятник вечных часов? Тик-так, и нет столетия... тик-так, и погашен миллион лет. Рядом с обновлением природы идет обновление человечества... Взвиваются пылью дальние эпохи. Людям завещано век от века набираться мудрости, отдаляться от войн, прибаваться к берегу вечного мира. Но маяки мира слабо мерцают в далях неспокойного бытия. Для чего людям, жаждущим войны, наша планета с песнями соловьев и жужжанием шмелей? Пусть живут желающие жить. Наша земля – не кость, брошенная

– Ааа, сходится народ, сходится! – утробным диковатым голосом сообщал земле и небу немняемый старик, продолжая колотить гвоздодером в ходящее маятником било.

Нюша тихонько опустила руку на плечи звонаря.

– Звеньевой, сегодня праздник. Кончай звонить.

– Хлеб в суслонах преет...

– Вывезли хлеб. Просушили. Обмолотили.

– Разве?

– Позавчера закончили. Твое звено наградят. Усыпляющим обманом слов Нюша заставила старичка опустить кривую выдергу. Плачевно догуживало нетерзаемое больше било. Выдерга была из инструмента, приготовленного Саввой туда. Он не выпускал ее из руки.

– Пойдем, мой хороший, пойдем до избы.

– Двадцать четыре. Пять. Сорок один, – бубнил порченный фрицем Савва, семена по переулку за своей верной спутницей. Его босые грязные ноги глухо шлепали по мокрой от росы пыли. Мавра-отшельница так же внезапно скрылась в тумане со своей дворняжкой, как и появилась из пелены, словно была порождением этой плотной сырости, придавившей окоченелые дворы и прясла.

12

Встревоженные набатом петухи кричали часто и заполошно. Подошел к ярку, глянул вниз и не увидел Васюгана. В маскировочном одеянье тумана он крался меж берегов, выдавая себя открытыми чистинками воды. Со скорой кончиной деревни не оборвется великая жизнь реки. Текла мимо жизни, потечет мимо деревянного запустения. В мае вскроется. В ноябре скроется. У рек свое время, свои заглавные-периоды жизни: ледоход, половодье, шуга, ледостав. Зима от берега до берега покрывает крепкую крышу без стропил. Весеннее тепло

снесет ее напрочь, пустит насмарку долгий труд морозов. И год за годом будет испытывать река попеременно заточение и свободу. Переживать гнет льда и снега, волю-вольную долгожданных разливов, терпеливо снося земную привычную участь. От весны до зимы. От зимы до весны.

Солнце принялось расправляться с туманом по-свойски. Простреленный лучами, он клубился, редел, открывая береговое тальниковье, белые створные знаки и растянутую вдоль реки избитой подковой захиревшую деревушку.

В ушах продолжало гудеть било. Стоял перед глазами всклооченный Савва с гвоздодером, колотил наотмашь в подвешенную сталь. Над головой почернелая доска-лозунг с обрубком восклицательного знака. Какой призыв венчал он? К чему призывал?

В глубокой задумчивости шагал по двору Гориславы. У крыльца едва не наступил на гадюку. Она вскинула головку, зашипела и юркнула в тротуарную щель.

Рассказал Гориславе и Тереше об утреннем набате: он разрушил их сон. Старушка всплеснула руками, хлопнула по бедрам:

– Вот горе Ньюше, вот горе. Да и Савве тоже. Одно утешение: тихой, не буйничает. Раньше у конторы гремок висел. Кликал на сходки артельные, на лекции. По-мирному в гремок с паузами стучали. Если пожар или чья корова в болото забредет, в тину вляпается – колотили без передыху.

Тереша собрался идти на озеро проверять сети, поставленные на карасей. Я пошел с ним.

Заря играла на звонкой золотой арфе. Было истинным наслаждением видеть и слышать ее. Все горестное, ничтожное, суетное испепелялось вместе с исчезающим туманом. Солнце не хотело примирять прошлое с настоящим, отсекало его. Оно занималось созданием нового дня. Веселыми волнами накачивался птичий гомон. Неуступчивые кукушки усердно пере-

но проговорил фронтовик, держа за жабры трепыхающегося карася. – В каком городе дадут мне вместе с жилплощадью такое красивое озеро? А луга? А река? А бор?.. В человеке все затаенно, в природе рай не затаенный. Человек может чистую правду грязной ложью окутать. У природы непогрешимый всевышний – Солнце... Если бы можно было смерти откупную дать. Нет. Несговорчивая злыдня ничего не возьмет, кроме жизни. Охота пожить еще, свой рай в себе отыскать...

Сияло, огнилось солнце и озеро. Из глубины небесной легкие облака уходили в глубину озерную. Пребывали там бугристыми подводными рифами.

Обратно шагали тише. В моем рюкзаке лежал приятный, оттягивающий плечи груз. Я думал: какой рай отыскивает в себе Терентий Найденков? Прошедший через ад войны, через многолетнее чистилище жизни, разве он не вывел свою душу на тихий простор умиротворения? Живущий в незатаенном раю природы, он исподволь доискивался до чего-то в себе и не находил искомое *ч т о – т о*. Может, книги разбудили душу, да и не могли больше усыпить ее?

Непогрешимое солнце обрушивало на нас всю ласку и силу напористых лучей. День разгорался ясным, жарким огнем. Весь незатаенный рай природы сейчас был всецело наш. Густые кустарники, широкие разливы осоки, дальняя разнотравная полоса леса у небесно-земной кромки. По-прежнему знобило от легкого ветра редкий осинник на сухой гривке. По-прежнему коршун кружил неторопко над еланью, подстерегая земную жертву. Издалека темный авдотьевский мирок не казался унылым. Были неразличимы пока избы-развалюхи, наклоненные прясла, разрушенные печи, кривые ворота. Была просто деревянная *м а с с а*, не расчлененная на амбарушки, баньки, скотные дворы, палисадники. То, что звалось когда-то деревней, походило сейчас на грязный мазок природы. Провела черной краской по зелени и голубизне, да

– Нет, сынок, нету. У вас в поселке ларьки, у нас хорьки развелись. С дрожжами туго, тесто поставить не на чем.

– Привез вам дрожжей, застряпайтесь... Значит, мать родная стала по-сухому сына встречать? Н-ну, спасибо... Батя, Победа ведь недавно прошла – неужто за каждую медаль по граненому стаканчику не вмазал?

– Мне болезнь недавно вмазала. Еле оклемался.

Водитель, выключив дизель, чутко следил за разговором и теребил огненный чуб. В рыжине его курчавых волос играло солнце, будто парень начал постепенно гореть с головы и вот-вот распылится весь бойким костром,

– Ньюша, а у тебя чё есть? – Васька таранил жгучим насущным вопросом стену молчания, пробивая нужную брешь.

– Ты с низовья прешься, нам бы привезти должен.

Савва долго и тупо смотрел на гусеницы тягача, шевелил синеватыми, обескровленными губами. Внезапно он со всего размаха ткнул посохом в бок вездехода и, дико вскрикивая: танки! танки! – понесся наутек по хилой траве.

– Ну вот, – заворчала Ньюша, – навели ужас на человека... Со вчерашнего дня заговариваться стал. Плыви, Вася, дальше. Без твоего мамонта поднимем огороды.

Ньюша поплелась за обезумевшим старичком.

– Эх! – махнул вослед рукой Васька, – какое тягло доставили, а ты, кандыба, антимонию разводишь... Егор, врубай скорость и дуй за мной. Деревня заснула, разбудить ее надо.

Тягач умчался к школе. На рваной колее суетились скворцы, выискивая раздавленных дождевых червей.

Веселый пыл скоренько слетел с Василия. Когда я подошел к школе, он ворчал, рассматривая вытащенный из физкультурного зала ржавый плуг. Увидев меня, притворно улыбнулся, пнул сапогом в предплужник, произнес речитативом;

– Летела лягушка, упала в болото. Какая зарплата – такая работа.

парней, на старой березе громко заговорила кукушка. Рассыпая звонкие, отчетливые такты, торопилась воспользоваться возникшей тишиной, боясь, что скоро ее оборвет незнакомая бескрылая тварь, угодившая в яму.

К нам подошел Тереша, широко покачал головой.

– Угроздило же вляпаться в картофельную ямину. Могли в подпол залететь. Оттуда трудненько выбраться.

– И отсюда нелегко, – подытожил водитель. – Ничего, нас много мужиков. Может, вагами выправим крен. Зад опустить надо, тогда гусеницы помогут.

– Ну, вот что, – властно произнес Терентий, – айда к столу. Баранина вам силов прибавит. Зовите хлопцев.

Нюша помогала бабушке Гориславе накрывать стол. Выросли горки картофельных пирогов. Потянуло терпким запахом черемши. На широком противне исходили ароматным парком большие куски вареной баранины.

В избу вплыла царственная особа – фляга. Ее поддерживали за ручки два улыбчивых речника. Шагающий слева был выше ростом, кадыкастый, крупноголовый. На тыльной стороне ладони выколот крупный крест с загибистым месяцем: такие кресты возвышаются над куполами мусульманских мечетей. Василий отрекомендовал родителям парня:

– Знакомьтесь: лауреат всесоюзного розыска Рувим Вангулов.

Длинный гоготнул, ткнул пальцем в брюхо напарника, сопровождающего флягу;

– А это речной волк, знающий в красных шапочках толк. Волк был коренастый, поджарый, с широким масляным лицом.

В нем улыбалось все – от рябоватых ушей до неровных выщербленных зубов.

Нюша сходила за Маврой-отшельницей. Та сперва отнекивалась, но узнав, что среди приезжих Рувим, скоренько

над ней небо, не омраченное жизнью солнце. Величава и прекрасна нарымская природа, дорог мне тонюсенький росчерк реки в ней. Дороги мне старики Найденовы, поклоняющиеся солнцу. Для них великий престол все: луга, притушеванные туманом, огород, где кучерявится картошка, муравчатая тропа, ведущая к старому кладбищу, густое разнолесье вдалеке в веселом ливне напористых лучей.

Бредут сами по себе облака, бредет сама по себе за деревушку коровенка тети Нюши. Наестся сочной травы, напьется васюганской водицы – прибредет обратно: вымя будет походить на тугой бурдюк.

Горислава говорит с солнцем не шепотом. Если оно прячется за плотными тучами, бабушка ходит вялой, хмурой. Блеснут лучи, окропят светом землю – бодрее духом, поднимает голову, благоговейно крестится.

– Ну вот и явилось... и славненько... и не покидай нас. Да святится имя твое, Солнушко! Да не придут больше на землю во веки веков войны мерзкие!

2

Тереша принес полведра золотых слитков: караси крупные, хватающие жабрами воздух. Замечал: нажарит хозяйка жировых ельцов, икряных карасей, ставит сковородку так, чтобы рыбы головы были повернуты к окну. За ним течет, петляет меж лесов, болот степенный Васюган. Славушка объясняет так:

– Пусть на воду рыбка глядит, еще иматься будет.

Терентий Кузьмич – старик крутолобый, широкоскулый. Прямо и сух, как столб в прясле. Глаза цвета осинового коры. Маленькие зрачки походят на торцы карандашных стержней. Глаза сухие – кружочки графитовые. Выбьет слезу резкий ветер – зрачки становятся агатовыми, ярко блестят.

бил тереть. Помню, приговорка у него была: земля советская, власть соловецкая.

– Терешенька, – вступает в разговор жена, – да кто ныне за веру терзает? Молись хоть ведру – все к добру. Внук говорил: пусть лоб от мольбы треснет – никто никого пальцем не тронет. Кто староверцев волнует? Никто. Бурчат над книгами толстыми, суют два пальца в лоб и каждый по себе поп.

В форточку, обтянутую марлей, дышит сухим теплом июль. Ходики терпеливо подсчитывают секунды идущего века. Остановись они вдруг, и тут же остановится время, замрет, как журавль на одной ноге.

Покойно, отрадно в тихом пристанище солнцепоклонников. Забываешь о существовании суточных городов, о многих друзьях, бесчетных заботах. Весь мир – чистая горница, неунывающие ходики и счастливая парочка за крепким самодельным столом.

Не понять кто главенствует в доме – Славушка или Тереша. Семейная власть разделена поровну. Разделили они поровну быстролетную жизнь, нелегкую ношу судьбы и славу великой победы. Фронтовик положил боевые награды на стол, многозначительно произнес:

– Лобовая часть медалей – моя. Тыльная – Славушки. Без тыла побед не бывает.

У войны дорог много. У Гориславы в тылу главной была дорога на ферму. Родина-мать звала на подвиг, и откликнулись все матери Родины на ее сильный зов. Уносясь чистой памятью к тем годам сплошных тревог и забот, бабушка говорит:

– В то время кабы четыре руки для бабы. И тех бы не хватило. В колхозе – дела да дела. А мы, как вязальные иглы, их петелька на петельку нанизывали, трудодни приращивали. Фриц на Москву наседали, у нас паники – ни-ни. Верили:

Потомственный рыбак и охотник трахомный остяк Тимоха Типсин тарашил воспаленные глаза и вопрошал возле магазина колхозников:

– Чаво разорались на мертвого человека – куль Сталина, куль Сталина?! У нас артельный начальник недавно четыре куля рыбы упер – ничего не было, а тут за один куль трясут... и кого трясут?!

Над Тимохой потешались, отсыпали на его грязную заскорузлую ладонь табачку на закрутку, напяливали на глаза измызганный картузишко. Дитя природы и стопки Типсин часто спал под перевернутым обласком. Зимой обитался с большой семьей в низкостенной хибаре, где по стенам болтались недовязанные сетенки, висели петли на зайцев, иглицы и дратва.

Из далеких матерых болот гладко катилась темноплесая речка-кружилиха. Вослед за тихим ледоплавом проносились мирные бревна, приколдовывая людей на крутом оползневом берегу. Из дали небес подступали матовые ночи, укорачивая жизнь звезд и темноты.

Пасмурным днем на деревянной моторной лодке приехал в Дектяревку сутулый коротконогий человек, отыскал избу Крисанфа. Кобель на дворе встретил его злобным, захлебистым лаем. Выглянув в окно, Игольчиков увидел давнего знакомого и вздрогнул. Заторопился на улицу, утихонил пса, распахнул калитку. Гость снял шапку, обнажив гладкую, бугристую лысину. Улыбка льстивая, заискивающая.

– Узнаете меня, корогой Крисанф Парфеныч?

Хозяин удивленно всплеснул руками, тоже расплылся в улыбке.

– Сколько лет, сколько зим, Илья Абрамыч? Какими ветрами в наше захолустье?

– Дома кто?

– Жена. Ребятишки за черемшой удрали.

Дектяревский магазин смешанных товаров стоял неподалеку от оврага, туда сваливали поломанные ящики, бочки, всякий хлам. Охранник вслушивался в тихое журчание ручья на дне оврага, с трудом борясь с подступающей дремотой. Немо и тупо глядел на него массивный амбарный замок с магазинной двери. По ней, словно санный подрез, тянулась от косяка стальная ржавая полоса. Разгоняя сон, сторож ходил вокруг магазина, видя через стены все содержимое полок. Вот здесь, с южной овражной стороны, стоят ящики с вином... неплохо бы сейчас принять чуть-чуть, взбодрить кровь, отпугнуть тягостные думы. Приехал, нагнал их давний знакомец, черт бы его побрал.

За спиной ружье, пусть однопатронное, но все же защита. Плохо, что оставляет на ночь Мотрю с детьми, избу без себя. Часто поглядывал Игольчиков на край деревни, где его личная поскотина, двор. Все мерещилось – засветлела огнем та сторона. Унималась пляска воображаемого огня. Все было вокруг тихо, пристойно. Шла своим ходом белая нарымская ночь. Из оврага наползал холодок, долетали запахи прели и гниения. Закрытые массивные ставнями окна магазина, широкое крыльцо, ящик для сидения, пустота разверстого оврага – все наводило тоску. И раньше мужик не мог объяснить смысл ползущей жизни, теперь она вообще обернулась сплошным запутанным клубком. Умерла мать. Сгинул в неизвестности отец. Кому излить сомнения, обиды, тревоги? Они давят и давят грузом деревенской бытейщины. Значит, так уж устроен этот пакостный мир: кому-то отпускает без меры счастья, кого-то гнобит и сечет бедами.

Ночные наваждения, ожидание каких-то подвохов судьбы мешали видеть простой мир жизни, наслаждаться малыми радостями, улавливать новизну отпущенных природой мгновений. Районщики перестали захаживать в гости, норовят харчеваться у председателя. Неспроста знакомец из города не остался до утра, быстро улепетнул в низовье.

В последние годы дектяревцы все чаще видели молодых бородачей – освоителей Севера. Они козыряли названиями мудреных экспедиций, хохотали всезубым, лешачьим смехом. Закупали ящиками водку, пировали возле палаточного пристанища на крутояре. В верховье пошли баржи, груженные буровым оборудованием, трубами, цементом, балками.

В одну из теплых белых ночей к магазину нагрянула ватага недроразведчиков, пристала к сторожу с пьяной речью отпустить из магазина ящик водки. Парни трясли пачкой денег, несколько бумажек подожгли и прикурили сигареты, доказав, что монеты для них – тьфу... грязь... мошка. Напуганный сторож бабахнул из дробовика, всполошив многих дворняг. Весельчаки схватили сторожа, стали подбрасывать его вместе с ружьем. Из ствола еще вытекал струйкой вонючий дымок.

На выстрел прибежала продавщица, посмотрела из-за городьбы на кутерьму. Поняв: страшного ничего нет, пошла развалистой походкой к магазину. Уговорили дорогушу, милашку сходить за ключами. Пошла в сопровождении красивого парня-охранника. Дружков не удивило, не озаботило, что прошлялись ходоки дольше обычного. Освоители получили, что хотели, продавщица в подарок пятнадцать плиток шоколада. Парни прихватили ее на берег. Вскоре сторож услышал: к мужским глоткам присоединился женский осипший голос.

С той поры Крисанф стал брать на дежурство несколько бутылок водки, сбывал ночным гулякам по приличной цене. Продавщица упрекнула:

– Ты мой хлеб не жри. Сама на коммерцию напала, сама навар буду иметь.

Погоревал мужик: отбила от прибыли подлая баба.

Спит Дектяревка сном праведной нарымской деревни. Пугающая высь блестит отполированной зернью. Охранник боится присесть на ящик: ненароком задремлет, получит нож

Допита под борщ и сало четвертинка. В голове не всплыл туманец, не закрыл грузные думы. Придется добавить крепача. После него отрыгается противной гарью, зато скоро взвесеет душа, потянет на желанный сон.

4

Прошло комариное лето. Наступил сезон мошки и нудливых дождей. Луга и реку покрыли разливы холодных туманов. От усилий ветра с тальников осыпалась немощная листва. В природе чувствовалась настороженность перед недалекими заморозками. И они явились. Обсахарили тротуары, пожухлую картофельную ботву. В свой срок проснулся первый пушистый снег, заходя на посадку красивым, плавным летом.

После хлопотливого бабьего лета Матрена Олеговна занемогла. Лежала на кровати, терзаемая жаром. Грузнели на лбу капли пота, скатывались по вискам.

– Тебя что – малярийный комар укусил?

– Не ведаю, хозяин, не ведаю. У болот всяких леших хватает... К вечеру оклемаюсь.

Петр и Павел заботливо ухаживали за матерью: поили чаем, кормили вареньем из морошки. Вытирали полотенцем обильный пот.

Впервые Игольчиков уstraшилcя будущей картины жизни: его единоличная Мотря умирает, оставляет на руки детей. Он скорым шагом направился к постели, виновато всмотрелся в бледное лицо больной.

– Ты потерпи, потерпи. Сейчас я за фершалом сбегая. Укольчик тебе вольет.

– Не надо. Не терплю уколов, таблеток. Сама обыгаюсь. Ты лучше сходи в свинарник, управься за меня.

– Не беспокойся, напою-накормлю чушек. Я тебе сейчас бульончику сварю. Сокращу птичник на одного петушка.

– Сыпьте выговор, не полысею. Бумага все стерпит. Раз-
завили рты на даровое питьево.

Портнягин не сдавался:

– Ты плуг колхозный упер – провинка большая. Не вы-
говор – суд по тебе править надо. Откупайся лучше от греха
подальше.

– Мой плуг.

– Врешь, колхозный. Он занумерован.

– Нет на плуге никакого номера.

– Напильником сточил, ржавчиной затер. Шельма! Тебе
закон за позор личности сполна выдаст.

Багровело лицо председателя. Собирался оборвать бузо-
тера, остановить возникшую стихийно перебранку – побан-
вался лезть в пекло наперед бабки-инструктора. Яснолицый,
грудасный районщик с интересом слушал спорщиков. Вот
тебе и налицо обвинение: в колхозе процветают пьянство,
воровство, потворство. Задумался: да где теперь не процве-
тают подобные сорняки? Везде в хозяйствах развал, неразбе-
риха, опухшие с похмелья лица. При желании любого пре-
да можно лишать печати и права руководить. Но где новых,
честных, совестливых, трезвых взять? Почти каждый руко-
водитель сидит на крючке. Берут без оплаты через бухгалтерию
мясо, сено, комбикорма. Занижают поголовье скота. Нару-
шают финансовую дисциплину. Сплошь убытки, приписки,
очковтирательство, невыполнение плановых заданий, загулы
животноводов, механизаторов. Язвой расползается неверие в
слова райкомовцев. Всем осточертел дешевый, малопроизво-
дительный труд. Выходило так: люди трудились, убытки пло-
дились. И не предвиделось тем убыткам конца.

Инструктора удручало, обескураживало, что его словеса,
сказанные на собраниях, в беседах, не доходили до сердца на-
рода, разлетались мякиной, подхваченной ветром. Мужики
давно наслушались досыта велеречивых обещаний, посулов.

По ним выходило: до коммунизма остался один пеший переход. Дыр, проблем, необеспеченности было великое множество. Деревни кажились, хирели. Не могла их поставить на ноги самая вычурная лозунговая политика, ненаглядная агитация. Навалились крестьянским миром на кукурузу, ждали фурора. В отличие от картофельного кукурузного бунта в отечестве не произошло. За ее всесоюзное водворение на поля заплескивались бурные, многолетние аплодисменты: пустой энергии ладошек хватило бы настолько, чтобы перемолотить на зерно миллионы тонн кукурузных початков.

И на этой колхозной сходке инструктор упражнялся в вычурной словесности, нагоняющей сон на усталых крестьян. Анонимщик пожирал глазами выступающего: вот, вот он я... это мое письмо... и в другой раз услужу...

Председатель колхоза отделался устным выговором. Инструктор по низкой цене купил полпуда говяжьей мякоти и на грузо-пассажирском пароходике отбыл восвояси.

Безостановочно крутилось колесо времени.

В крутые рождественские морозы неподалеку от Дектяревки взрели бульдозеры и пнекорчеватели. За согрой кочевые дорожники расчищали зимник. Река омертвела до мая, поток грузов для недроразведчиков торопились пустить сухопутьем. Самые срочные доставлялись вертолетами, самолетами. Дороговизна воздушного моста пугала нефтеразведочные экспедиции.

Под гусеницами, бульдозерными ножами трещал сухойстойник, молодняк: расширялась старая лесовозная дорога, заросшая березняком, сосновой порослью. Бетонная земля выдерживала тяжелую технику. Отполированные траки хищно класцали над промерзшей твердью зимника.

Передвижные вагончики дорожников, установленные на трубчатых полозьях, по вечерам наполнялись гвалтом, смехом и песнями. Мастер просил дектяревскую продавщицу не

– Нут-ко, Мотря, воспой мне что-либо про любовь.

– Воспою сейчас дрыном по хребтине. После утопленника надо воду в речке или омуте распятем освятить, снова чистой сделать. После тебя умерца надо будет избу освящать.

– Ежели ты на темный свет раньше уберешься, тогда как?

– Может, ниспошлет боженька благодать – хоть годочек во вдовах похожу.

– Если я раньше отдам богу душу, ты, Мотря, обычай блюди. Честь по чести постель в курятник вынеси на три дня. Пусть петухи подушку, одеяла опоют. Да сорок ден хмельного в рот не бери. А то зарадуешься – гульбу с мужиками устроишь.

– Упьюсь на радостях.

– Опосля сороковин хоть залейся. Да стакан с водой на окно поставь. Шесть недель не трогай его. Хоть в отлете душа будет, но омыться прилечу.

– Ты уже вином до соплей омылся, зачем тебе вода?

Ухмылистый старик оскорлупил яйцо. Рот-луза скрыла белый шарик: на небритых щеках в с п у х л и волдыри, скоренько опали.

– Ну и хайло у тебя!

– Ась?!

– Из-за стола вылазь.

– Не торопи, Мотря. В загробье предложат водицы дождевой на выпивку да червей-полосатиков на закуску... Там про чарку навек забудешь... Долгие годы живем с тобой по частушке: «Здорово, здорово у ворот Егорова. А у наших у ворот все идет наоборот». Ша-а-лишь! И наши ворота крепки. И в избе все здорово. Разве мало я горбился на трудах, тыщи сколачивал?

– Молчи... ты-щи... Помнишь, Дорофей Васильков умер. Не нашлось пятаков, так ему на глаза полтинники положили. Ты монеты стащил втихаря.

Старый дворовый пес стал впадать в крепкую спячку, мог не услышать скрипа калитки, шагов. Хозяин держал глуховатого сторожа из жалости. Ел он теперь мало. Брошенный к конуре мосол не вызывал реакции: глядел на кость тупо, отрешенно. Даже не шевелил нозрями, не втягивал мясной дух. Воры, поджигатели, мстители могли подойти к избе спокойно, поэтому мучимый бессонницей Крисанф часто сам выполнял роль сторожевой собаки. Обостренным в ночи слухом улавливал скрипы, шорохи, стуки-бряки. Заряженная двустволка висела возле дверного косяка. Под лавкой, положив широкую щеку на пол, дремал топор. Для полной предосторожности Крисанф натягивал на ночь перед крыльцом, возле калитки капроновые жилки, связанные с подвешенными консервными банками, другими побрякушками. Опробовал насторожку, остался доволен: гайки, битое стекло в банках поднимали добрый трезвон. Даже пес задирает голову и выл по-волчьи на конек крыши. Сунься теперь непрошенный гость – загремит телефончик, глухого разбудит.

Выйдя однажды по большой нужде, задел нечаянно невидимую леску – всполошил банки и дворнягу. Шел к туалету, начертыхался. Ночью без топора Крисанф на двор не выходил. Поставит в нужнике, открывается и снова рука плотно сжимает топорище.

Мучили сны. Мстила явь. Вдруг среди ночи в сплошной темноте являлась дектярная фигура смолокура Гришаева. Что в грозно поднятой руке – различить трудно: пестик от ступки, серп или гирька от амбарных весов. Крисанф пытается отпугнуть видение размашистым крестом – не исчезает. До боли во впадинах закрывает глаза – угольный человек начинает шевелиться, приближаться к постели. Приходится невольно приподнимать веки, приостанавливать движение смолокура. Мученик отводит глаза вправо – грозная фигура перемещается туда. Влево – она успевает очутиться и тут. Ви-

– Не забыли тебя за давностью лет, – отчитывала Матрена Олеговна. – Вышло все же наружу шило сапожное. Сколько тебе говорила: доберутся-разберутся. Позорище! Тебя уже под домашний арест взяли: находишься, мол, на месте, при избе, при хлеве.

Подавленный старик окаменел, не дерзил. Первой мыслью было опуститься в подполицу, выпить для успокоения нервов. Вот оно... вылезло наружу. Подняли дело о смолокуре Гришаеве. Не зря сыновья зачистили в район, в область. Расшевелили гнездо, следователей науськали.

– Что же, Мотря, со мной будет?

– По заслугам получишь – вот что. Прожил жизнь – богу свечкой не был, зато черту кочергой стал.

Изнеможенная душа просила успокоения. Вышел во двор, закурил. Крепкие затяжки доводили окончность «козьей ножки» до малинового накала. Игольчиков ранее что-то слышал о судном дне, но не предполагал, что этот страшный срок настигнет его и где – в далекой, полузаброшенной деревне. Нарочно не выбирался на людные места, не мозолил глаза облеченным властью районщикам, писал анонимно... Добрались все же.

Вернулся в избу, открыл подполицу: пахнуло могильной сыростью. Сквозь трещины в бетоне сочилась вода, скапливалась на полу. Старик заметил, что куда-то исчезли ушлые крысы, поспешили покинуть трюм обреченного корабля. Вздул «летучую мышь», опустился в бункер. За дружную весну сосновый крепеж повело, местами выдавило подпорки. Образовалась новая большая трещина над топчаном. Часть стены накренилась, при смещении разорвала репродукцию: бурлаки остались по одну сторону, баржа по другую. Она плыла сама по себе, журчащая в щелях вода оживляла картину покинутой баржи. Прыгающие пятна света теснили злове-

щий мрак подземелья. Крисанф собирался пройти до конца всю штольню, осмотреть ее – побоялся. В любую минуту мог рухнуть многотонный потолок, похоронить заживо. Из-под ног выскочила тощая жаба, ударилась о крепежную стойку и перевернулась. Брезгливо отшвырнул ногой бородавчатую тварь, заторопился к выходу.

«Жизни уже нет, – толклась навязчивая мысль. – Судьба – прах, бетон – прах».

Сидя у ворот на скамейке Матрена Олеговна вязала носок. Близнецы-апостолы должны беречь ноги: на вязанину усердная мать пускала толстую шерстяную нитку. Бесшумные сияющие спицы проворно мелькали над теплым носком, словно ловили на отполированные кончики притягательные лучи, сливали их для тепла с белой пряжей. За вязанием думала: «К осени соберу посылку: сала, копченой домашней колбасы, по паре носков. Пусть порадуются детушки, вспомнят меня, деревню, дом родной... Петр и Павел вспомнят – мне икнется. Если смерть не поторопится сжить меня со света – на будущий год съезжу в город. Пусть головой, грудями помучаюсь от воздуха ихнего, зато сыночков посмотрю, с внучатами повожусь... Запомнят бабушку, тогда и в могилку легче сойти. Умещается жизнь-коротулечка от платья подвечного до савана. Не успеешь при рождении открыть глаза, закрывать вскоре навечно придется. Слава Богородице, жила не с сатаной в ладу – с людьми. На трудах руки износила, но душа в целостности-сохранности осталась. Перед кончиной вертеться, как змее на муравейнике, не придется...».

Пригрело старушку на солнцепеке, спицы носами клюют. Откуда-то гармоника подает голос... ромашковые венки по реке плывут... девичник... тятя больной кхывает...

Сбрасывает дрему, слышит надсадный кашель старика. Закурился, вином залился – перхотит горло. После телеграммы враз осунулся, столетним стал. Чужой, совсем чужой че-

У старика давно пропал аппетит, почти ничего не ел, поэтому быстро обессилел. От головокружения поплыли перед глазами искры, заходили золотистые кольца. Одни исчезали в надлобье, другие рождались следом и возносились к потибишам. Лег на топчан, вытянул вдоль туловища подрагивающие руки. Над лицом вялой ватагой тащились бурлаки, без того навевающие дикую, неизбывную скуку. Проговорил вяло: «Братики, у всех тяжела лямка жизни». Вспомнился недавний жуткий, доселе неразгаданный сон: уводит Крисанфушка-гармонист юную Матрену к черемушнику. На тропинке она оборачивается в дряхлую, морщинистую ведьму, пристает со странным обращением: «Сыграй что-нибудь веселенькое – попляшем напоследок».

Сделал попытку приподняться с лежанки – руки, ноги не повиновались. Хотел крикнуть, позвать жену – выдавил хриплый, надтреснутый звук. По телу прокатилась незнакомая ранее смирительная дрожь. Кто-то стал медленно отключать сознание. Бледные искры, расплывчатые круги вылетали теперь из глаз нехотя, но угасали стремительно.

С потолка свалилась бетонная глыба, прихлопнула «летучую мышь». Мрак в голове сливался с мраком сырого склепа. Трещали и падали крепежные стойки. Рушились стены. Со стороны лягушачьей канавы хлынула каскадом мутная вода. Бункер, расшатанный мерзлотой, лопался, не выдерживая тяжести литого потолка.

Вдруг резко подломились толстые ножки топчана, словно на него и на лежащего человека наехала тяжеленным днищем баржа со стены, навалились разом изнуренные бурлаки. На какую-то долю секунды похороненный под стеной Крисанф Игольчиков полуочнулся, расширил глаза, но не смог обороть зачатка вечной, долгожданной тьмы...

увозила на войну. Должны же вагонные колеса отстучать и победный марш.

Васюган течет медлительно и важно. Сознает, что и он причастен к победе над лютым врагом. Он был в тылу воинском труда. Кормил бойцов и трудармейцев рыбой. Перенес на своей несогбенной спине множество кубометров ценной древесины. Доставлял баржи с хлебом северных колхозов, с тюками меховой одежды для бойцов, с пучками лыж для лыжных батальонов сибиряков. Перевозил на палубах и в трюмах речных судов горы ружейной болванки для военных заводов, посылки для фронтовиков, бочки с рыбой и ягодой. Увозил на фронт здоровых мужчин. Вертал увечных. Доставлял страшные похоронки в плотных конвертах...Все было... все прошло... Васюган тоже стоически вынес весь путь от войны до победы, Васюган являлся для страны и фронта лишним орудийным стволом. Для затерянной в лесах и болотах Авдотьевки многими лошадиными силами, опорой и поддержкой в години тяжкого труда.

Молчим, глядим на плавную текучесть темной воды. Ярko и свежо блестит под солнцем зелень лугового заречья. В высокой синеве сбились с пути, заблудились в безмерных просторах недвижные облака. Июльская жара легко усыпила кусты и травы. Васюган умудрялся спать на ходу, подталкиваемый силой упрямого течения.

Палящее солнце вынудило забрести в мелководье двух крупных ворон. Они смешно приседали, погружали в воду головы. Резко встряхивали ими, обдавая себя крупными брызгами. Расправив крылья, распушив хвосты, с прискоком бежали по крепкому песчаному дну. После недолгого приятного купания выбрели на сухой песок, принялись чистить клювами перья. Взлетели, сели на корягу. Торопливо трясли хвостами-веерами. Искрилась под лучами мелкая водяная пыль.

искры из ладошек. Сгорела с вина. Смерть-сборщица таких скоренько скликает.

– Чего, кума, на пьющих ополчилась? Мы пьем не для того, чтобы напиться. Для того, чтобы не отвыкнуть. Возьми самотечное вино: крепкое, скусное, огоньком горит. Как-то раз парнишке Ване дали выпить после бани. И теперь ему не лень мыться в бане каждый день.

– Всю самостоятельность пропела?

– Что ты, солдат ветеранный. – Нюша с подмигом посмотрела на меня, облизала синеватые сморщенные губы. – Все мои песняки и частушки до белых мух не переслушаешь. В молодости нарыдалась, попела кручинушку... Тереша, разбуди гармошку.

– Золотые планки потрескались. Отголосила саратовская, в кладовку на пенсию отправил.

– Во жисть пошла – старичье на пенсии, музыка на пенсии. Деревня вместе с нами умирает.

Всматривался в сухое, рябоватое лицо Нюши, силился представить, какой она была в пору молодости. Всплыл в памяти рассказ Гориславы о том, как Нюша спасла ее, не дав утопиться в проруби. Беду учуяла, выследила с берега девчонку. Шла она не за водой, шла в воду. Устерегла сиротку, словами душу выправила.

Не первым снегом покрыта маленькая голова соседки. Седина улежалась, поблескивает инеем. Непослушные прядки иногда выбиваются из-за ушей. Нюша заученным движением пальцев укладывает прядки к вискам, придавливая ладошкой. Глаза у нее с зеленцой. Старушка часто смаргивает, трет переносье веснушчатым кулачком. По лицу вкривь и вкось въелись морщины. На подбородке, возле глазных впадин они крупнее, рельефнее. Выражение лица и глаз простое, наивно-детское.

– Та-щат, – поддакнул Тереша, закрывая серой круглой фишкой цифру на клеточке.

В лото играли часа полтора.

4

Летнее небо уносило на загорбке пышное солнце. На крыльцо избы успела упасть тень черемухи. Я присел на широкие трещиноватые доски, пропитанные солнечным теплом. От крыльца к калитке проложен тротуарчик. По бокам от него свешивался густой подорожник. Горислава называла его потропинником. Мне нравилось это слово. Сочные зеленые листья росли по дорожкам и тропинкам, лезли в широкие тротуарные щели, выбивались из-под дряхлой городьбы.

Дуновение ветерка принесло запах дикой конопли. Она в Авдотьевке беспризорничала везде: за пустыми стайками, баньками, откуда давно выветрился вениковый дух. Конопля мирно делила территорию с кустами бузины, покрытой плотными шапками мелкой красной ягоды, с чертополохом, бурьяном, непролазной крапивой, переросшей изгороди и человека.

Над конопляниками, зарослями крапивы, лебеды, лопухов, кустами бузины вскидывались в вольном росте черемухи и рябины. Давно авдотьевская пацанва обломала многие ветки, но стойкая черемуха успела выметать новые крепкие побеги.

Вышел за скрипучую, перекошенную калитку. Вдоль палисадника тянулся узкий кривой тротуар. Доски от земли успели наполовину сгнить, трещали, пружинисто прогибались. Во многих местах они были поломаны. Шагать по такому тротуару – мучение. Сошел на дорогу. Над сырой канавой густыми ярко-зелеными бородами свешивался плодливый

бывает. Его надо поставить много, с запасом. Случится бескормье, стыдно среди зимы просить корма на стороне: одолжите, выручите, не дайте погубить скотинушку. Выкручивались сами. Найденов не любил осечек ни в патронах, ни в труде. Пусть жилы в веревочку совьются, но план дай, да к нему еще прирасти хоть четвертую долю.

Страдует в сеностав найденовская бригада – рты настежь, зубами за воздух хватаются. Приращивают прокос за прокосом, за стогом стог. Поначалу денька три страда поломает тело. Потом ломоте – каюк. Перед покосом Найденов собран, сосредоточен, угрюмоват. Речей перед косарями не держал. Считал нужным перед наступлением сказать весомо:

– Давайте, братцы, на травах насмерть стоять! Тогда коровы живы будут.

Думал о колхозных коровах, о своих. Их было две у Найденовых. Тоже жоркие, тоже норовили мяконькое сенцо пожевать, а всякое колкое будылье мордой в сторону отпихивали. Красотка была удоистее Веснянки. Смирная, послушная. Ни разу не лягнула Гориславу, подойник не опрокинула. Отдает молочко, помыкивает тихонько. На утренней дойке полподойника молока успеет отдать, а струи еще тугие. Подныривая под пористую шапку пахучей пены, звонко, весело бренькают. Веснянка была капризнее. Без подношения хлебного ломтя с солью переступала ногами, вертелась. Коровье фордыбачинье не сердило – смешило хозяйку. Горислава подносила Веснянке ломоть и гладила капризулю по влажной пупырчатой подушке между широких ноздрей. Веснянка аппетитно жевала, косилась на хозяйку блестящими линзами глаз: не отломится ли еще хлебца? Горислава показывала пустые ладони, для пушей видимости терла одна о другую – угощение все, ни крошки на ладошке.

Веснянка давала молока литра на четыре меньше. Крутучая-вертучая, но Горислава за характер любила ее

коров, бычков, нетелей, подтелков. Обозленный пастух чаще обычного вливал бича уросливой скотинке.

Попытайся Красотка просунуть заостренный рог в щель и ударить снизу по тощему брюшку крючка, он бы беспомощно повис вдоль дверного растресканного косяка. Коровьего соображения не хватало. Лишняя животиная запальчиво дышала на крючок и тыкалась в дверь теплой мордой.

Горислава выдаивала сегодня свою любимицу неторопливо, сыпала нежные протяжные слова. Дважды принималась всхлипывать, но белые лучики, пускаемые упругим выменем, булькали в подойнике и заглушали всхлипы. Недавно нутро подойника было темным, его высветило вспененное молоко. Перед дойкой Горислава скормила коровам полкаравая самопечного хлеба. На сей раз Красотке выпала краюха крупнее. Терентий Кузьмич раненько накосил мягкой травы, положил в кормушку. Веснянка хотела первой захватить губами влажный от росы пучок. Хозяин увесистым шлепком по боку отогнал крутиху-вертиху от кормушки. Красотка считалась отрезанным ломтем. Пусть в последний разок насытится питательной авдотьевской травой. Катер с подцепной баржей должен прийти к полудню. Приказано: сдаточный скот держать при дворах и по сигналу катерной сирены гнать к берегу.

После утренней дойки пришла Ньюша. Грустная, накупленная. С колготней по хозяйству забыла умыться. Из крупного рогатого скота Ньюша сдавала корову и толстобочкого бодучего быка Яшку. Он носил кличку Шалун, ходил с вечно слюнявой разбойной мордой. Набрасывался на прохожих. Литой башкой ломал прясла, рушил поленницы, катал пустые бочки и ящики возле магазина. У него под ноздрями висело кольцо: смиреннее, уступчивее Яшка не стал. Встанет возле какой-нибудь избы у самой калитки, дико мычит, долбит передними копытами землю. Примутся отгонять – наскакивает,

– Где уж, – подтвердила Горислава, – хахаль показательный. Ньюша выглянула в окно. Сегодняшнему серому дню раскидистая черемуха в палисаднике прибавляла сумрака.

– На снег или град тянет. Надо помидоры закрыть.

– Может, распогодится?

– Сиверко орудует, Ветер-суровец. Летает по небу, зиму ищет.

Предсказание Ньюши сбылось. Вскоре под крутой уклон посыпались шумливые крупные капли дождя, отдуваемые резкими порывами бешеного ветра. Вперемежку с дождем летели белой картечью градины. Лопотливо заговорила за окном черемуха.

Ньюша раньше ушла закрывать помидоры и огурцы. Горислава делала это под летящим градом. Она спрятала голову под капюшон брезентового плаща. Слышала: ее осыпают сухими бобами.

Град крупнел. Горислава отошла от прикрытых грядок, торопливо зашагала по двору к крыльцу. Сияющие пули свистели возле лица. Куры с воителем-петухом отсиживались под опрокинутым старым обласком с трещиной по днищу. Беспрестанный обрушительный шум града заглушал их беспокойное квохтанье. В закрытой стайке Красотка ужевывала свежескошенную траву.

Горислава проворно поднялась по крыльцовым ступеням. Над головой покатым тесовый навес перехватывал град. Он, обессиленный, скатывался оттуда на тротуар, позимнему белый и ледяной. Женщина откинула капюшон, прислушалась к нарастающему шуму. Показалось: пискливо провыла далекая сирена. Что можно было услышать сквозь неостановимый градобой? Все тонуло в вязком белом омуте. Его непромеренная глубина начиналась от невидимых туч. Земля была дном, усыпанным расплюснутыми и округлыми градинами.

Найденова подмывало оперить ответ звучной рифмой. Придавил зубами застрявшее во рту словцо, как придавливает жернов зерно перед помолом. Промолчал, успокоился, буркнул:

– Вот наша корова. Готовность номер один.

– Упитанная – трап прогнет.

– За быка Яшку волнуйся. Под ним могут доски хряснуть.

Надо его первым провести для испытки сходней.

– Дельное предложение. За ним и коровы друженько зайдут.

– Давай пойду сдерну лозунг, – снова пристал бригадир. – Тебе за него райком шею намылит.

– Войну прошел – умишком не обзавелся. Ты чё вскинулся на лозунг? Думы твои с запашком. Гляди, Найденов, на партсобрании вопрос ребром поставлю. Легковесные мыслишки носишь в голове. Еще с довоенного времени должен был уяснить, что есть земля советская, есть и соловецкая...

Горислава трижды мигала мужу, махала рукой. Мол, не балаболё с начальством, не нарывайся на неприятность. Указательный палец Терентия Кузьмича автоматически сгибался полукругом, будто он давил на холодный винтовочный курок. Сейчас боевой палец, нечаянно порезанный на подушке жалом косы, зашевелился возле бедра. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Еще с войны таким способом Найденов успокаивал нервишки.

Указательный палец ходил ходуном и ходили ходуном под кепкой-восьмиклинкой невысказанные слова. Теснили голову, разбухали, как крупа в кипятке. Бригадир думал о партторге: ишь ты, приткий какой! Поставит он вопрос ребром. Да у твоих вопросов и ребер нет. Бескостные они, плоть не наполнены...

– Найденов! – дважды выкрикнул приемщик.

Первый раз Терентий не расслышал свою фамилию. Забыл о пальце, жмущем невидимый курок.

Горислава передала веревку мужу, стала подталкивать Красотку. Смиреница спокойно зашла по широкому трапу. Она и на бойню побредет так же неторопливо и меланхолично. На палубе Терентий снял с шеи Красотки веревку, повторил слова жены, сказанные на берегу:

– Вережка – домой, корова – долой. – Посмотрел пытливо на угрюмого шкипера, заискивающе попросил:

– Браток, не обижай мою коровенку.

Шкипер промолчал, пошамкал губами, смачно выплюнул окурок за борт.

– Ну-ну... и на том спасибо, – буркнул колхозный бригадир, сходя с баржи, поддерживая за руку жену.

Красотка подошла к горбыльной загородке, подняла голову и взревела длинным мычанием. Бык Яшка заторопился к сходам. Недавно колхозные весы точно зафиксировали его вес: восемьсот сорок килограммов. Живые центнеры сейчас торопливо переступали по песку тяжелыми копытами. Все почтительно уступали дорогу. Из-за мужичьих спин выпорхнул долговязый мальчонок, незаметно ткнул кулаком в бычий бок. Другой усмешливый парнишка пулял в Яшку репьями. Подпрыгивая на сыром песке, визгливо выкрикивал:

– На колбасу! На колбасу!

Мавра-отшельница положила ладонь на головенку крикуна: разом утих, подшмыгнул сопельку.

Сходни под Шалуном прогнулись, наполнились опасным скрипом. Поперечина, соединяющая толстые доски, лопнула возле шляпки гвоздя. Бык благополучно зашел на баржу, стал обнюхиваться с Красоткой.

Загрузка живого мяса подходила к концу, когда на берегу появился заспанный прыщеватый мужичок в отвислых хэбэшных штанах. Пиджак, сшитый из шинельного сукна,

сидел на нем малахаем. Из большого накладного кармана мешковатой одежины торчал хвостом вверх вяленый язык. Деревня дала этому чудаковатому колхознику повечное прозвище – Мокрец. Балагурный, едкий на слово скотник читал распевно с клубной сцены крыловские басни, пел козлиным голосом частушки. Держал малоудоистую прожорливую коровенку. Ее вместо сена частенько потчевал баснями примерно такого содержания:

– Ох ты, корова, и жрать здорова! Прорва! В копыта, что ли, молочко прячешь? Погоди, не мычи с голодухи. Придет скоро лето, выгоню тебя на свеженькую травушку – налопашься вволю.

Мокрец с января начинал вдвухать в уши коровенке весть о скором лете.

Береговая затравенелая дернина была сейчас для скотника клубной сценой. Он видел внизу бурливый людской сход, всех зрителей-смотрителей. Мокрец выхватил из кармана крупного языка, поднял его саблей над головой, завопил:

– Ох, тую-тую, голова в дег-тую. Руки-ноги в киселю, сам себя я веселю... Чего приуныл, народец?! Развели, понимаешь, в каждом дворе по стаду. Оскотинились... Ой, девки, беда в нашем переулке. Мужик бабу обменял за четыре булки.

Смеялись, ворчали, грозили Мокрецу кулаком. Он весь по красные уши вошел в артистический раж. Завалив на затылок кроличью полинялую шапчонку, балагур приплясывал возле береговой кромки, базлал сильнее прежнего:

– Рыболов сидит на лодке, перед ним поллитра водки. На рыбалку он плюет, потому что сам клюет.

– Где клюнул, Мокрец?

– Искупаем в Васюгане, перестанешь паясничать.

– Спихните его кто-нибудь!

покинутой деревни. Стоять на месте не давало беспощадное летающее зверье. Яшка за свою жизнь дважды схватывался с медведем, носил на правой лопатке зарубцованную рану. Но и медведь попробовал ухвата. Еле ноги унес. Расколотое бычьими рогами ребро не давало покоя ни в берлоге, ни весной после тяжелой спячки. Медведь-то хоть был настоящим зверем, которого можно взять на рога. Но бодни попробуй комара или неуловимую мошку.

Если позволяла береговая чистина, Яшка и Красотка принимались бежать. Останавливались, ели молодую осоку с кочек, пили возле песчаных кос воду. Попадались завалы коряжника, осевших после оползней деревьев. Животные не лезли в береговой чашобник. Забрели в воду и огибали плавающим трудные участки.

Ближний рассвет ластился к небу. Восток вот-вот готов был улыбнуться новому утру. Кто-то стачивал со звезд алмазные грани.

После отправки личного скота прошло три дня. Теплым ясным утром Нюша вышла выгнать корову в стадо. От удивления уронила на землю таловый прут: со стороны кладбища, взрывая на всю деревню, вышагивал ее Шалун. За ним плелась Красотка, широко расставляя задние ноги. Нюша подбежала к избе Гориславы, бойко застучала козонками пальцев в стекло. Хозяйка раскрыла оконные створки, испуганно уставилась на подругу: не пожар ли?

– Мать, иди встречай смиренницу!

– Ты что?

– А то: вон с моим шалопаем бредет. С баржи убегли.

На беглецов было страшно смотреть. Перепачканные грязью, торфяной жижей, с расцарапанными в кровь мордами и ногами, они медленно переступали по пыльной дорожке. Задрав головы, принюхивались к родному авдотьевскому

– Значит, мой сон не дурной?

– Нет, Яшка возвратился, мою красавицу привел.

Нюша обрадовалась. Развязала под подбородком платочный узел, оттянула концы темно-синего платка в стороны. Притопывая по крашеным половицам, игриво пропела:

– Печку письмами топила, не подкладывала дров. Все смотрела, как горела моя первая любовь.

Шлепали по полу разношенные тапочки. Хроменькая Нюша с приплясом подрулила к протенку, поддернула на цепочке гирьку ходиков.

Под усердный перестук маятника озорно и раскатисто, словно по великому секрету, сообщила Гориславе частушечную новость:

– Я иду, смотрю – пасутся два майора на лугу. Тут уж я уж растерялась, тут уж я уж не могу.

Остановилась, взяла подругу за плечи, заглянула в глаза.

– Скажи, куда Мавра с патефоном в ковчеге отправилась? Поросята, мужик с колотушкой. На шашлыки, что ли, хрюшек повезли?

– Ведать не ведаю. Плывет расписной ковчег. Мавра нарядная. Пластинка на патефоне крутится, а музыки нет. Мужик цыганистый, серьга в ухе. На Мавру косо глядит.

– Не рассказывай ей сон.

– И то. Зачем бабу в сумление вводить... Плынешь и плыви.

– Ма-ать, ведь сон твой разгадку имеет.

– Какую?

– Уплыла на барже-ковчеге наша скотинка. Мужик с колотушкой – мясник с забойни. Трах-бах тяжелой палицей – и ливер готов.

– Да но-о-о!

– Вот тебе и но-о. Мавра с музыкой – делегатка от артели. Помяни мое слово – колхоз скоро спастись будет и не спасет-

Не раз какой-то ушлый серафим голосом пророка внушал Мавре:

– Истопи-и-и печь кни-и-и-гами. Пусти-и-и на лучины ико-о оны...

– Ты – бес. Ты – оборотень, – шептала староверка, вытирая холодный пот с испуганного лица.

Неотвязный глас влетал в глуховатые уши:

– От книг помутился твой рассудок. Все на земле и ничего на небе, кроме звезд и пыли недостижимых миров. Жги! Наступит благостный миг. Ты отрежешь сухую пуповину, которая держит тебя всю жизнь... Жги, жги, жги.

Отшельница зажимала ладонями уши, ныряла головой в пуховую подушку. Долго лежала неподвижно. Иногда морил сон. Засыпала. Проснувшись, не находила присутствия странного вещуна. Хватала первую попавшуюся книгу, прижимала к груди и ходила с нею по избе, словно баюкала малое дитя. Несколько дней жила в глубокой тревоге: она ослушница, не исполнила волю пророка.

Старушка приходила к Гориславе, говорила о видении, высказывала опасение.

– Не бойся, Мавруша. Жил бы сынок рядом, защитил бы тебя горемычную. Пужливая ты, листом осиновым трясешься. Говорила тебе не раз: молись чаще солнушку. Тремя пальцами молись. Веревка втрое скрученная реже рвется. Солнушко не человеком сотворено – всем миром небесным. Лучиной землю не осветишь. Природу иным светом не проймешь, кроме лучезарного. Чего старозаветные книги без конца мусолишь? Поднимешь в мольбе свои два перста, словно кому в глаза ткнуть собираешься. Ты веру блюдешь, да не по вере живешь. Курящих, пьющих речников привечаешь. Шантрапу тунеядную. На кой ляд они тебе? Живешь и живи одна. Сына жди. Повезет – амнистия ему выпадет.

– Дай бог, дай бог.

вырваться? От колхоза пуп остался, ты все к нему жмешься. У меня чистыми по триста рэ выходит. Северные, колесные, премиальные. Давай я тебя выкуплю из колхоза? Денег куча.

– Выкупщик отыскался! – взрывался отец. – Нынче кто вздумает – прет из колхоза. Раззявили рты на экспедиции разные, на смехколонны. Обогатели. Заелись. Хозяйство надрывается, хлеб, картошку убирать некому, а ты – выкуплю. Скоро, как в войну – старичье да детье останется в деревне.

– Ладно, батя, слышал не раз.

– Еще послушай. Не перебивай! Напихал тысяч на книжку сберегательную, думаешь – лады. Теперь сам черт не страшен. Скотину сдал-продал. Молоко и мясо у нас, стариков, берешь. Выходит: наше подворье – твое подсобное хозяйство? Эх вы, детки-детки – не из той пятилетки. Спрашиваешь: не надоело в дерьме возиться? Надоело. Твой отец бригадиром значится, а ломит и за скотника, и за другого работника. Пока дюжу. У меня военная закалка осталась.

– Отец, дай слово молвить. Посмотри – кто колхозом правит? В хозяйстве развал, анархия. С коров хоть груши обколачивай: дерьмом по уши заросли. Доярки не с молока песни по избам орут, дойки срывают. Техника у приполя брошена. Ржавеет.

– При тебе не ржавела?

Младшак секанул рукой по воздуху.

– И при мне ржа ела. У меня давно руки к колхозу не лежали. Ломишь-ломишь, пашешь-пашешь, к концу года убытки. Круг заколдованный. Посмотри – сколько начальства развелось. На каждый литр молока, на кило мяса по уполномоченному. Статисты, ревизоры, контролеры. Скоро бумаги будут вилами ворочать, а надо сено. Директорам совхозов, колхозным председателям надо заводить замов по циркулярным делам. Бумаги на сводки и отчеты тоннами тратятся.

катистый смех. Наше появление она встретила звонкой частушкой:

— Говорила голоску: раздайся, голос, по леску. Чтобы милого, красивого ударило в тоску.

Расставила широко руки, загибая разом бабушку Гориславу, меня.

— Три березки — не лесок, мой миленок невысок. Ладный и подбористый, веселый, разговористый... Молодцы, что явились — не запылились. Старик, усаживай гостей. Думала: вы отдыхаете, приковыляла бы за вами. Старик, мечи хрусталь на стол.

Молчаливый, насупленный муженек Ньюши поставил рядышком хрусталь — два граненых стакана сомнительной чистоты. Сгорбленный, небритый старичок, словно починанный молью, постоянно озирался, пощипывал куценькую бородку. Одергивая фланелевую, навыпуск, рубаху, запускал пятерню под мышку и усердно чесался.

— Чего чешешься? Начерпай из фляги.

— Там... гуща... осталась... — виноватым, блеющим голосом сообщил муж.

— Ну и к чертям! Горислава, дай мне тряпку завернуть мою домашнюю тяпку. Я полью святой водой, может, станет молодой. В наказание, что ли, такой рохля достался?

Рохля, насупившись, молчал и тянул подол рубахи вниз — разглаживал матерчатые бугры.

Заступилась Горислава.

— Ньюша, не шумкуй на Савву. Послушный, исполнительный, добрый.

— Немтырь! В день по полтора слова клещами ташу... а так хороший старик... чего грешить. Трава подрастет, выйдем с ним корове паек готовить... Савва, изыщи!

Старичок сощурился, собрал гармошкой складки на лбу. Нехотя расклеил губы:

ны руку набил. Иногда юморной бывает. Молчит-молчит и выдаст: хоть стой, хоть падай. Говорит однажды: на дороге к смерти хоть кому обгон разрешен... Не печалься, Славушка. Богатым смерть страшна. У нас с тобой мошна тощая. Мы, родная, по мудрой статье жили: кто работает, тот ест. Сейчас что? Тунейдцы, как черви навозные, повылазили из всех щелей. Жулье-ворье налипло плесенью погребной. Кто не работает, тот жрет до отвала, капитал наворованный множит. Мозоль на брюхе легче набить, чем на руках.

– Знамо, – поддакнула Горислава, подставляя лицо лучам, льющимся сквозь крону березы.

– ...Раньше быстро окулачили, кого надо, ликвидировали как класс. У нас безработные не от нужды развелись. От обмана, от воровства, гады, разжирили. Вот и надо советских безработных как класс к рукам прибрать. Последние годы наш колхоз тужился-тужился, горько было смотреть. У фермы безвывозно горы навоза. Недоенные коровы блажат. Землю мужик плугом, как сапогом, ковырял. Припрется лектор из района, встанет за трибуну, напялит очки и начнет козырять: по мясу в планах перебор, по углю и коксу перебор... догоним и обгоним Америку... Да мы, да нас... Балаболит, аж вода в графине пузырится. Отбузит речь, на катерок и тью-тью. Беды наши его не касались. Подыхает деревня, ну и мать ее так. Простите, сорвалось. – Нюша перекрестилась. – Я тогда свиньями управляла. Падеж ни-ни. Строго следила. Принесет свиноматка шесть поросят, председатель-хитрюга шепчет: пиши в отчете – пять... сама знаешь, все кушать хотят. Мы за мясо стройматериалы выьем и всякие фонды... Понимаю: шухер-мухер, но молчу. Набралось у меня приبلудных двадцать семь поросят. У матерей сиськи дергают, кормятся, а вроде как не их детки – нахлебники. Растут утатенные, вес набирают. Всем свинюшкам одинаково распарки разные готовлю. Отварами пою от поноса, чисто, за ушами в

...У природы интересно учиться. Иногда бабочка-боярышница сядет рядом, крылышки по солнышку развернет и греется. Любо глядеть на нее. Гусеницы мохнатенькие ползут листом древесным кормиться. Береговушки-ласточки кружатся над водой. Бельчонок пропрыгает по сушине. Ни от чего глазами отступить не хочется.

Мы отошли от кладбища, сели неподалеку от кромки ярка. Издалека доносился наплывный шум судового дизеля.

Нюшу разморило. Она развалилась на траве, положила голову на скрещенные руки. Горислава посмотрела на нее участливо.

– Пойдем, голубушка, до избы.

– Тут ветерочком обдувает. Сейчас речникам с берега чё-нибудь гаркнем – все занятие.

– Косы Савва отбил?

– Давно. Чокнулся старик от своего нюхательного багульника. Одну косу приготовил с собой туда, – Нюша, не поднимая головы, махнула рукой в сторону кладбища. – На полном серьезе баит: там сенцо косить буду. Последнее дело, которое сделает его коса, попадет в ручки смерти. Она старика чиркнет и ржаветь станет с тех пор. Чудила!

– Не ругай его. Контузия головная мысли мутит.

Нюша приподняла голову.

– Побежал однажды Савва во двор, схватился за бельевую веревку. Давай ее дергать. Спрашиваю: чё делаешь? А он: колокол слышишь? Набат волну... вороги лезут на землю русскую. Народ надо скликать. Хорошо колокол звонит? – Молчу, не перечу. Отвечаю: хорошо, в райцентре даже слышать. – Ну, тогда собирай котомку. Солдатский паек не забудь... Горе с ним.

– Горе живое. А сколько его захоронено в своей и во чужой земле. Не сочтешь.

металлический хлам, рассыпанный по мастерской. На стены толстым слоем налипла черная, махристая пыль. Валялся большой клочок пакли, в ней что-то выискивали прыгающие воробьи.

Савва оглянулся в мою сторону. Постоял несколько секунд, махнул ладонью возле глаз, словно открестился от призрака. Лицо его было непроницаемым, взгляд отрешенным. Не приходилось видеть больных лунатизмом, но мне думалось: именно так они выглядят наедине с безмолвием ночи и луны.

Старичок нагибался, гремел металлом. Что-то искал.

Я вернулся к реке с тяжелым раздумьем о бренности всего сущего. Солнце, похожее на торец раскаленной болванки, прожигало черту горизонта. Скрылось наполовину, словно заклепало небо и сопредельную с ним невидимую затаенную границу.

Стрижи занимались вечерним облетом своих владений. Кормились комарами, мошкой, хватали зазевавшихся стрекоз. Надо мной гнус навис серой гудящей массой. Он не отваживался садиться на лицо, шею, руки, смазанные дегтем вперемешку с рыбьим жиром.

Вода давно подмыла сваи заброшенного бревенчатого склада: его сильно накренило к реке. Несколько новых многоводных весен, наверно, поставят крест на его существовании. Пригляделся к тонкомерным бревнам склада, увидел кишашщее комарье. Оно сидело, ползало, взлетало, опускалось, топтало тонкими гнутыми ножками свою братию. Стрижи с разлету пикировали к выгорбленной стене. Слегка касаясь ее крыльями, сшибали, поднимали в воздух комаров. Развернувшись, предприимчивые береговушки ловили на лету живой корм. Стоял, восторгаясь хитростью стрижей. Годы давно покусились на детство, но при виде юрких маленьких птиц я снова там: в стране цыпок, рогаток и облупленных носов.

Время не властно. Стоит призвать на помощь живучую память, и она золотым ключиком откроет любую дверцу в тот далекий, убаюканный годами, занятный мир детства.

Крадучись, пустыми огородами пробирался Савва, неся что-то тяжелое на плече. Он отпихивал ногами стойкую лебеду, топтал конопляники. Что мог он выбрать на свалке металла? Рессорину? Трак от гусеницы?

Согбенное привидение направилось к бывшей колхозной конторе. Несколько раз я проходил мимо нее. Видел кривую избу с гнилыми венцами, щиты с облупившейся зеленой краской. На них записывались мелом надои, укусы, пахота, корма. На лобовой части конторы прибита доска-лозунг. Слова давно размыты дождями. Остался ополовиненный восклицательный знак. Доску-лозунг изредка снимали. Евлампий, брат Гориславы, фуганком стирал старый призыв. Клубистка Мила малевала новые слова. Каждая буква была величиной с грабельный зуб.

На длинном шесте возле конторы поднимался красный флаг в чью-то трудовую честь. Шест остался. С него свешивался прелый шнур, болтался на ветру длинной лапшиной.

Пожелав Гориславе и Тереше спокойной ночи, забрался на сеновал, нырнул в полог. Днем перехлопал проникших в него комаров, но сейчас они снова погуживали по углам. Наверно, пролазили в нитяную марлевую проредь.

Моему сеновалу не хватало главного: коров в стойке. Сейчас бы Красотка и Веснянка похрустывали сеном, переступали копытами, кашляли и тихонько мычали, не тревожа ночь и спящих хозяев.

Разделся по пояс, подставив себя комарам. Телом улавливал их прикосновение. Начнут ползать, руки-хлопушки тут как тут. Нудная охота. За полчаса уничтожил почти всех.

Крыша сеновала шелястая. Над пологом натянул ша-лашиком большую полиэтиленовую пленку. Обезопасил на

Несколько лет Савва был в колхозе звеньевым. Его полеводческое звено славилось многопудовыми урожаями. Колхоз давно перешел на измерение зерна в центнерах, тоннах, Савва всегда отчитывался за хлеб попудно.

Отрубило время колхозу последний корень. Поля заросли репейником, сурепкой, чертополохом и березняком. Но по-прежнему в севную страду выходил Савва с новой саженью. Мелькали над дерниной ее тонкие березовые ноги. Почти каждую весну у старика появлялись провалы памяти. Бродил в рваных тапочках по бывшим полям бывший звеньевой. Помахивал саженью, бормотал путаницу цифр: семь, сорок девять, двести один, четыре. Нюша вышагивала рядом, перемогая боль в груди и в глазах от сухого безмолвного плача.

Изредка старичок-полевичок спрашивал не то у земли, не то у бредущей рядом жены:

- Звено на работу вышло?
- Все до одного, – подтверждала Нюша.
- Головня в пшенице есть?
- Нет. Чистый хлебушек уродился.
- Лобогрейки готовы?
- Да, звеньевой, готовы.
- Тогда пойду сосну часок... устал...
- Иди, родной, иди.

Нюша разворачивала старичка лицом к деревне. Брала из рук сажень, ложила наземь. Как малого ребенка вела Савву за руку. Он покорно шел за ней, полуоткрыв рот, расширив непонимающие глаза.

Возили Савву в Томск на обследование. Большой спец по психам сказал: помешательство тихое, безвредное и неизлечимое. На таблетках, на уколах проживет долго.

Уколов Савва смертельно не переносил. В горячке рукопашного боя свой же солдат-одновзводник крепко пырнул его штыком в ляжку. Вскоре случилась контузия. Пришел в

– Сиротливая веснушка выдалась. Как эту девку-бесприданницу отдавать замуж за лето? Ведь она нарядов не успеет накопить.

Зеленый наряд на деревьях стал появляться поздно. Природа долго и трудно чеканила листву.

Карманы бабушкиных кофт, жакетов, халатов отвислые; в них постоянно насыпает зерно, сует хлебную краюшку, огрызок пирога. Воробьи, синицы, вороны поджидают кормилицу, рассевшись на прясла, амбарные, избяные крыши. На берегу достала при мне хлебушек. Крошила, кидала окрошье воробьям. Приговаривала:

– Беспризорная у вас жизнь, ох беспризорная. Со скворушками воюете. Из горенок пытаетесь выселить. Скворечники для них сделаны, но и вам там пожить охота. Для вас, воробушки, любая застреха – птичье отечество... Клюйте, клюйте. Вот пшеном полакомьтесь.

Вороны нахально подступали к воробьям, подсакивали, хлопали крыльями.

– Эй, прожоры, – мирно беседовала с ними бабушка, – вам ведерного котла каши не хватит. Дайте цыпушек моих покормить.

Цыпушки суетились у самых ног Гориславы, отплачивали веселым чириканьем.

Снова заговорили о затяжной холодной весне.

– Нынче Аксинья-полузимница лютовала. Старая примета: упадет на макушку зимы метель – жди плохих кормов. Сено может попреть в стогах. Рожь осыплется. Картошку червь поточит. Случится на полузимницу-полухлебницу снежная завируха, у нас говорят: ветер летает – хлеб подметает. И подметет, ополовинит. Для сусека большое пузо – не обуза. В январе и оно тошшает. Мука в муку оборачивается. Раньше каждая горсточка на учете была. Крысы об эту пору злющие: хозяйки мучные лари накрепко закрывают. Пожиться нечем.

перегнуть – раз плюнуть. Я вот даже ружья никогда не держал. Что на стене висит – Васькино. Косолапых отпугиваю. Поводились в деревню захаживать. Не с кочергой же на них идти. После войны стал пальбу ненавидеть. Ваське хоть мор, лишь бы с ружьем на озера. Раз на пыжи мою почетную грамоту растерзал. Помню, за сено дали. Большая такая, бумага плотная, толстая. Что с Васьки возьмешь?! Ухмыльнувшись, говорит: пусть, батя, твою грамоту утки прочтут на досуге. Вот он как отцову славу бережет. Хотел мои медали на блёсны пустить. Тут я ему навел жару-пару. Зажал «За отвагу» в кулак да и отважил по шее. Отбил охотку пакостничать. Награда все же – не кузнечная поковка. Я дедушкин Георгиевский крест до сей поры храню. Положу на ладонь слиток серебра – тяжел. Деревянным крестом каждого отдарят, попробуй Георгия заслужи. Победоносный крест, за военную тяготу даден. Вон немец какую беду на соседа напустил. Ум туманит у Саввы. Бродит неприкаянный по деревне, полевоводов собирает. А где они? Сейчас трезвонил у конторы, до кучи мужиков созывал. Давненько куча распалась. Мы земле силу отдали. Земля нас и обессиленных примет. Кто же поля оживит, ферму, молотбище?

Четыре тяжелых сапога, давящие тягучую тину, будто тоже наперегонки задавали неотвязный вопрос: кто? кто? кто?

Озеро кажется рядом. Раскатная волна сияющей осоки скрадывает расстояние, и карасевое озеро незаметно отодвигается от нас. И снова, делая обманные виражи над приозерьем, посвистывают крыльями утки, падают на далекую воду. Выслеживает добычу неторопливый коршун, кружится над сухой гривкой. Осока по грудь. Тереша, шагающий впереди, сшибает с травы таловой веткой угнездившуюся на стеблях росу.

«Кто? Кто? Кто?» – побряхтывают сапоги-болотники.

– ...Отвильнули мужики от пашни, бабы от скотных дво-

– Уважь старуху – наделай дров! – крикнул Василий водителю.

Машина протаранила кучу. Из-под гусениц летели обломки оконных рам, половых досок. Яичной скорлупой лопались ящики, натасканные Маврой от разрушенного ларька. В некоторых ящиках были мелкие стружки. Бабка вместе с тарой переселила к себе и нахальных магазинных крыс, сделавших в стружке теплые спаленки.

Улыбка на Васькиной роже опять расплзлась от уха до уха. Солнце клонилось за луговые дальние тальники, и вместе с ним убывал огонь из шевелюры ловкого водителя. Голова теряла накал снаружи, но изнутри ее нагревали пары скороспелой бражки. Парень восседал в кабине хватким бесом, шерил зубы и утюжил гусеницами топливное добро отшельницы. Он был значительной частицей зримой машинной силы, сотрясающей убогое подворье Мавры. Укажи она по забывчивости пальцами на свою избенку – рыжекудрый снес бы ее тоже по забывчивости одним махом. Он давно вошел в разрушительный раж, валил палисадники, прясла, наносил броневые удары по стенам бань и стаек. Бывший танкист, раздавив, раскрошив в щепье Маврино приносное топливо, понесся по умершей деревушке в кладбищенскую сторону. В кабине рядом с ним залиvisto гоготал Василий, хлопал танкиста в отставку по плечу. Командирским взмахом руки благословлял его на вездеходный погром всего, накопленного годами, авдотьевского старья.

В тягаче подпрыгивала привязанная к борту фляга. Каждый улепетнувший из-под крышки и лопнувший пузырь добавлял в кабине бражного духа. Этот дух и дополнительное брожение напитка в животах подхлестывали парней, вселяли желание наделать побольше дров из ненужной деревни.

От лобового удара тягача оседали и падали венцы построек. Избы, когда-то срубленные в крепкую лапу, сейчас

еще карабкаюсь, себя лечу? Чтобы богу усерднее молиться, книги древние читать. Реву перед богом, молюсь в слезах, а икона вдруг раз и счикает. К счастью это. По тысяче поклонов отбиваю. Руки пять раз золой вымою, прежде чем книги древнепечатные читать, страницы переворачивать. Не дышу на них. Ругаю себя, если слеза нечаянно капнет... и так она быстро высыхает на плотной бумаге, будто в песок уходит. Однажды сожитель мой – дело в давность ушло – спрятал Четьи-Минеи и принялся горловые просить. С моей ли пенсии забутыливать? Спрятано было у меня лекарство: сосновые почки на дин-турате настояла. Предлагаю сожителю: верни стародавнюю книгу, тогда из рук в руки бутылку передам. Разменялись. Он сосновый дин-турат выжрал, погладил по волосатому пузу, говорит: ох, как на каменку плеснул – ажно зашипело.

Кошки, урча, расправлялись с увесистыми карасями. Крупная чешуя лезла в горло, прилипала к небу. Дикарки, поперхнувшись, откашливались, крутили головами.

– ...Молилась я, молилась, чтобы сожитель съехал нибудь куда. Бог книги умные писал, время на них затрачивал, а мужик их пином пинал. Сожитель винным молякой был. Ни шепотью, ни двумя пальцами – всей пятерней стакану молился: загребет ручищей и одним махом в рот. А в двух пальцах Божество и Человечество заключено. Святое писание непреклонно... Я тихомолком в жизни живу. Сгребли меня перед войной, в большое село привезли. Говорят в большом казенном доме: что, Мавра, днем монашишь, а ночью ногами машешь? Укорили, что со смолокуром слюбилась. Чего мой малый грешок перед большими людскими грехами значит? Обыскали меня, нашли святые письма. Допрашивали – книгой церковной по голове били: из глаз, как из поддувала, искры сыпом летели... За главную таежную староверку меня посчитали. Приказывают: ходи мимо сельсоветских окон, на виду будь.

дет – сдаст. Я ее не ласкала. Нечего поважать. Злилась, что мало кормила. Когда лягнет, когда боднет – стерплю, никогда не ударю. Одно время свинья охудела совсем. Не ест, борова просит. Напоила ее содой, аппетит на борова пропал. Чавкать стала.

Трудно жилось живности, посаженной на строгую диету продолжительных постов, добывающей себе скудное пропитание. Крапива, осиновая кора, дудочник, сосновая хвоя выдавались от случая к случаю. Сена отшельница готовила мало. Таскала его с ближнего луга пучками, складывала под дощатым укрытием. Подвесит зимой овечкам сенную вязаночку, они прыгают, норовят выхватить из пучка лакомый корм. Избивают стену копытцами, блеют, бодают друг друга. Злятся: на зубы попадает мало сенца. Зато прыгучие были, как серны, умудрялись валить наземь подсолнухи, маки и жоркими ртами объедали все, что приходилось по их овечьему вкусу.

Сорвав с петель ненавистную дверь, свинья иногда вырывалась на волю. Однажды настигла во дворе предводителя пестреньких кур. Сожрала петуха, не оставив перышка. Отшельница говорила: у свиньи страшный п о г л я д. В этом я убедился, наблюдая за ней в дыру.

Два года назад жила у хозяйки избная собачка. Спала где хотела. Ластилась лучше кошки. Превосходно стояла на задних лапках с вечной мольбой в карих глазах: чего бы пожрать. Увидев разъяренную от голода свинью, собачка хотела юркнуть под крыльцо, но слабосильная, отошала, потеряла нужную прыть и ловкость. Освобожденная пленница схватила беглянку за хвост и вырвала ее на свет, как морковку из земли. Провизжать собачка не успела. Три дня оплакивала Мавра избного дружка. Убежавшая свинья несколько дней отъедалась на вольных харчах. Перепахала рылом за поскутиной сотки две земли, пожирая все подряд – жуков, дождевых червей, лягушек и различные корни.

но пайковую ржанушку разом не съедала. Разламывала на дольки, сушила. Раздавала сухарики мужикам с лесоповала, просила слезным голосом:

– Братеньки мои, книги веры истинной не троньте.

Повадились куряки вырывать страницы, скручивать козьи ножки под самосадный табак-сечку. Известно какие козьи ножки цокают по зубам нарымчан: дымы из ртов и ноздрей, как из труб паровых. Сгорали, испепелялись вместе с табаком-горлодером толстые листы старопечатных книг. Недоедала Мавруша, откупалась сухариками. Умоляла: пощадите древние книги, на которые повел гонение вероотступник Никон.

Смолокур Аникей больше не появлялся в лесорубовской артели. Мавруша начала верить: то было мимолетным сновидением. Она тайком молилась складной трехстворчатой иконе. Часто ее подлавливал за мольбой сон, порожденный вседневной усталостью. Так и не встав с коленей, валилась на дощатый барачный пол, не успев долепетать тягучую предночную молитву.

Утром снова вырастала перед трудармейцами плотная стена тайги. Дымились костры. Ширкали двуручные и лучковые пилы. Маврушу не могла сделать мужичкой изнурительная, буйвольная лесная страда. Она не сторонилась грубого запаха товаров в ватных стеженках, подшитых пимах, но жила в их окружении в своем тихом, обособленном мирке. Отвечала невпопад на вопросы, наступала нечаянно подругам на ноги. Не раз проносила мимо рта деревянную артельную ложку. Всецело захваченная силой и властью сберегаемых под ватной подушкой книг, женщина принимала нудную явь за искупление неожиданного согрешения.

Ей не хватало крошечной каморки, полного уединения, тихой сосредоточенности. Она не могла остаться с книгами с глазу на глаз, жадно пожирать их строка за строкой, доискива-

ведниками, верижниками, строготерпцами за веру, кто неукоснительно выполнял данные сердцем обеты. Себя она считала грешницей, отступницей. Пугалась бесей и ждала возмездия. Хотела верить божьей наставнице, оправдавшей ее невинный, подстроенный плотью грех, но рассудок крушил довод всепрощающей Богородицы. Перед Маврой прошла жизнь деревенских знакомок. Раздумывала: мирские сильнее погрязли в грехах плотских и житейских. Я-то усердной мольбой делаю душе очищение. На какое спасение надеются мирские немолыки? Знаю всего одну праведницу бабушку Гориславу. Книжным верю на слово божье, а эта – живет через три городьбы... Тереша ухлестывал за мной, подкарауливал в лесу, в лугах. С войны пришел омедаленный. Вдов щупал, но возле меня облизнулся...

Отшельница перебирала в памяти все домогательства парней, мужиков, стариков и оставалась довольной своей женской стойкостью. Ну, падала, когда хотела, так делала это в святой забывчивости, в помутнении рассудка. И они пронеслись, протекли песочком крошечные прегрешения протекшей житейщины. Корили ее наблюдавшимся ребенком. Накрепко прикусывала язык, обезоруживала всех оскорбителей долгой немотой. В горькие, обидные минуты приходило на память, высвечивало мозг наставление Аникея:

– Мы во лесах, во скитах потаенных вольности ищем. И плоть наша вольна, нам одним подчинима...

15

Горислава считалась на всю глухую васюганскую округу первой травницей. Знала, где растет болотный широколистный аир, где можно собрать редкое насекомоядное растение – росянку. В пору цветения душистого, любимого пчелами белоголовника-лабазника, иван-чая, пижмы, зверобоя,

Однажды Горислава заметила;

– Природа все мудро лепит: может человека-пустобреха сделать и пустой кедровый орех.

Мы вошли в роскошное неохраемое царство леса. Солнце пока не осилило вершину неба, но взбиралось туда безустально и неудержимо. Бабушка глядела на него глазами, полными святой дочерней любви. В любой исповедальный час души находила в своем солнушке желанное утешение, черпала истинно крепкую неизменную веру. За долгое разноегодье жизни не случилось в этой вере отступничества, сомнений и разнотолков. Светило являлось нетускнеющей огнеликой иконой на весь небесно-земной приход: в нем Горислава считала себя постоянной, усердно молящейся прихожанкой. В вечной религии поклонения солнцу находила все нужное созерцательной душе и отзывчивому, щедрому сердцу. Чистилище жизни она проходила через сиротство. Молчаливая, замкнутая на людях Горислава вверяла природе себя, делилась тревогами и надеждами.

Любой березово-осиновый колод, тропинка, прошивающая луговину, чистая лесная поляна могли служить для бабушки открытой исповедальной.

Даровитая родственница природы, встав лицом к восходу, творила пылкое крестное знамение:

– Да святится имя твое, Солнушко! Одно ты, живя на небе великом, согреваешь праведников и грешников, щедрых и алчных, добрых и жестокосердных. Ко всем милостиво. Дела твои на доброте держатся. Что мы – рабы земные – без тебя значим? Раскольники веру надвое поделили, рассекли ее, разнесли по скитам и заимкам. Устроили тайные мольбища. Бородачи на бритоусов исподлбья глядят. Староверцы кружку мирянам не подадут: брезг берет. Дверную ручку полдня чистить будут, если ее чужие пальцы коснутся. Что это за вера, облеченная в тайну? Ты, Солнушко, каждое утро

Любила она выводить сборщиц грибов и ягод к деревенским полям, но не раз заводила в топи, буреломники, в такую невиданную ранее берендеевщину, от вида которой некоторые нервные бабоньки страшно взреывали и падали ниц. Не помогали Мавре узелки на память, завязанные на платках, молитвы от лешачьей путаницы троп и дорог. Мужики искали блудих по тайге, палили из ружей холостыми патронами. Эхо выстрелов, пугливо пометавшись между обомшелых стволов, рассыпалось над таежными завалами, гнилыми пнями-выворотнями, улетало в бездонность небес. Нередко деревенские потери уходили в лесную глубь на расстояние многих ружейных выстрелов. Даже бывалые охотники не могли их отыскать. Призывали на помощь Гориславу. Какое волшебство вселялось в бабушку в день поиска? Каким нюхом обладала она, двигаясь в направлении заблудившихся женщин? Выходила на них – голодных, изъеденных гнусом, оборванных. Ее начинали душить в объятьях, целовать. Визжали, прыгали, рыдали от радости. Незадачливая проводница Мавра виновато стояла в стороне – строгая, насупленная, застыженная укорными взглядами подруг.

Уходя вглубь леса, Горислава пускала протяжное а-а-а-у-у-у. С последними отголосками своего эха чутко ловила другое встречное эхо, угадывая место его возникновения. Искла, шла по бестропью, пересекала старые лесовозные дороги: они не заманивали своей открытостью.

Переждав агонию бабьего восторга, Горислава доставала из кузова пышные лепешки, яйца, сваренные вкрутую, зеленый лук, две-три бутылки молока. Женщины, набившие до зубной боли оскомину от ягоды, медленно жевали лепешки, хрумстели перышками лука. Бабушка гладила по голове Мавру-отшельницу, поясняя, где проводница дала маху, скруглила путь. Староверка всплакивала и жевала хлеб.

Провидица таежно-болотных путей, выводя сборщиц,

спрямляла участки. Шла и читала по запутанным следам карту недавних мытарств усталых ягодниц. Много напетляли они. Топтались на небольшом лесном пятачке, шли и шли наугад в надежде увидеть вскоре знакомые крыши деревни. Но впереди смыкались угрюмые замшелые стволы, топорщились пугающие пни-выворотни. Темнота размывала очертания деревьев. Кусты оборачивались медведями, ветки – рысями. К ночи усиливался гнет страха. Со всех сторон наваливалась бесконечная орда таежного гнуса.

Какое особое прорицание ума имела Горислава, прямехонько выходя на заблудившихся ягодниц? Или неустомимые в ходьбе ноги сами вели туда безбоязненную таежницу? Идет, травку по пути срезает. Стеблевым молочком чистотела ранку себе прижгет. Пожует подорожник от боли десен и зубов.

Наблюдая за бабушкой в Авдотьевке и в лесу, я нашел резкую разницу в выражении ее лица. Сейчас оно было нежнее, взгляд углубленнее, созерцательнее. Думалось: с Гориславой вот-вот заговорят доверительно деревья и травы, зашепчут кусты волчьей ягоды, багульник расскажет о своей стойкой таежной жизни, широкие папоротники замашут, как веерами, остудят ее разгоряченное лицо. Мы с Ньюшей пришли в лес, к Гориславе лес, вроде, подошел сам, подвел грибы, лекарственные растения, кустики поспевающей костяники. Глядишь – перед бабушкой неожиданно появляется целое сходбище красношляпных подосиновиков, лезут к ногам скользкоголовые маслята. В двух шагах от нее стоит столбиком на пеньке бурундук, смотрит бесстрашно на таежницу.

У Ньюши полнехонько ведро, режет грибы в снятый с головы платок, приохивает, радуется обилию лесного богатства. Полдненное солнце словно расплавляет помаленьку хвойные купола, и они окропляют землю целебным ароматом. От теплых стволов сосен исходит запах свежеепеченного хлеба.

Садимся на поваленную лесину возле лопотливого ру-

ловали и в Дектяревку. Артельцы ходили напуганные, понурые, испытывая на себе косвенную вину за осеннее затяжное непогоде, за неурожай льна и картошки, за недопоставки обременительных налогов.

На постой и харчевание строгие дяди остановились у зажиточника Парфена. Не обратно же на Алтай ссылать мужика, если он сумел извернуться от нужды и в нарымскую мерзлоту пустил цепкие корни. Сердце подсказывало Игольчикову: будь мужик тоже политиком – приветь важных гостей, словоблудь с ними, поддакивай, расхваливай новое время. Авось, зачтутся щедроты в новый судный день. Сын ревниво и въедливо поглядывал на лакейскую услужливость отца. Не мог дотумкать Крисанф, чем вызван столь богатый прием строгих гостей, опоясанных портупеями. Наганы примагничивали взгляд, от них словно исходил жар. Сын совсем был сбит с толку под вечер, когда доброхотный Парфен зарезал для гостей прихрамывающего барана. Освежевывая тушу, посверкивая ножом над парным мясом, отец лукаво подмигивал насупленному помощнику:

– Не хмурься, Крисанфушка, в нашей овчарне не убудет. Пожертвуем барашком, зато нас – овец – сторонкой обойдут, не сшибут с нового места. Чуешь, какая облава кругом идет. Помнишь, на Алтае на нас навалились в тридцатом, будто псы с цепи сорвались. Против внутренних органов восставать – струю на ветер пускать. У них власть и сила...

Понизив голос до шепота, наклонился над ухом сына, теплом обдал:

– Будут тебя о председателе и о весовщике спрашивать, говори: два сапога – пара. В прошлом году намолот крепкий был. Государству недодали зерна и на трудодни шиш с маслом получили. Смекаешь? Копнуть надо родственничков, утайку зерна сыскать...

Через день обезглавили дектяревский колхоз. Председа-

редкий топольник, березняк на сухих гривах. Повернутые за-
тылками к деревне, рыбаки дружно гребли веслами, ощущая
упругую тягучесть замутненной воды. В этот час сплошным
радостным пламенем пылала их добротная изба. Матрена со
свекровкой были на ферме и пока бежали домой, недрем-
ный огонь наливался яростной мощью. Он исключил всякую
борьбу с ним. Никто из деревни не пытался отбить избу даже
у небольшого пламени, от матерого – подавно. Построенный
на отшибе дом был обречен пропылать в одиночестве, не за-
хватив огнем чужие постройки.

Взбешенная от страха, во дворе металась корова. Сви-
нья попыталась пролезть между жердин городьбы, застряла
в них. Истошно визжала, перекрывая режущим плачем шум
оранжево-красного смерча. Прикрывая лицо от жара, Ма-
трена хотела выломать осиновою жердину. Прясло, сделан-
ное по-парфеновски добротно и прочно, нуждалось в топо-
ре и ломе. Кое-как женщины протащили за передние ноги
и уши обезумевшую свинью. Расцарапывая в кровь пальцы,
Матрена принялась распутывать на кольях черемуховые вяз-
ки. Успели сбросить пару верхних жердей, через остальные
корова перемахнула с завидной легкостью. Взбрыкивая, по-
неслась в сторону поскотины.

Рыбаки вернулись на пепелище. Зловеще-черный обу-
гленный скелет отталкивал Парфена; на подходе он вяло и
неохотно переставлял ноги. Слабонервный Крисанф пода-
вленно застонал. Подкошенный бедой, упал на колени, воз-
нес руки:

– Тятенька... родненький... да как же это?.. да пошто?

Продирая слова сквозь сухость горла, Парфен выдал
догадку:

– Нечистое дельце, сынок, ох, нечистое. Укараулили наш
отъезд.

Вздыбив кулак, тыкая им в сторону деревни, закричал:

растирая поясницу, и к баньке. Все каторжнее становилась закатка бревен на верхние венцы. До осени погорельцы собирались подвести избу под стропила, радуясь долгому немерклому свету белых ночей.

При сумасбродном правлении председателя-ставленника дела колхозные тащились, как воз в упряжке ленивой кобылы. Давал распоряжения, отменял, переиначивал. Он походил на игрока, не умеющего даже переставлять фигуры на шахматной доске. Подрезанные войной силы довершили катастрофу развала. Поправить положение мог арестованный Новосельцев. О нем по-прежнему никто ничего не знал.

Наломавшись на строительстве дома, Матрена брела в свинарник полуживая. Ушастая многокопытная орда встречала голодным, смертным визгом. Разносила по кормушкам распаренные с вечера отруби, нетерпеливая мордастая чухня чуть не сбивала рылами с ног.

После тяжелого завоевания положенного трудодня снова начиналась избяная выматывающая страдба. Порой охватывала оторопь: неужели вот так, до гробовой доски тащить скрипучую телегу нескончаемых изнурных дней? Но в цепкой работе была и своя отрада: она давала возможность забыться, реже думать о подневольной семейной жизни.

На возводимой избе и Крисанф не жалел сил. Деревенели от топора руки, каменела спина. От долгой наклонки голову обметывало резким жаром. Отстраивались не на пепелище – боялись дурных примет – сруб желтел возле согры и недалекого сосняка, частично изведенного обильными грунтовыми водами. После снеготая, ливневых дождей на мшистом понизинье долго держалась влага. Она производила вымочку корней, постепенно заболачивая приграничный к деревне лесной массив.

Прицельным умом Крисанф предвидел от нового места немалые выгоды: рядом с домом можно выкопать неглубокий

чины нас добрым словом вспомнят, за могилками будут ухаживать.

– Хорошо бы.

Вспомнила о непорочно зачатых близнецах, задумалась о их доле. Они пойдут по дороге жизни дальше. Не оборвется родовая нить, потянется в глубь будущего времени. Что теперь для сыновей Дектяревка? Разрушенное гнездовье. Не вернуться сюда для продления дыхания полей, исполнения исконных крестьянских дел.

Переселенческая принудиловка у многих породила озлобление, недоверие. Плодливая, указующая казенщина поливалась заглазно заклятыми словечками. Круто обошлись безжалостные самоуправцы с народом: его прогнали через новый строй под дулами, расчетливо выбивая трудолюбивых, талантливых, непокорных.

Кабинетные мудрецы и мудрицы рассчитывали слиянием малых сельбищ вдохнуть жизнь во всякие центральные усадьбы. Стекалась по разбитым дорогам такая же разбитая техника. В убогие скотные дворы сгонялись малоудойные коровы. И летели, летели в деревню круглосезонные бумаги-депешы. Пехом и на попутках добирались различные толкачи. Скрипели перья. Брякали клавиши пишущих машинок: трудились исполнительные сводкописцы. По полям, лугам, зернотокам шныряли всякие приглядчики, номенклатурные гонцы, торопыги сева, сенокоса, жатвы. С их подхлестом и окриком работал крестьянский люд, мечтая о золотой поре, когда бы раз и навсегда исчезли все понукальщики.

Не мужики порушили узы дружбы с землей-кормилицей. Их вековые устои сотрясали глубоко продуманными расчетами и злонамеренностью. Растерзанная деревня лишалась животворных крестьянских сил.

Отошло в небытие и это время...

Уходя за витаминной колбой – диким луком – на старые

– О чем бог не велел жалеть, так это о бабе.

– Свыше сорока не выучишь и дурака. Божья беречь для любой козявки мила. На бабах, хошь знать, вся земля держится. Эх, старичина! Ты от холерного года остался и мне достался.

Не покидает стола Крисанф. Сидит икает, будто квакает, скребет грязными ногтями тугой горбик большого кадыка.

– Сколько, старый черт, клялся – пить не будешь. Клятва твоя – снег майский. Выпал – растаял. Со страха ведь сивушничает. Душонку бодришь, мыслишки мутные студишь.

– На глупую бабу узда не сшита.

Желчный, пугливый, разъяренный судьбой Крисанф сквозь уши пропускает обидные слова. За семьдесят лет извилистой, путаной жизни душа обмелела, словно ее затягивало постепенно наносным донным илом. В песочных часах его бытия мало оставалось сыпучих, неуловимых лет. Весь надземный свод со звездами, дождями, снегами, солнцем представлялся ему стеклянным хрупким *с о с у д о м*, откуда струится, исчезает в земных порах золотая, ускользящая россыпь жизни. Не подставишь ладони, не перехватишь горсточку лет. Вторая половина *с о с у д а* темна и безжалостна. Ну разве не злая, глупая штука – существование, если все кончится кладбищем, вечным усыплением и тленом?! Выкопают могилу. Упакут в гроб. Прошуршит по крышке гроба коротким градом погорстно земля. Повздыхают, поохают старушки и пойдут есть сладковатую кутью за поминальным столом.

Жуткую картину холодного подземелья рисует усохший, воспаленный мозг. Вроде совсем не жил старик Игольчиков, только готовился к светлым событиям будущего – и вот тебе на! – подошло последнее прощание с миром. Хорошо, коли судьба подарит тихую предсмертную болезнь. А если будет миг, равный по времени шелчку бича?! Игольчикова страшит

поступков, бойкости языка, разнузданности властителя над порабощенной женщиной. Крисанфа порой страшил опустошенный взгляд сожительницы. Состояние Матрены Олеговны, близкое к помешательству, заставляло хозяина прикусывать язык, косо посматривать на дрожащие руки старушки, напряженные скулы и дерзкое выражение лица.

Ужимая по-черепашьи голову, Крисанф думал: «Ведь Мотря может полоснуть меня чем-нибудь в такие минуты... погибнешь не за понюх табаку от собственной бабы».

Пробушает короткая буря в груди Матрены Олеговны, снова покорно тиха, заученно услужлива. Глаза напоминают озерную гладь в предвечерней тишине летнего дня: на такой отполированной поверхности даже мотылек, упавший на воду, образует крошечные круги.

– Не иначе приколдунил меня леший, – печалилась бабушка. – Вот ведь живу – в аду киплю и никуда деться не могу от проклятой жизни. Моему скудному уму не поддается это объяснение. Меня маленько паралич тряс, язык ослушиваться стал после того. Теперь отладились слова, могу тебе, Винамин, пожалиться на судьбу. Ты вопросами не донимаешь, стараешься глазами спрашивать о моем житье. Говорила тебе: в детстве бедности через край хватила. Однажды маменька дала мне монетку на леденцы. Положила ее в рот, чтобы не потерять, да на беду с большой слюной проглотила, пока в лавку бежала. Собралась выплюнуть у прилавка денежку на ладонь, шарю ее за зубами языком – пусто. Вот тебе и леденцы! Вместо конфетки в горло скатился маменькин дар. Прибежала домой уреванная, ткнулась головой в теплый подол, обсказала маменьке горе. Гладит, успокаивает: «Не трать, доченька, слезы. Не сегодня, так завтра монетка с другого конца выскочит». Караулила ее за баней... прихватила... обмыла дождевой водой и в лавку за леденцами. Вот так раньше за копеечку держались.

ка словесная. Точит меня ревностью старый дурак, будто я у него какая-нибудь бабенка односезонная. Конечно, всякие ж е н о п у т к и встречаются. И в нашей Дектяревке гулен хватало. Рожь с колосом, подмышка с волосом. Иная девка-шалашовка начнет от поры косичек крутить задом, так до изросту все блудит.

К нам раньше начальники районные наезжали, какой и заночует. Крисанф шибко не терпел ночевщиков этих. Меня от них стерег. Говорят: береженого бог бережет. Береженую бабу сама баба и бережет. Подол – не богово дело. Господь блудниц не жалует. Когда Адам и Ева согрешили, построили высокую башню, забрались на небо, Бог и там их настиг, наказал за согрешение. Так мне бабушка рассказывала, запугивала от второмужства. Мой срамный мужик неверием страдает: болезнь похлеще падучей. Падучая оттрясет тело, душу не вытрясет. Неверье сердце сжигает, душеньку студит.

Внушаю своим сынам-однозыбникам: вы из одной люльки выходцы. Живите дружно, ладно, рублем и словом добрым помогайте. Женщин не обижайте, верьте им, как себе. Человек, коли сам себе врет, и чужой правде не поверит. На меня теперь стала большая д у м н о с т ь находить. Увижу дурной сон, неделю голову ломаю. Жду чего-то, тушуюсь, на ровном месте запинаясь. Так вот думаешь-думаешь и навлечешь петлю на шею... Ну, закопают удавицу в стороне от кладбища – что переменится на земле? Людей-мурашей кишмя кишит. Подземным проще: отколотились, отмучились. Сейчас я каждый день с боем беру. Иногда выпьешь медовушечки, а развеселиться нечем. Ранешнее вспомнишь и дальше путем жизни идешь. Такую л и х о т и н у пережили – не верится даже. Сядешь пельмени для фронта лепить – слезы в фарш падают. Война уже на четвертый год шла, перевес на нашей стороне был, но работ колхозных не убавлялось. Петухи отзорюют свое, время волоком из сна тащит. Наверное, раньше так

делал. Любую продавщицу может под растрату подвести. Может излишки обнаружить. Всегда после ревизьи пьяной на кошке вертался. Шашни с продавщицами крутил – от деревни не скроешь. Известно: в торговле бабенки ушлые, битые. Кто проворуется, кто проюбкуется. Насмотрелся, поди, в каких золотах прилавницы в городе: пальцы горят.

Поплачусь тебе, Вина-мин, все на душе легче. Ведь скоро никому словечка не скажешь: мать-сыра земля не даст вымолвить. Я хоть веру в н е г о – подняла руку – не потеряла, но не надеюсь в царство небесное угодить. Приют мой известный – кладбище. Деревянный крест разбросит крылья, поднимет головушку к небу и тоже никуда не улетит... сгниет... детки новый не поставят. Вот тебе и все царство. Царапаю сынам письмо: «Живу хорошо. Клеенка есть. Хлеб не переводится». Про болезни молчу. Чего детей своими болячками сомущать.

Старик мой – человек н е л ю д и в ы й. В избу никого не приглашает, тихомолком сивушничает. Накопал под землей кротовых нор, бетоном укрепил и отлеживается. Странно выходит: мое здоровье плошает, его крепчает. Щеки помидорами спелыми. Морщин мало. Крякает по-молодому. На меня нынче два раза грипп взелся. Его, холеру, никакая напасть не берет. Неужто вино телу крепь дает? Пьет да приговаривает: провались она в желудок. Иной раз покоробит всего – не отступится от стакана.

Вот так и живем со стариком: не понять, то ли он у меня на квартире, то ли я у него. Не верится, что сынов с ним нажила. Детки скоро роятся, да не скоро рождаются. Время идет, их на свет выводит. Приятно: матерью на земле побыла... Ой, че-то, паря, на сон меня потянуло. К ночи даже цветы жмурятся.

Крисанф, слушавший долгую исповедь жены, горделиво добавил:

дению ничего не стоило упереться головой в потолок, придвинуться вплотную к иконам. Игольчиков приготовил охотничий нож, пырнул своего заклятого врага, не дающего жить даже ночью. Ничего не произошло с каменным немтырем. Крисанф пугливо побрел к буфету, нашарил дрожащей рукой графинчик, стакан. Расплескивая самогонку, набулькал через край. Протянул руку к угольному гостю.

– Давай, гад, выпьем мировую!.. Не принимаешь?! Ну, хрен с тобой – без тебя опрокину.

– Сыч, ложись спать! – пригрозила Матрена Олеговна.

– А че он, падла, сквозь стены проходит?! Это не его изба. Пусть убирается вон!

Хлестал видение графином, пинал... и стала рассасываться тьма во тьме... и поплыли оранжевые круги перед хмельными глазами. В курятнике прогорланил петух, задерживаясь на третьем раскатистом колене. Долго не возвращался порушенный сон.

Прошлым летом сильная буря повалила электрические столбы, вывела из строя линию света. Оказалось – навсегда. В деревню, которую стали называть займкой, завезли керосин, настольные лампы, свечи. Время задуло для Дектяревки электрический свет, поставило, словно мертвячке, зажженную свечу: спи спокойно, нарымское сельбище, царство тебе земное и небесное. Вознеслась ты дымами на небеса. Где витаешь? Где летаешь?

Раньше было хорошо: шелкнет Крисанф в ночи выключателем – любое каменное чудище выпугнет из тьмы. Идет в туалет – озарит двор светом двухсотваттной лампочки: любая шляпка гвоздя видна на тротуарных досках. Сейчас выходит на крыльцо с «летучей мышью», видит пляску светлого пятна перед собой. Вокруг смыкается холодная, жуткая темь. Без электричества не включишь подземную обогревалку, подавленную шоферами-постоящиками. Восьмидесятые годы за-

ловек на крыльце. Пропитался страхом, как трясина водой. Смотрит Матрена Олеговна в щель на горюна – жалость подступает. Видно, на его роду мука в свахи напросилась. Взятый на душу грех, оказывается, корни пускает, опутывает совесть удавчье хваткой. Раз так – неси крест до конца, до могилы.

Близился конец мая. Со дня на день ждали приезда следователя. Исхудал Крисанф, глаза просели, чаще обычного веки подергивал нервный тик.

Старик копал огород, когда пришло запоздалое озарение: деньги! Если следователь поведет дело под тюрьму, суну тысчонку – отступится... Воткнул лопату в землю, испуганно шлепнул пальцами по лбу – кубышка! Совсем о ней забыл. Засеменил в избу, отшвырнул ногой половик, прикрывающий крышку подполицы. Спускаясь по лестнице, оступился, сломал поперечину. «Летучая мышь» махала светлым крылом. Оно скользило по залитому полу, по осклизлым стенам. Ниша в бетонине, прикрытая кирпичами, замазанными для маскировки цементным раствором, служила надежным негосгораемым сейфом. В глубине бетонной глыбины хранились все сбережения, сделанные за долгую, колготливую жизнь. В жестяной шкатулке, в пергаментной обертке лежали плотные пачки кредиток, достоинством от десятков до сотен. Мелочевку рублей, трояков и пятерок пришлось устранить: кубышка не вмещала.

Поставив в сторонке переносной фонарь, Крисанф принялся отбивать ломиком цементную корку перед нишей. Показался кирпичный ряд. Попытался скovyрнуть верхнюю кирпичину – даже не шевельнулась. Бетон разрывало изнутри и снаружи, козырек над нишей просел, сдавил кирпичи.

Обозленный Крисанф стал долбить вход заостренным концом лома. Сыпалось красное крошево, высекались искры. Мелькнула опаляющая мысль: а что если и шкатулка вот так сдавлена бетоном?

Колыхалов Вениамин Анисимович

ГОРИСЛАВА

Повести

Корректоры *В.И. Дмитриева, Н.Г. Сиявская*
Компьютерная верстка *М.Ф. Шарвэ*

Сдано в набор 14.01.08. Подписано к печати 08.04.2008 г.

Формат 84х108 ¹/₁₆; пл. 20,125.

Заказ 13. Тираж 100 экз.

ОАО «Издательство «Красное знамя», г. Томск, пр. Фрунзе, 103